НЁМАН

10/2013
ОКТЯБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Издательский дом «Звязда»

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонская*
Стильредактор *С. В. Казак*
Набор *Е. Г. Кахновская*

Подписано к печати 10.10.2013 г. Формат 70×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 19,49. Тираж 3134. Заказ 3243.
Цена номера в розницу 18 600 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-84-61; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь; общественное объединение «Союз писателей Беларуси»; редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Знакомьтесь:

Минская тетрадь

Купала, Колас, Крапива, Танк… Вместо многоточия в этот текст можно с полным правом вписать имена многих писателей, уроженцев Минщины, также внесших весомый вклад в развитие белорусской литературы, и… снова поставить многоточие. Потому что на небосклоне отечественной изящной словесности появляются все новые имена поэтов, прозаиков, драматургов, критиков и публицистов, которые со временем и зачастую совсем незаметно для самой литературы становятся признанными мастерами слова. Они, как и их прославленные предшественники, — авторы и герои сегодняшней «Минской тетради».

Но, готовя ее, мы, конечно же, не могли ограничиться на страницах журнала лишь литературными материалами. Ведь все в жизни взаимосвязано и взаимозависимо: экономика, культура… Хоть и банально это звучит, но очень даже мудро: будет хлеб — будет и песня. Да и писательская жизнь — не только работа за письменным столом, а еще и постоянный поиск новых сюжетов, вдохновения.

Одним словом, сегодня мы предлагаем вам, уважаемые читатели, своеобразное путешествие по Минской области, в котором нам помогли не только сами писатели, но также известные белорусские журналисты, фотографы, а также сотрудники Минского областного исполнительного комитета. Особая благодарность — губернатору Минщины Борису Васильевичу Батуре.



АЛЕНА БРАВО

Рай давно перенаселен

Повесть

Несколько раз в день, сняв рукавички, я отогреваю его в ладонях. Яйцо стеклянное, со множеством идеально отполированных граней. Если смотреть сквозь него на солнце, солнце кажется желтком внутри яйца. В обычных, куриных, сколько ни подноси их к глазам, не разглядишь ничего, кроме сгустка розоватой темноты. Мне они совершенно не интересны. Мне хочется, чтобы стеклянное яйцо ожило, и из него вылупился маленький солнечный птенец. Я дышу на яйцо, прижимаю к щеке, лижу языком. Но оно все такое же: прекрасное, золотое, мертвое.

Возле обледенелой бочки, до верха которой мне не дотянуться, даже если встану на цыпочки, я леплю пирожки из снега. Над бочкой — водосточная труба, по краям которой висят сосульки, похожие на нарциссы, растущие головками вниз. Именно сюда, в нору водостока, заползает ночь, когда Крокодил, проглотивший солнце (рисунок в моей детской книжке), разжимает по утрам зубастую пасть — конечно, для того, чтобы почистить зубы мятным порошком, — и солнце выкатывается из нее, ничуть не поврежденное, словно красный пляжный мяч из-под кровати. Есть еще одно солнце, о котором поют по радио: «Солнце нашей жизни, счастье поколений, сердце нашей партии родной...» Это солнце не заходит даже ночью, потому что сердце партии не может остановиться, говорит мой дед. На каждый камень найдется свой молоток, отвечает на это моя бабушка. Раньше у меня была прабабушка, тогда я еще плавала рыбкой в мамином животе. Баба Марфа, моя прабабушка, вернулась оттуда, где тучи кусачей мошки́ и зима длится долго-долго. Ее наказали и отправили туда потому, что она не верила в мудрость сердца партии. Сейчас она уехала от нас, взрослые не говорят куда, и на высокой железной кровати за печкой сплю я.

Сопровождаемая невидимой на снегу белой собакой по кличке Муха, я снова иду в курятник посмотреть на стеклянное яйцо. Все хозяйки на нашей улице подкладывают курам яйца-обманки, чтобы лучше неслись. У других и яйца другие: деревянные, пластмассовые. А у нас — золотое. Прозрачное. С холодным огнем в сердцевине. Я не умею его согреть. Не умею растопить лед и вызволить любовь, как сделала Герда из сказки про Снежную Королеву. От горя я съедаю все снежные пирожки и заболеваю воспалением легких.

Когда мне разрешат выходить на улицу, я немедленно брошусь посмотреть: вдруг, пока я болела, из яйца кто-то вылупился? Ведь даже в горячке я продолжала о нем *мечтать,* а значит, отдавала ему свою любовь. «Люди всегда так: красивую стекляшку найдут себе, за нею и солнца не видят», — скажет бабушка, вытирая мне передником слезы.

История со стеклянным яйцом повторится в моей жизни не раз.

А когда я, наконец, пойму, что чувство солнца может обманывать, бабушки уже не будет, чтобы разделить со мной это открытие.

В моей записной книжке после всех *здешних* телефонов и адресов нарисована схема, похожая на игру в крестики-нолики. Кладбище за городом разрастается быстро. Впрочем, и без этой подсказки я знаю, как пройти к двум чахлым голубым елям, растущим над тумбой из черного мрамора, после которой начинается ряд одинаковых серых надгробий, похожих на шкафчики в коммунальной бане, и в конце этого ряда я найду... Я стараюсь не бывать здесь по праздникам, чтобы не сталкиваться с родственниками, главным образом, с Коловраткой. Кроме того, в праздник обычно обновляется стандартный ассортимент кладбищенских украшений; меня удручает безвкусная пошлость ритуала, топорные венки, поставленные на поток корзинки с крашеными лентами. Человеку отказано в праве быть самим собой не только в жизни: после прекращения телесного существования его насильно втискивают в типичность, и на это уже не возразишь. Смерть — окончательная победа унификации над индивидуальностью.

Но какое дело до всего этого душе? Ей безразличны эти из ритуального «Детского мира» игрушки, ведерки-формочки, яркий и пестрый хлам, который люди-дети тащат сюда для того, чтобы самих себя подбодрить и успокоить.

Вот я и пришла. На сером камне грубо выбито неузнаваемое лицо и ее имя: Вера. И эта последняя попытка поймать и закрепить намертво ее земной образ также оказывается ложью.

Не она это! ЕЕ нет здесь!

Откуда же она является в мои сны?

На лестничной площадке — телефон-автомат с прорезью для «двушек», с увесистой, как якорь, трубкой на металлическом негнущемся проводе-тросе. Всплывает из бетонных недр, запаха хлорки, из стылого неуюта пустых пролетов. До того, как упереться в него взглядом, я шла по знакомому коридору нашей районной больницы, а теперь поднимаюсь по лестнице. Меня не покидает гнетущее ощущение, что именно такой, казенного образца, и должна быть лестница в преисподнюю. То, что я поднимаюсь вверх, значения не имеет: может быть, утомительная бессмысленность подъема, который на самом деле окажется спуском, — один из фирменных трюков устроителя Аида. Из голых окон тянет сквозняком, отсюда стылость. Безлюдность. Вероятно, в отделениях мертвый час, а персонал пользуется лифтами.

И вот — телефон. Возле телефона стоит мой дед Борис, на нем — коричневое пальто (верхняя пуговица болтается на одной черной нитке), подбородок в седой щетине трясется — так дед выглядел после первого инфаркта. Он держит пакет с вещами. Ну, конечно, старика только что выписали из кардиологии, вот и бумажки бесполезных рецептов торчат из кармана. Кардиология! Именно здесь умерли они оба: мои бабушка и дед... Увидев меня, старик беспомощно улыбается: он не может, никак не может дозвониться до такси — бросает «двушку», набирает знакомый номер, но попадает не туда, в какой-то антикризисный центр... И я не знаю, как объяснить деду, что по городу давно не ходят «Волги» цвета желтого домино, и в них не сидят чисто выбритые, благоухающие одеколоном таксисты, которые возили его совершенно бесплатно даже на

пенсии. Дед еще шутил, что у директора таксопарка это пожизненная привилегия...

Но я-то что здесь делаю в этот явно неурочный для живых час? Сейчас откроется дверь в отделение, выйдет санитарка с разбитой физиономией, один глаз у нее будет заплывшим, сизо-фиолетовым, и, угрюмо сверкнув покрасневшим белком, дохнув перегаром, тявкнет, что шататься по учреждению не положено.

Это и будет окончанием моего земного пути.

Но вместо санитарки входит моя бабушка Вера. Она деловито застегивает деду пальто, не забыв спрятать в карман оторвавшуюся пуговицу, берет его под руку и говорит мне ласково-сердито:

«Ну, чего столбом стоишь? Такси давно ждет. Давай-ка домой».

* * *

На сером кафеле печки силой моего горячечного взгляда расцветают фейерверки золотых шаров и георгин, как летом по всем углам нашего сада. Разлепив тяжелые веки, я беру цветные карандаши, бумагу и рисую круг: солнце. Одна половина его желтая, вторая синяя. У солнца есть обратная сторона, сказал мне отец. Когда на нашей стороне солнца жарко, на обратной наверняка идет снег, и солнечные жители надевают пальто и шубы. Я рисую солнечную девочку в каракулевой шубке и валенках, точь-в-точь как у меня. Она играет на той стороне солнца и лепит пирожки из снега. Вот она смотрит на голубую землю, где я тоже смотрю вверх, пытаясь увидеть девочку на обратной стороне солнца.

Бабушка Вера приносит мне чай, и я пью, панически боясь проглотить хоть одну чаинку. Два раза в день приходит медсестра из поликлиники делать мне укол. Услышав энергичный стук калитки, я прячусь под кровать, в самый дальний, к печи ближний, угол. Бабушка виновато оправдывается, но силу применить не умеет. Положение спасает случайное открытие: стоит начать читать вслух одну из моих любимых сказок, как я завороженно выползаю из-под кровати прямо в кроваво-лаковые коготки медицинского работника. И бабушка терпеливо читает про сестрицу Аленушку и братца Иванушку, про дэвов и джиннов, про китайскую принцессу, которая брала в рот волшебную жемчужину и превращалась в лисицу. Огромная черная лисица носилась по округе, ее вздыбленная шерсть переливалась в свете луны, ощеренные клыки и глаза блестели. Лисицу нельзя было убить: луна защищала ее и отдавала ей свою силу. Я требую продолжать чтение, но бабушка откладывает книжку, ей некогда: до прихода со своих служб всех домочадцев она должна принести дров, растопить русскую печь на кухне, наносить воды из колонки, замочить в огромном корыте белье и долго стоять, согнувшись, в клубах пара, а из-под рук ее будут рваться тугие пузыри простыней. Ей надо успеть накрыть большой круглый стол в гостиной, на котором уже стоит кастрюля с золотистым бульоном, а на синем, в тон скатерти, блюде аппетитно лежит ладный кусок отварной телятины. За стеклом серванта темнеет изюмом испеченная с утра медовая коврижка. Неудивительно, что все члены семейства предпочитают обедать дома. После того, как близкие, насытившись, разойдутся по своим конторам, она нагреет воды, вымоет посуду, уберет в комнатах, спустится в погреб за новой трехлитровой банкой рубиновых помидоров, принесет дров, вынесет помойное ведро...

Подай, принеси, уйди. Дни похожи друг на друга, как пакеты для мусора разового использования, — удобство, о котором она представления не имеет; каждый доверху наполнен шелухой быта, и надо поскорее избавляться от этого сора. Деревянной лопатой она чистит снег от поленницы дров до гаража, где стоит «Победа» мужа (зимой шофер возит его на служебной), от гаража до отхожего места. Из снежного холмика между поленницей и старой сливой ребро лопаты извлекает на свет «секреты», которые внучка спрятала здесь, играя: обломок пляжных очков с единственным стеклышком, перламутровый колпачок от губной помады, янтарную бусину и похожую на ракушку клипсу. Она смотрит на эти хрупкие от мороза, разлученные с теплым женским миром вещицы, которые живы только в паре или среди множества себе подобных, и ей вдруг становится не по себе. Возвращаясь в дом, видит на дорожке неизвестно откуда взявшуюся здесь сосновую ветку; возле самого стебля желтые иголки заиндевели, точно крашеные седые волосы, которые отросли от корней, и сердце у нее снова болезненно сжимается. Она относит эти недомогания на счет нервов и усталости: после смерти долго болевшей мачехи ей плохо спится. Да и семейная жизнь сына в крохотной комнатке с кафельной печкой тревожит: после рождения внучки строптивый характер невестки проявился с полной силой. Других причин она не ищет, потому что знает: стоит поддаться беспричинной тоске или начать задумываться о чем-то, выходящем за рамки круга, который начертил для нее муж («Бабина дорога — от печи до порога» — так она сама определяет границы этого круга), как оказываешься словно бы в незнакомом городе, где на твое «Который час?» встречные враждебно молчат, как будто каждый из них — оборотень и боится, заговорив, утратить человеческий облик. В толпе собственных мыслей ею овладевает детский страх потеряться. Она знает одно лекарство от грустных мыслей: работу. Сделать то-то, а потом то-то, окружить себя множеством забот, возложить их, словно камень сестрицы Аленушки, себе на грудь.

Тяжел мой камень, братец, не всплыть мне со дна.

* * *

Бабушка Вера была тунеядкой, именно так называла ее моя мать. «Ты попроси, попроси — пусть покажет свою трудовую книжку!» — кричала мать сидя у телевизора, где на черно-белом экране сменяли друг друга Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и Муслим Магомаев: три олицетворения нескромной женской мечты на тему «Кабы я была царица». Кроме этого, бабушка была то «еврейкой» (мать произносила, со смаком напирая на «ж», другое слово), то «татаркой» — в зависимости от градуса человеконенавистнического настроения матери, кстати, пропагандиста школы марксизма-ленинизма. «А когда твои жиды уберутся в свой Изра-а-эль? — подавал голос с дивана неопохмеленный отчим, даже в таком состоянии чутко улавливая слово-код. — Хорошо бы и тебя с собой забрали!» Последнее относилось, конечно же, ко мне. «У тебя на столе грязно, как у твоих евреев!» «Опять посуду не помыла — переняла у своих татар!» Эти беспричинные нападки на людей меня возмущали. Национальная принадлежность в стране моего происхождения (а стало быть, и в семье средних размеров матрешке из общеупотребительного набора «Родина», матрешке, которая разбиралась на две последних: мать и дочь) являлась категорией не паспортно-генеалогической, но оценоч-

ной, поскольку ни еврейкой, ни татаркой бабушка на самом деле не была. Утверждая причастность бабушкиных предков к бесчинствам Орды, мать апеллировала к признанному авторитету — дворничихе Таньке, в прошлом стрелку ВОХР. Эта рисковая женщина после выхода на пенсию успела еще отстрелять пару легкомысленных «врагов», трудясь на посту охранника каких-то складов, а потом долго служила кондуктором в автобусно-таксомоторном парке, директором которого был мой дед. «Зайцы» ее боялись невероятно. Время от времени дворничиха приходила к моей матери пожаловаться на бесчинства детей; далее следовал апокрифический сказ о том, как Танька мылась вместе с моей бабушкой в душевой автопарка (старики жили в доме без водопровода, и бабушка иногда приходила на работу к мужу, чтобы воспользоваться благами горячего водоснабжения), — и вот, во время совместной помывки, Танька узрела нечто такое, что сразу убедило ее в азиатском происхождении бабушки. Чем одна национальность в голом виде отличается от другой, Танька умалчивала, однако это не мешало моей матери верить ее бдительному чутью. А «еврейкой» моя бабушка оказалась просто так, поскольку мать ее не любила. Должна ж была существовать у этой неприязни законная причина. В данном случае, причина легко меняла порядок со следствием. Впрочем, в стране моего рождения образчики такой логики редкостью не являлись — скорее, наоборот.

Сама же мать была женщиной, несомненно, трудящейся, а стало быть, доброкачественной во всех отношениях. Завод, где она с девяти до шести щелкала на счетах, специализировался на изготовлении колеса по собственной, социалистической технологии, то есть не так, как это колесо принято ваять у всего вражьего забугорного человечества. На заводе колесо выпускали квадратным, стесывали углы, затем длительно обкатывали по рационализаторской методике некоего Сизифова, по данным заводского музея — первого стахановца. После этого кругообразные изделия подсчитывались, а данные (сильно округленные) передавались наверх. Именно за процесс передачи данных и отвечала моя мать. Так что жизнь ее являла собой пример полного и беззаветного служения обществу, что давало ей повод считать себя женщиной передовой, даже прогрессивной, как Анжела Дэвис или Валентина Терешкова, а главное — презирать свекровь, пользы обществу не приносившую.

Вероятно, мать представляла себя женщиной свободной и в сфере семейно-брачной: после того, как ею и отцом была получена новенькая, с иголочки, квартира, мать выставила отца из комфортабельного элизиума с видом на центральную улицу, объясняя свой поступок несходством характеров. В переводе на бытовой язык это означало, что отец не матерился, не «злоупотреблял» и, следовательно, не мог, надравшись до положения риз и угрожая короткой расправой, выгонять ее на лестницу подъезда, где обсуждали последний футбольный матч курцы в трениках. А нож в руках отца, исключая цели сугубо хозяйственные, появлялся лишь в тех случаях, когда он, заочный студент юрфака и эксперт-криминалист, возвращался домой с места происшествия, суть которого состояла в том, что этим самым ножом, теперь окровавленным и упакованным в целлофан в качестве вещдока, кто-то кого-то ранил или убил. Следует считать, что отчим, через некоторое время занявший место отца, — как восторженно рассказывала завсегдатаям дворовых лавочек Танька, отчим с шиком подкатил к нашему подъезду на последней модели «Жигулей», — полностью сошелся с матерью характерами. Этот обладатель двух

сакральных, наподобие жезла и державы, предметов (первый находился в дачном поселке и именовался «коттеджем», второй теперь парковался на газоне под нашими окнами) имел еще и брата, плодотворно носившего майорские погоны за пределами одной шестой части света. Оттуда брат отчима вывез количество добра, превышавшее его живой вес в десятки раз, как у муравья. От полного опустошения страны, где стояла Западная группа войск, спасло лишь то, что это трудолюбивое насекомое сменило свою дислокацию. Благодаря стараниям сородича, отчим опохмелялся исключительно импортным пивом, носил импортные вельветовые костюмы, а хриплые блатные ритмы, которые исторгались из окон его «коттеджа», неслись из японского магнитофона. По этим причинам полные, всегда влажные губы отчима застыли в гримасе высокомерного презрения ко всем, кто опохмелялся «Жигулевским», ходил в костюме производства швейной фабрики им. Н. К. Крупской и слушал пластинки фирмы «Мелодия». Он имел огромное, беременное пивом брюхо, знал толк в галстуках и имел их великое множество, умел изобретательно материться, знал бессчетное количество анекдотов про особенности национальных меньшинств, а также любил, когда матери не было дома, декламировать мне похабные стишки. Вваливаясь вечером в квартиру, Брюхатый некоторое время священнодействовал у одежного шкафа, пристраивая свои драгоценные костюмы и галстуки, после чего сразу же укладывался на диван перед телевизором. Его голые, неожиданно розовые пятки похотливо налезали одна на одну на ручке дивана. Единственное, ради чего солнце нашей вселенной отрывало утомленный взор от футбола, был священный ритуал жарки мяса. Брюхатый вершил обряд собственноручно, не доверяя матери, и сам же жадно съедал приготовленное прямо со сковороды, макая в нее горбушку.

Как такое существо могло вызвать любовь? Возможно, это было частным проявлением закона Стеклянного Яйца. А может быть, у этой страсти было и научное объяснение: периодически с охотничьим гиканьем затравливая мать, точно косулю в загоне, в ванной комнате, в дверь которой он при этом, грязно ругаясь, колотил кулаком, Брюхатый с бодрым энтузиазмом хорошо оплачиваемого гештальт-терапевта воссоздавал для нее изначальную обстановку ее детства. Когда я одним погожим летом провела каникулы у деда и бабки с материнской стороны, моим главным воспоминанием осталось не анемичное Балтийское море, не разукрашенный флажками корабль в порту военного городка, куда дед, в пахнущей нафталином форме капитана третьего ранга, торжественно вел меня за руку, и даже не кубик сухого концентрата какао, который я с наслаждением грызла. В моей памяти остался дед другой, страшный: в порванной на груди тельняшке, со струйкой крови на щеке, дико орущий что-то нечеловеческое и замахивающийся топориком для разделки мяса на испуганную, мелко крестящуюся бабку.

В тот год, когда была сделана эта фотография, моя робкая душа еще стояла в очереди за своим земным воплощением; самые нахальные с традиционным вопросом «Что дают?» (историческим правопреемником вопроса «Что делать?»), активно работая локтями, протиснулись вперед. Очередь, впрочем, довольно быстро двигалась, опережая темпы построения социализма в одной, отдельно взятой стране. На снимке мои будущие мать и отец кормят лебедей на экскурсии в Москве. Располневшую фигуру матери облегает короткое, по моде, платье, сшитое

бабушкой по выкройке из журнала «Работница и крестьянка». В чем одет отец, не видно — видна только рука, обнимающая мать за плечи, и густые пышные кудри. В неуверенном положении этой руки, лежащей на плече женщины как-то боком, не по-хозяйски, читаются робкая нежность, зашкаливающая гордость обладания и мучительный страх утраты, которая — мы всегда знаем об этом, когда любим, — на каком-то другом плане уже произошла. Лицо у матери довольное; очевидно, программа уик-энда ее вполне развлекает.

Что мог мой астеничный отец, не выносивший громкой музыки и яркого света, бредивший философами античности и раздобывавший бог знает где полустертые ксерокопии Лао-Цзы и Ошо, найти в моей матери? Тишайшая отцова порода, которую я в полной мере унаследовала, столь презираемая матерью («Сидя-а-ат, кни-и-ижечки почи-и-итывают! Палец о палец не уда-а-арят!»), менее всего сочеталась с ее хронической взвинченностью и поставившей бы в тупик все портики древних Афин логикой умозаключений о достоинствах отдельных людей и целых народов. Вернувшись из турпоездки в Германию — о немцах, с удивлением: «Они водку не пьют — и что это за люди?!» В тех местах, где она выросла и где провела свою жизнь, исключая недолгий период брака с моим отцом, нормальными людьми считались те, кто мог выпить сколько угодно беленькой, *не пугая санитарно-техническую посуду* (чего нельзя было сказать о ее нестойких нутром подругах, о которых речь впереди). Итак, что мог отец, исключенный из университета за некий литературно-политический пассаж, который он позволил себе в стенгазете, им редактируемой, но восстановленный благодаря ходатайствам уважаемых профессоров, а скорее — веяниям хрущевской оттепели, — что мог он найти в моей матери? «Дорогая, где моя рубашка?» — «Ты же мент? Вот и ищи!» А ведь и годы спустя после развода он продолжал еще находить нечто в этом наделенном агрессивной витальностью существе; боль, обида и страсть перекипели и затвердели в сплав несколько мрачноватого оттенка. Как назвать эту амальгаму? Неужели все тем же доисторическим словом — по названию доминирующего компонента?

Вероятно, и мой отец глядел на солнце сквозь одному ему видимые граненые стеклышки.

* * *

Мать, между тем, говорила правду: трудовой книжки у бабушки не было. Она появилась на свет в крестьянской семье за год до того, как предсказанный классиком марксизма-ленинизма конфликт: «низы не хотят — верхи не могут» (мой остроумный однокурсник именовал его конфликтом фригидной женщины и импотента), перенесенный в масштабы истории, разрешился взаимным мордобитием. Отец Веры держал крепкое хозяйство; не удивительно, что одним хмурым утром в хату ворвались незваные гости. Но до того умерла ее мать, и Вера, старшая из дочерей, обшивала всю семью, а еще — плела фантастически красивые кружева из старого тряпья, вывязывала крючком половики, дивиться на которые приходила вся деревня. Рано научилась читать; учительница в школе усаживала ее за свой стол, и она читала классу вслух. Та учительница умоляла отца Веры отпустить дочь в город, в педагогическое

(«Девочка необычайно способная!»), но тот и слышать не хотел: «Коровам хвосты крутить хватит и семилетки».

«Жили мы у самой реки, а в реке две проруби: в той, что повыше, воду брали, в нижней белье полоскали, — рассказывала мне бабушка. — Полощу однажды простыни, а сама плачу, так рукам холодно. Подошла молодая соседка Марфа, красивая, коса длинная, бант в косе красный, посмотрела на мою работу-маркоту и тихонько так говорит: «Уговори папу взять меня за маму. Я буду белье полоскать, полы мыть, а тебе пошью платьице новое и в город отпущу». Я так обрадовалась — не могла дождаться папу! А он: «Мама бывает одна». Но я Михася, брата, подговорила — неделю упрашивали отца. Ну и женился он...»

Пошли малые дети; в город ей никак не выпадало. А потом пришли *те*...

«Беги к тетке», — коротко сказал ей отец и выпихнул в окно. Через лес, задыхаясь, она бежала восемь километров до деревни, где жила родная сестра матери. И спаслась. Семья у тетки была бедная, зато правильная: мужа убили белополяки. Вместе с двоюродными сестрами, Зинаидой и Тамарой, Вера работала в колхозе, имела одну пару ботинок на двоих с Зинаидой. До морозов ходили босиком. Зинаида из-за непосильного мужского труда так и осталась бездетной. Удивляюсь, как Вере удалось-таки вырваться в город и поступить в педагогическое училище: видно, разнообразная ее талантливость настойчиво просилась на свет, как вполне уже готовый к земной жизни ребенок.

Она жила в общежитии, научилась завивать свои коротко стриженные каштановые волосы, а губы держать бантиком. Пожалуй, она не красавица: слишком широкие бедра и большие, основательные ноги, словно выросшие из земли, но при этом неожиданно тонкая талия и хрупкие плечи — фигура жрицы богини Иштар (она никогда не знала имен даже православных святых). Была общительна и любила долго гулять под руку с подругами после нищенского обеда в столовке. На последнем курсе они подписали ей свои фотокарточки: «Дорогая Вера! Помни свою Зою и то, что «дружба, рожденная в юности, никогда не забывается» (М. Горький). «На память любимой подружке Вере от Вали! Пусть нежный взор твоих очей коснется карточки моей! И может быть в твоем уме возникнет память обо мне!» «Верочке от Настасьи! В память прошлого невозвратного, в честь будущего неизвестного!» Тогда у нее еще имелось некое неизвестное будущее.

Я все пытаюсь разглядеть ту точку, в которой человек ее пола, родившийся на необозримых пространствах страны, где завязла не одна великая армия, терял право на индивидуальное будущее, а стало быть, на собственную жизнь. Доверчивое существо, простодушно украсив себя детской мишурой дешевых блесток, стремится туда, где сладкой-сладкой приманкой, карамельной улыбкой всесоюзной дивы Любови Орловой, приснившейся довоенной афишей новогоднего бала-маскарада сияет «счастье», и вот — клац! — ловушка лязгнула за спиной, и впереди уже нет никакого неизвестного будущего, все предсказуемо наперед: тело, которое тебе больше не принадлежит, узнает беременности, безропотные роды, болезни детей и свои. В тридцать пять она уже добавляет в воду для полоскания волос синьку, чтобы седина смотрелась «поизящней». Колесо ее швейной машинки с ножным управлением

крутится, крутится, крутится, наматывает на себя бесцветное время. Зимними ночами она смотрит на жасминовый куст за окном — смотрит, смотрит, смотрит, словно проживая сразу все тоскливые вечера с мгновениями детской растерянности перед недоступной ее пониманию жизнью, когда подкрашенные розовым улыбки покойников на черно-белых портретах кажутся вампирическими, а знакомые предметы вдруг обнаруживают в себе какой-то тайный недобрый смысл. И самый непонятный из всех предметов — зеркало, в котором она знала себя девочкой, протягивающей ладошку за «счастьем», — да и осталась такой! — зеркало, которое когда-нибудь поднесут к ее неподвижным губам.

Краткий курс истории ВКП(б) 1938 года издания: будущее без единого неизвестного, о котором «великие учителя Маркс и Энгельс» уже разъяснили все, а именно: капитализм неизбежно падет от рук пролетариата, его могильщика. Краткий курс математики образца того же года: будущее, как уравнение с единственным неизвестным — неизвестностью смерти, и чего еще остается ждать наивной девичьей душе? Впрочем, на фоне пережитых ею эпохальных ужасов тихое, никем не замеченное умирание кажется почти что счастьем — все равно, как «бурные, продолжительные аплодисменты» брежневских съездов на фоне рева бомбардировщиков. А раз так, внимание: мы с вами сейчас присутствуем при рождении будущего, ведь, знаете ли, такая основательная вещь, как будущее, вполне может вылупиться из мелочей: крошечных, обернутых фольгой ореховых скорлупок и фонариков из цветной бумаги, которые старательные девичьи руки клеили всю ночь. На новогоднем вечере в училище она познакомилась с дедом, впрочем — каким дедом? Выпускник автодорожного техникума тридцать седьмого года, красавец с каштановыми кудрями и огненными очами, танцор и острослов, подхватил ее за талию, закружил в вальсе, умчал, засыпал стихами Светлова и ярким конфетти, да так, что очнулась она лишь в сорок первом, в оккупации, с тремя детьми на руках, младший — трехмесячный (дед не обременял себя заботами по планированию семьи). Младенец вскоре умер: пропало молоко. Жизнь превратилась в ожидание вестей с фронта, многочасовое сидение в болоте, где она пряталась с сыновьями, такими же темноволосыми, как отец, от набегов айнзацгруппы, в попытки хоть что-то уберечь из еды от дневных и ночных гостей. Она видела, как тонут в трясине, выбиралась, спасая себя и детей, из объятой пламенем чужой хаты. «Человек, когда в болоте захлебывается... за того, кто рядом, крепко так хватается, откуда только силы берутся, — говорила она, неохотно уступая моему привязчивому: «Расскажи про войну». — Помочь не можешь, он это понимает. А все одно за тобой, за ребенком твоим тянется, *чтобы не одному уходить...*»

Война закончилась, они по-прежнему жили у тетки. Однажды поздним вечером в дом постучались: явился ее родной брат Михась. Только тогда она узнала о судьбе сосланной семьи. Их привезли на берег таежной реки, где на многие километры вокруг не было ни одного селения. Ютились в земляной норе, затем построили хату; когда валили лес, мачехе на спину упала сосна, сделав ее пожизненным инвалидом: так и ходила с тех пор, согнутая пополам. Только справили новоселье — приехали все те же, в плащах и с портупеями. «Загружайтесь, кулацкое семя, — смеялись, пуская веселый дымок. — Едем дальше!» Но и в хакасской степи,

где их выкинули под открытым небом, упрямый белорус сумел построить хату, вырастить урожай, обзавестись конем. Однажды приказал старшему сыну взять коня и ехать в райцентр. Михась сделал все, как велел отец: привязал коня у милиции, где зарегистрировался, а затем пошел на вокзал, купил билет на ближайший поезд и уехал. Отец рассчитал верно: конь в тех местах равнозначен жизни, стало быть, сына до вечера искать не станут. Война спасла его вторично: пятно «кулацкого» происхождения было смыто кровью трех ранений, прикрыто двумя орденами Красной Звезды. А отца тогда расстреляли...

На рассвете Михась вышел во двор и вернулся побелевший: «К нам — гэпэушник!» Вглядевшись в лицо под фуражкой с зеленым верхом и темно-синим околышем, она сама едва не потеряла сознание (от каких чувств?): «Не бойся! Это... мой муж...» После освобождения она получила от него только треугольник полевой почты, а сейчас узнала: он служил в пограничных войсках НКВД — начальником автомастерской, потом командиром автомобильного взвода. Звание капитана административной службы ему присвоила организация, которая отняла у нее отца. Михась так и не вышел к столу, а рано утром уехал, ни с кем не попрощавшись. Муж привез детям мандарины — невиданное лакомство; мальчики, отведав экзотический продукт, поминутно бегали до ветру. Он скомандовал жене собирать вещи. С этого момента ее отдельная биография заканчивается. (А была ли она вообще?) Вера никогда не ходила на службу, новенький диплом педагога хранился в серванте вместе с метриками детей; мой дед полагал, что женщина должна сидеть дома и заниматься исключительно семьей.

И он не прогадал: сказочно неприхотливой, за все благодарной, молчаливой, как рабочая скотинка, фантастически выносливой была Вера. Даже ее личные интересы были полезными для семьи: шитье, вязание, вышивка, плетение макраме, разведение цветов, кулинария — что там еще? — да все, чему она посвящала время единственной своей жизни, вписывалось в стандартное оглавление книги по домоводству. Других книг она не читала. Да и когда было ей читать? Ни на день, ни на час не могла она сбросить с плеч свою ношу — быт, всегда каторжный, поскольку дед, даже выбившись в начальники, в силу суровой принципиальности характера преимуществами положения не пользовался.

* * *

После развода родителей я, естественно, при всяком удобном случае стремилась уйти из квартиры, где с изобретательностью ласкового садиста бесновался отчим, к бабушке и деду. С одной стороны, мать, цементируя новую ячейку социума, была рада избавиться от «довеска» хотя бы на выходные, с другой — ее ненависть к генетически чуждому ей укладу жизни стариков, ненависть, прямо пропорциональная неудержимости моих побегов, переносилась на «их» внучку. Надо сказать, что после нашего переезда мои мать и бабушка никогда больше не встречались, но мать и на расстоянии продолжала изливать по адресу свекрови («Палец о палец не ударила, тунеядка!») мегатонны яда, способные выжечь все живое на десятки километров в радиусе ее местопребывания, не будь они исключительно ментального свойства. Думаю, эти заряды ненависти не уничтожили бабушку только потому, что не находили в ее мягкой душе,

к чему бы прилепиться: Вера бывшую невестку прощала, как прощала всех и всегда.

...Я сижу на коленях у бабушки, и, по примеру фарфоровой рыбы, стоящей на столе, старательно разеваю рот, в который бабушка забрасывает то ложку изумрудного салата, то кусочек котлеты с румяной корочкой. Одновременно в разверстый щучий рот летят крохотные разноцветные свечки в юбочках, предназначенные для украшения торта: в дом стариков даже в эпоху суповых наборов по рубль двадцать сказочным ветром заносило такие вот чудеса.

«Ну и как она его называет?» — вопрошает бабушка.

На самом деле моя мать об отце вообще не вспоминает, как будто его никогда и не было. Но мне хочется сделать бабушке что-нибудь приятное, поэтому я даю волю фантазии:

«Черт болотный! Кощей Бессмертный!»

Доброе бабушкино лицо мрачнеет.

«А еще как?»

«Чмо недоделанное!» — вспоминаю обычное выражение Брюхатого.

Бабушка тяжело вздыхает. Рука ее с ложкой дрожит. Но меня уже не остановить — я выдаю все, что слышу дома:

«Сволочь! Выблядок! Зла на тебя не хватает!»

Бабушка спускает меня с колен и уходит на кухню. Минуту спустя до меня доносятся ее приглушенные передником рыдания. Я в недоумении: сама ведь спрашивала!

Теперь, обладая преимуществами взрослого зрения, я понимаю, что именно (кроме отвращения к сквернословию) так огорчало бабушку: ничего не умевшая для себя, она до последнего надеялась, что и в матери возобладает столь естественная, по понятиям бабушки, женская жертвенность, и она помирится с мужем ради ребенка. Наивная Вера!

На заводе, где работала мать, у нее появились подруги: это был неискренний альянс амбициозных особ, одержимых целью записаться в ходовой товар эпохи и занять место на полке, обозначенной биркой «активистка». До странности бедна секция для девочек в этом провинциальном универмаге! В основном товарками матери были одинокие или разведенные дамы того возраста, в котором человек обычно теряет зубы мудрости, но мудрости еще не приобретает. Попадались, впрочем, и семейные, которые забросили семьи за более важными — «государственными» — делами. Всегда истерически взвинченные, полные какой-то сатанинской энергии, которая с утра пораньше гнала их прочь от домашнего очага, в результате чего их близкие, питаясь всухомятку, скоро зарабатывали себе гастриты и язвы, а жилища зарастали застоявшейся, годами не убиравшейся грязью, они мчались вперед со свистом «Времявыбралонасссссс!» и прытью скачущей на дело конной пожарной команды. Товарищ Время, взяв под козырек, предоставляло им массу способов самовыражения. Они дежурили по религиозным праздникам возле церкви, бдительно высматривая лиц комсомольского возраста, направлявшихся в храм. С сознательной радостью кришнаита, толкующего неофитам «Бхагавад-Гиту», однако навсегда ограниченные низколобостью усвоенных ими истин, проводили в подшефных школах классные часы. С остервенением участвовали во всевозможных комиссиях, где, распаляемые данной им властью карать и миловать, еще больше укреплялись в своем превосходстве над ничтожными носителями мужского эго — сплошь алкоголиками и тунеядцами. Когда

они произносили магическое «рекомендовать в партию», то возводили очи к потолку заводского клуба с уродливой гипсовой лепниной. На заседаниях товарищеских судов от них особенно сильно разило по́том в сочетании с духами «Красная Москва». Им до всего было дело кроме собственной семьи, если таковая имелась; их родным следовало вручить главный приз ВДНХ за терпение. В обвисших на заду и коленях синих хлопчатобумажных тренировочных штанах (антиэротика коммунизма: выглядеть как можно отвратительнее) они выезжали в колхозы на уборку овощей и уже в автобусе обычно горланили песни, чему способствовало принятие на грудь бутылки беленькой, — согласно ритуалу, из горла́: причащение «к великому чувству по имени «класс». Некоторые выблевывали *слезу пролетариата* на тряских районных дорогах, не добравшись до поля с бураками; мать над таковыми посмеивалась, считая их слабаками.

Она влилась в ряды этих передовых, востребованных эпохой женщин после того, как ее божок — Брюхатый — покинул ее ради более молодой и, надо полагать, более домовитой: мать совершенно не умела готовить (в ее первой семье это делала свекровь); между ее «общественными» бумагами я как-то обнаружила похожие на прозрачные засушенные растения выкройки платья, так никогда и не ожившего... Собственно, это была ее сознательная позиция («Я — не домашняя курица!»). Что ж, отчим быстро объяснил моей бедной матери разницу между мистификациями наподобие «Женщина — это человек», который «звучит гордо», и жизнью-как-она-есть, а чтобы вложить это знание в ее мозг навсегда, до елового веночка, оставил после себя ребенка, о котором, в отечественных традициях, больше ни разу не вспомнил, — оставил без мстительности и злобы, с очаровательной беззаботностью пернатых, что подкидывают свой приплод в любое гнездо, не брезгуя и соломенными шляпами осатаневших от солнца курортниц.

...Я, восьмилетняя, спускаю вниз по лестнице громоздкую коляску с гремучей сеткой пустых детских бутылочек: выгуливать сестру и ходить на молочную кухню — моя обязанность (при общем полнокровном здоровье у матери почему-то совершенно не было молока). С трудом выкатив коляску, возвращаюсь за сестрой: перед этим я, как умела, натянула на ее головку связанную мне бабушкой шапку, завернула в одеяльце. Сестра спит. Осторожно выношу и укладываю ее в коляску. Но — о, ужас! — я плохо закрепила корпус; коляска переворачивается, младенец шлепается на асфальт. Едва не теряя сознание, дрожащими руками приподнимаю одеяло. Сестра продолжает спать. Спасибо бабушкиной шапке!

Где же была в это время наша мать? Вероятнее всего, у Капы. Так она ее называла. Сама же Капа называла себя не иначе, как Капитолиной, и утверждала, что родители дали ей имя в честь «Капитала» Маркса. Капе удалось то, что считалось высшим социальным пилотажем и вожделенным газетно-журнальным хэппи-эндом: совместить карьеру (начальницы отдела и члена парткома) и «здоровую, счастливую семью» (муж — инженер, дети — хорошисты, машина — «Жигули»). «Копейка» та, впрочем, была разбита, когда муж названной в честь «Капитала», отправившись с любовницей на природу, встретил лося, который переходил дорогу в неположенном месте. В отличие от лося, чей труп и привлек внимание правоохранительных органов к этому факту из жизни «здоровой, счастливой семьи», водитель и пассажирка отде-

лались легкими телесными повреждениями. Однако железобетонный имидж Капы, поскольку она сама в него верила, такие мелочи поколебать не могли.

Для матери она была образцом для подражания. Почему так? Женщины этого поколения, всю жизнь прозябавшие под холодными солнцами мнимых величин, не могли без образцов; мать не была исключением. Цветные портреты киноактрис из журнала «Советский Экран» (годовая подписка на «Политическое самообразование» в нагрузку), приклеенные с помощью хозяйственного мыла ко всем без исключения дверям нашей отдельной двухкомнатной квартиры, превратили ее в гибрид рабочего общежития и педикюрного кабинета. Даже справляя естественные надобности, невозможно было укрыться от томных, грешных, надменных, мечтательных очей Констанции Буонасье, Дульсинеи Тобосской, любимой женщины механика Гаврилова, любимых женщин прочих механиков, сантехников, водителей, строителей, фельдшеров и инструкторов по плаванию. Впрочем, Брюхатый, выловленный этой кинематографической сетью, ни к одной из перечисленных профессий не принадлежал. Именно свою женственность прекрасные дамы с экрана сумели превратить в штучный товар, за который готова была платить вся страна, выстаивая очереди к кассам кинотеатров; однако женские судьбы серийного разлива изначально вершились не по розово-леденцовому сценарию. Вот только предупредить чувствительных провинциалок о трагическом несоответствии между искусством и жизнью в титрах забывали. Не удивительно, что любовь у местных учительниц, продавщиц, бухгалтерш, библиотекарш воплощалась не в возвышенную сагу, как в ленте «Москва слезам не верит», а в нечто совсем иное. И вот тут-то, когда жертва мужского вероломства (и сладеньких широкоэкранных сказочек) готова была травиться йодом, лечиться сивухой-бормотухой или, если еще остался порох в пороховницах, искать в заплеванных пригородных электричках очередного обладателя нечистых ботинок и чистой души, на сцену строем выходили подкованные на «Капитале» доброжелательницы, всегда готовые помочь несчастной поверить в новое божество.

Названная в честь «Капитала» навещала мать обычно по календарным праздникам: снимала в коридоре модные сапоги на каблуках, под которыми неожиданно обнаруживались рваные чулки («Все равно люди не видят!» — говорила она мне, делая акцент на слове «люди»), и горделивой походкой, насколько позволяли расквашенные тапки, проходила в залу. Конечно, мы не были для нее людьми; мать же перед ней благоговела: «Вот у Капы муж сумки из магазина в зубах носит!», «Вот у Капы дети умные — не то, что вы!», «Вот Капа умеет общаться с людьми — ее везде приглашают!» и т. д. Эта Кассиопея житейской мудрости и Андромеда коммуникабельности — с нее моя бедная мать, прогорев с кинодивами, заново собралась «делать жизнь» — усаживалась за стол с минималистской снедью в духе Петрова-Водкина: селедка, картошка, сделанные из загадочной субстанции мясокомбинатовские котлеты, похожие на раздавленных жаб магазинные огурцы-переростки. После второй рюмки жидкости, которая еще вчера таинственно булькала в сообщающихся сосудах на кухне заводского электрика, Капа начинала щедро делиться своим богатым опытом: «Мужик — ему что надо? Койка да жратва, — учила она мою «второгодницу»-мать. — А ты — любо-о-

овь... Нашлась мне тоже, Джульетта... Нет, вы послушайте дуру — он стихи ей читал! Он стихи читал — так он уже и любит!» После третьей рюмки наступала очередь узнать о политических идеалах Капы: «Я вам что — с хера сорвалась «Капитал» читать?! И вообще: это я вам *здесь* — названная в честь «Капитала»! А жила бы *там* — носила бы имя в честь Капитолия, был такой холм, на нем Рим построили, слыхали? Эх, девки, кто б меня только вывез в те Капитолии! А хотя оно и тут неплохо — надо только уметь устраиваться!» Умение устраиваться считалось символом веры этого продвинутого женского сообщества. В конце застолья, заканчивавшегося попойкой, кто-либо из участниц, обычно — особа гренадерского роста и веса, что работала начальницей швейного цеха и жила в однокомнатной хрущевке с целой кодлой болонок, которых по причине пятого этажа не выводила, а потому и жилплощадь ее, и одежда пропахли собачьей уриной, — эта ответственная дама, на своей работе легко ставившая подчиненных на четвереньки, сама склоняла могучие колена перед унитазом, облегчая нутро под сардоническим прищуром широкоэкранной Миледи.

Мне было двенадцать лет, когда я впервые шокировала названную в честь «Капитала». Мать, желая произвести впечатление, сообщила, что дочь «пописывает стишки». Дочь была немедленно поставлена в центр комнаты перед ареопагом мудрейших. Я прочитала стихотворение, первая строка которого была поговоркой, услышанной от бабушки:

Дрэвы не дарастаюць да раю.
Яны ў снах, як птушкі, лятаюць,
Спяваюць.
Марацъ пра подых нябеснага саду
У час лістападу.
У вырай ляціць чарада залатая,
Нібыта гартае
Лясы закалыханы смерцю
Вецер[1].

Рты перестали жевать. Капа, презрительно взглянув из-под ядовито-зеленых век, посоветовала показать дочь «душевнобольному врачу», потому что нормальные дети такой чепухи, мол, не сочиняют. Да еще на языке колхозников, на котором «инцилигентные люди» не разговаривают! Откуда это у нее? Да от той, от иждивенки... нормального языка не знает... Ну так не надо пускать туда ребенка. Даже страшно представить, чему ее там еще научат. В нашем «вобшчастве» все должны трудиться! «Девочка, деревья — неразумные существа, из этого следует, что они не могут мечтать, видеть сны», — поучительно добавила другая, подхватывая вилкой жирный кусок селедки. Я промолчала, но записала в тетрадь загадку:

---

[1] Деревья до рая не дорастают.
Во сне они, точно птицы, летают.
Поют и мечтают.
Деревья уходят в небесные грады
В час листопада.
К югу летит череда золотая,
словно листает
леса очарованный смертью
Ветер.

Не хаваюць біўняў, поўсці ды рагоў,
Ганарацца званнем першых едакоў.
«Хоч, дыван купі: у маю залу не ўлез».
Што гэта такое?
— Чалавечы лес[2]!

Эмалированные губы красавиц долго еще дребезжали мне вслед, точно опрокинутые металлические миски.

Второй авторитетный совет звезды провинциального социума я сподобилась получить лет этак десять спустя. В ту пору я писала лирические этюды; их почему-то охотно публиковал редактор местной, еще партийной газеты. Капа перестала жевать (декорации все те же: самогон, огурцы, селедка) и, глядя на меня с брезгливой жалостью, как на человека, с ног до головы покрытого экземой, дала гуманный совет: «Если уж уродилась такая умная... дура... дак хоть людям этого не показывай... к тебе ж ни один мушшина положительный не подойдет, спужается...» По мнению Капы, ум для женщины был чем-то вроде рваных чулок, которые следовало прятать.

А еще несколько лет спустя к моим соответствующим возрасту прелестям вдруг воспылал директор строительно-монтажного управления (любопытно, читал ли он мои этюды?) и пригласил на корпоративный праздник в коллектив, где дорабатывала последние дни перед пенсией названная в честь «Капитала». Что двигало мной, когда я согласилась заглянуть на одиозное застолье? Желание доказать Капе ее неправоту? Но она, увы, не ошибалась. Будем считать, меня вела страсть коллекционера: в моем портативном паноптикуме уродств уже имелся десяток-другой экземпляров. Когда замолчала соседка, в течение двух часов осквернявшая мой слух бабьим бредом, а насытившаяся публика потребовала зрелищ, на середину комнаты, словно в зеркальной — обратной моему детству — перспективе вышла Капа. Она была по-прежнему с ядовито-зелеными веками и игривым начесом, который, судя по его подозрительному металлическому блеску, так же, как в эпоху дефицита, «закрепляла» краской-серебрянкой, предназначенной для придания жесткого глянца батареям отопления («Дешево и сердито!»), — вышла, похожая на маску смерти из Эдгара По. Сопровождал ее сильно пьяный шут с бубном. На мочалочный начес клоунессы был водружен колпак из фольги, увеличенные помадой губы неискренне лыбились. Шут извлекал из своего инструмента дребезжащие звуки, а его партнерша, задирая голые ноги, распевала корпоративные куплеты. На старых ногах набухли бурые вены.

И не то чтобы ей этого хотелось, нет. Но она, понизившись в статусе до полуидиотки, стала бы не только задирать ноги выше головы, — она стала бы выкаблучиваться по полной программе, лишь бы только отсрочить приход того, что древние философы считали самым большим счастьем в жизни человека, — момента встречи с собой. Ибо для того, кто пуст внутри, как футбольный мяч, и не имеет в себе ни любви, ни мудрости,

[2] Не скрывают бивней, шерсти и рогов.
Гонорятся званьем первых едоков.
«Хошь, ковер продам: в мой-то зал не влез».
Что это такое?
— Человечий лес!

нет ничего страшнее, чем быть отрешенным от призрачных «общественных дел», гнить заживо на магазинной полке. Универмаг закрыт, все ушли на фронт. Трудно представить себе каменное, беспросветное одиночество товара, на который не прельстились даже мародеры.

Но ареопаг теперь возглавляла не она. И большой директорский перст римским жестом выразил убийственный приговор: «НА ПЕНСИЮ!»

...Это они, неугомонные Капы, ошалев от страха смерти, который, как метастазы раковой опухоли, разрастается в торричеллиевой пустоте их души, это они, наделенные, как назло, несокрушимым здоровьем и все той же сатанинской энергией, бегают по общественным приемным, строчат анонимки, донимают бессмысленными звонками «правоохранительные органы» (при этом требуя непременно письменных ответов), бесконечно судятся с соседом за семь сантиметров забора. Это они терзают врачей ипохондрическими недомоганиями, сживают со света чиновников требованиями перенести автомобильное шоссе подальше от их жилища, потому что у них от шума закладывает уши, насилуют слух работников санэпидстанции жалобами на дурное качество воды, воздуха, света и вообще любой среды в ареале их обитания (что понятно). Это они осуждают, распинают, обличают, поучают, требуют, сплетничают, зубоскалят, охотно подписываются, гневно присоединяются, — словом, отнимают жизнь у других, пытаясь отчаянно ухватиться за них протянутыми из болотной жижи руками, *чтобы не одним уходить*.

Мне всегда бывает их жаль. Страшно умирать тому, кто не жил.

* * *

А как же насчет едоков-то? Неужели я ошиблась в свои двенадцать лет?

Нет, ошибки не было.

— Ну что это за поляну, блин, накрыли, даже икры нету, все, больше не буду деньги сдавать, пойду куплю себе конфет «Мишка в малине» двести граммов, слышь, Танька, ты че сегодня снила? Воды пить никто не просил? Спрашиваю: че снила? Воды пить никто не просил? Когда пить воды просят и даешь — это значит, денег не будет. Никогда не давай пить воды, когда спишь! Глянь, а эта-то, напротив, свинья поросная, жрет одни бедрышки, полная тарелка уже костей, а вон у той, толстомордой, дочка подцепила богатенького, дак на свадьбу, слышь, экипаж заказывали, кони белые, платье на невесте, как за полтора лимона, а стоило четыреста пятьдесят, я те точно говорю, мать голову сломала — все думала, что подарить, богатым-то стыдно дешевое дарить, богатым надо дорогое, это бедным можно дешевое дарить, а богатым — им нет, им надо дорогое, жених-то хороший, да, но без стержня, все родители за него, и он за родителями, ничего, жисть, она заставит, жисть, она такая, куды денется, главное для девушки — удачно выйти замуж, дык ты че, Таньк, сегодня снила? Пить воды никто не просил? Спрашиваю: че снила? И т. д. — по новому кругу.

На мой электронный адрес пришло «магическое» послание: нечто о Единороге. От меня требовалось переслать этот бред пяти моим знакомым, взамен же мне обещали «исполнение всех желаний». Письмо я отправила в корзину, и, надо думать, поэтому вместо «исполнения желаний» неожиданно оказалась в заводской столовке, где праздновался

юбилей бывшего одноклассника. Классическая комедия положений: шла в одно место, попала в другое. Видимо, это была месть Единорога.

Мне отвратительны их разомлевшие рожи, оживляющиеся при звоне стаканов. Если бы мне в страшном сне приснилось, что мой организм подвергнется истязанию этой жирной *хавкой*, он не дожил бы до утра. Я не способна понять, как можно тратить жизнь на пустые, никчемные их разговоры, — вывернутая мусорная куча возбуждает во мне меньшее отвращение, чем эти байки, полные самодовольства и лени, байки «победителей жизни». Ну и демонстрировали бы друг другу шоколадное ассорти своих побед: кто — новую машину, кто — новехонькую должность, кто — новообретенные знакомства и связи, но нет, они — как тля на лист, как осы на сладкое — льнут со своими россказнями именно ко мне, хотя менее благодарного слушателя, пожалуй, трудно отыскать. «Что это за занятие, блин, по жизни — книжки писать? — мычит с набитым ртом юбиляр, удачливый директор рыбного магазина. — Я те точно говорю... у меня на сортировке больше, в натуре, заработаешь... приходи, не парься, возьму, пока я добрый!» — «А это платье на вас довольно секси!» — хором восклицают дамочки, мировая скорбь которых состоит в том, что глянцевые женские журналы в рубрике «Голос тела» слишком поздно указали им *дорогу к оргазму.* В годы их юности эти дамы в железных башмаках, панталонах с начесом и пилотках со звездой добросовестно месили грязь совсем другой дороги: к светлому будущему, и то время уже не вернешь. Слушая этот *лесной шум* («Колбаски в фольге просто бесподобны, воробьиные тушки — так, кажется, они называются?» — «А бутылочку джин-тоника кладите в сумочку, дома «Поле чудес» включите — вот он, кайф...» — «Я когда гуляла на юбилее у директора, нам потом разрешили взять со столов все, что осталось...» — «Положи мне отбивную, ну чего ты жидишься, точно последний х... без соли доедаешь...»), начинаю понимать: и то правда, бахвалиться друг перед другом им уже приелось. С безошибочным инстинктом *профессиональных едоков* они находят в этой толпе того, кому единственно и стоит завидовать. Но так как завидовать — это для них очевидно — в моей жизни нечему, они завидуют моему одиночеству, которое тут же и осуждают, а поскольку сами не способны извлечь из одиночества ничего, кроме алкогольного тремора, то живы не будут, если хотя бы не изгадят его слизью своих разговоров.

Но я уже не та девочка, которая стояла когда-то перед ареопагом сытых. И не уговаривайте, родненькие, не присоединюсь, да и вообще, я тороплюсь, — меня ждет книга одного автора, он для меня, в отличие от вас, живой, хотя давно уже не доставляет хлопот чиновникам по гражданству и миграции фактом обмена своего земного паспорта. Возможно, для вас это всего лишь вариант некрофилии. Но то, за что вы так колотитесь — как непременно когда-нибудь станет ясно даже вам! — копится и приобретается, вот смех-то, ради любопытства фельдшера скорой помощи, которая, держа носилки с вашей набитой всем, что вы успели съесть, тушей и не без труда выруливая к выходу среди ваших бархатных диванов и домашних кинотеатров, будет рассеянно скользить по ним взглядом.

Так кто же из нас некрофил?

Вероятно, я сказала что-то непристойное, потому что рты перестают жевать, смех скисает. За плывущими по воздуху жалкими гримасами

проступают грязные стены с инструкциями по спасению утопающих. В прозрачных разбухших мешках колышется жирное месиво непереваренной пищи. Две разнополые особи, не замечающие того, что сквозь их черепные коробки просвечивает мозг, размером с грецкий орех, заняты типовой отработкой дыхания рот в рот. «На дорожку» мне суют коробку конфет — ассорти злобы, зависти и серости; эти черные сгустки отравили бы мой организм, вызвали бы в нем вспышку какой-нибудь болезни.

Спасибо, дорогие, кушайте сами!

* * *

Бабушка Вера до конца жизни сохранила какую-то юношескую застенчивость: терялась, когда на нее обращали внимание, избегала конфликтов, даже когда имела на то веское основание. Помню, лет в шестьдесят пять она сломала руку; эскулапы наложили гипс, и она, постеснявшись сказать про боль, мучилась целый месяц, а потом выяснилось, что гипс был наложен неправильно. После повторного заключения и освобождения руки она носила ее в поликлинику на массаж и рассказывала о медсестре с тихим удивлением: «Положишь рубль в карман — хорошо пожмякает, не положишь — только погладит». «Класть рубль» в карман работнику поликлиники ее научила, пожалев, соседка, — а то бабушка так и отходила бы положенное ей число сеансов без всякой пользы для себя. Впрочем, и на это у нее находились оправдания: «Наверное, им там совсем мало платят», — вздыхала она. Даже наглые обвешивания в магазине она сносила терпеливо, потому что испытывала неловкость — разумеется, не за себя, а за тертую тетку-продавщицу, которая вдруг будет выставлена воровкой перед всей очередью. Вера, мне кажется, вовсе не умела сердиться, требовать чего-то для себя, никогда не произносила оскорбительных и бранных слов; в этом можно видеть ее жизненную небитость — все взаимодействия с социумом, чреватые конфликтными ситуациями, разруливал дед, — в связи с чем к убийственным характеристикам, которыми моя мать награждала бабушку, прибавилась еще одна: «мокрая курица». Бабушка же, рассказывая мне о моей матери, сочувственно вспоминала, как перед свадьбой навестила ее на квартире, где будущая невестка снимала угол: «Она, знаешь ли, спала на сундуке в коридоре, небольшой такой сундук, ног не вытянуть, ни матраса, ни подушки...» Я потом, после загса, рассказала свате, а та: «Ну и что такого? Подумаешь, барыня! Не сахарная, не растает!» Но чаще бабушка поджимала губы, смотрела прямо перед собой и произносила подчеркнуто твердым, как свежезаточенный карандаш, голосом, как бы отсекая дальнейшие рассуждения на эту тему: «Марию очень ценят на работе». И для нее эта характеристика искупала многое, если не все.

Бабушка наивно завидовала всем, кто по утрам вливался в мутный поток хмурых людей, растекавшийся по заводам и учреждениям. В минуты усталости (в последние годы они случались все чаще) она тихо жаловалась мне на то, что ее труд, труд заведенного механизма, не имеющего выходных и отпусков, никем за работу не считается. «Придут, одежки грязные скинут, а откуда они потом берутся чистые, знать не знают, — говорила она. — А вечером придут — и к телевизору: они устали, они работали! А то, что ты до ночи по дому крутишься и до света встаешь, так это не считается: ты же на работу не ходишь». Надо сказать, бабушка избаловала родичей, полностью освободив от всяких домашних

нагрузок, в особенности по ращению малышей: дети, внуки, племянница и даже правнучка — моя дочь — всех она нянчила, кормила, пеленала, купала, на ночь забирала к себе, чтобы дать «молодежи» отдохнуть.

...С утра голова тяжелая, веки налиты болью. Плачет ребенок — сколько таких утренних плачей пришлось на ее жизнь? — ну здравствуй, моя радость, она торопится на кухню, варит кашу для маленького, остальным готовит омлет. Вот малыш уже сидит на высоком деревянном стульчике, подожди, моя радость, дедушка не может ждать, ему на работу, мама с папой не могут ждать, им на работу. Она кормит семью, моет посуду; преодолевая боль в пояснице, замачивает в ванне белье, моет полы. Не плачь, моя радость, а вот я тебе расскажу, как твоя баба полы в детстве мыла: доски белые, некрашеные, воды с речки принесешь — и давай шуровать, а к Троице, бывало, аиром посыплешь. Линолим этот, или как там его, помыть — разве это работа? Варит обед, посматривая на часы, кормит мужа. Тише, моя радость, дедушка уснул, он спит всегда ровно двадцать минут после обеда, видишь, шофер под окном ждет. Уложив и ребенка, она стирает и развешивает детские штанишки — снова целая гора! Болит сердце, закончились лекарства, но в аптеку некогда. Гладит белье тяжелым утюгом — и что это я сегодня вся мокрая, как мышь? Ну вот мы и проснулись, улыбнись-ка бабе, мое солнышко! Скоро мама придет, скоро дед придет, скоро папа придет, они устали, они работали, за столами сидели, по телефонам говорили, их надо покормить, за ними надо убрать, посуду перемыть, а там можно и нам спать ложиться. Вот тогда я тебе сказку и почитаю...

Бабушка Вера, конечно же, понятия не имела, что такое отечественное учреждение, то есть ристалище амбиций, унижения, интриг, фабрика по производству дыр, сквозь которые незаметно утекает твоя единственная жизнь и самое дорогое в ней — время, которое вынужденно отдаешь фальшивым, никчемным, всегда голодным людям, заедающим свою внутреннюю пустоту твоим горячим сердцем и легкими. А мать, с шестнадцати лет вынужденная работать, при всем своем благоговении перед коллективными формами существования ненавидевшая любое напряжение сил, так и не сумевшая захомутать готовенького мужа-начальника, бешено завидовала Вере. Именно в немеркнущей остроте этой зависти, в чем она через много лет после бабушкиной смерти призналась мне, — призналась с непередаваемой интонацией родственного бесстыдства, — именно в ней и коренилась причина ожесточенной травли свекрови. Бабушке же никогда в голову не приходило кичиться начальственным положением мужа и персональной «Волгой», подкатывавшей к подъезду (и это усиливало ненависть: не понимает своего счастья, идиотка, или прикидывается); стань дед в одночасье никем, будь он выброшен из всех потоков истории и человеческих потоков, Вера любила бы его еще сильнее.

Ее призванием было ухаживать за старыми и малыми, за умирающими и выздоравливающими. Справившись с обедом и присев помелькать спицами в ловких руках, она часто вспоминала, как я едва не умерла от осложненного аппендицита, когда мать, уехав в командировку, из принципа оставила меня не бабушке, а одной из своих отнюдь не чадолюбивых подруг: разве могла трудящаяся женщина унизиться перед иждивенкой? Вспоминая, бабушка простодушно переживала горе и радость, которые оказывались у нее всегда свежими, готовыми к употреблению; для того, чтобы сделать ей приятное, я слушала всякий раз как бы с удивлением

и задавала уточняющие вопросы. На самом деле я прекрасно помнила, как, играя в чужом дворе одна, наелась одуванчиков, только проклюнувшихся, сочных, горьких. Зачем я это сделала? Возможно, старалась добиться от жизни ответной любви: вкус давал ощущение взаимности, которой не могло дать зрение. Утром «тетя», которой вполне можно было вручить медаль ВДНХ за достижение максимального поголовья клопов в ее жилище, поволокла меня в детский сад, хоть я и корчилась от боли; ввиду занятости воспитателей какими-то архиважными делами никто не обратил внимания на мои жалобы, а вечером мучительница снова поволокла дитя в свой клоповник. Дальнейшее из моей памяти стерто. По словам бабушки, «какие-то добрые люди» (очевидно, соседи «тети», которым мой плач мешал отдыхать) позвонили деду, и в полночь меня доставили в больницу — прямо на операционный стол. Здесь Веру ждал еще один удар: пожилой дежурный хирург оказался пьяным в хлам. «Я медсестре-то и говорю, а сама плачу, — рассказывала бабушка, — он же на ногах не стоит, он ее зарежет! А она мне: не беспокойтесь, мамаша, он на фронте руки-ноги отрезал, а тут какая-то слепая кишка».

Хирург не зарезал, а бабушка — выходила.

Я лежу в палате и адски хочу пить, я умоляю дать мне воды, вот же целый стакан стоит на тумбочке, полный до краев, мне не надо так много, дайте мне сделать глоток, всего один, разве у вас от этого убудет, рядом сидит бабушка, но ей запрещено давать мне воду, только смачивать губы влажной ваткой, которая лишь усиливает жгучий огонь в животе. Если я не выпью сейчас воды — я умру. На самом деле все наоборот: я умру, если выпью даже глоток воды, но я этого не знаю, не хочу знать, а если бы знала, все равно бы просила: «Пить! Пожалуйста!» И вот так же, повзрослев, я буду смотреть на лица, которые время от времени мое слепое сердце будет приравнивать к тому драгоценному стакану воды, на лица, золотые светильники моего сердца. Пожалуйста, один глоток! Но даже в мгновения сладчайшей слепоты я буду знать, что те прекрасные лица — лишь волшебные стеклышки-обманки...

Ни на час бабушка не покидала отделение, хотя места в больнице ей не нашлось: мне только что исполнилось пять, и считалось, что я в состоянии сама позаботиться о себе. Находиться в хирургии посторонним было запрещено, и бабушка почти не ела и не спала, вынужденная все время прятаться от моего спасителя, который оказался не только блестящим хирургом и выдающимся алкоголиком (сочетание в наших широтах не оригинальное), но и непревзойденным матерщинником. «Ну и куда рожали? Вам бы еще по ночам морковку сосать, а не кое-что другое», — громогласно провозглашал он (и немедленно уточнял, что именно «другое»), в сопровождении стерильного анклава входя в палату, где девочки-первородки, не вдаваясь в экзистенциальный смысл вопроса «куда?», спешно прятали в драные больничные халаты свои порезанные грудки, из которых до этого сцеживали молоко. В палату, куда моя мать жизнерадостно впорхнула, когда мой шов почти зажил — похорошевшая, в новом модном платье, с новой прической, — и даже привезла мне из столицы подарок: набор белых платочков с нанесенной на них схемой, чтобы вышивать крестиком, — очевидно, для того, чтобы дитя могло махать ей собственноручно вышитым платочком при отбытии в следующую командировку. И еще долго я, послушная девоч-

ка, старательно вышивала на тех кусках материи, похожих на агентурную шифровку...

Да, никто не мог сравниться с бабушкой Верой в заботливости. Никто не был ей за это благодарен. «А чем еще ей заниматься, неработающей?» Можно было бы сейчас утешить себя красивым словом «призвание». Но разве у нее когда-нибудь был выбор? Выбора у нее не было с той самой минуты, когда она появилась на свет. Тогда о каком же призвании я говорю? Ее роль была жестко задана, и она ей вынужденно соответствовала. Но для того, чтобы соответствовать этой роли, надо было иметь в себе сострадание и любовь — то, чего напрочь была лишена ее невестка, которой никакой менеджер по распространению белых одежд не помог бы превратиться в Царевну Лебедь. Если бы моей бабушке привести цитату из романа о невыносимой легкости, где журналистка-феминистка говорит героине: «Даже если вы всего лишь фотографируете кактусы — это ваша жизнь; если вы живете ради мужа — это не ваша жизнь», Вера не поняла бы, о чем речь. Не было у нее «гендерного сознания», как не было и собственной жизни; эту ее, отдельную от нас жизнь невозможно даже вообразить, — главное, она сама не знала бы, что с нею делать, свались вдруг такая жизнь ей на голову.

Недавно я получила письмо от бывшего подчиненного моего деда. Цель этого письма, написанного почерком, похожим на клинопись шумеров, была проста, как взятка: добиться от меня публикации текстов, которые он с большим оптимизмом именовал романсами. Шумер писал: «Я работал в 54 году шофером по хозяйству автоколонны. Я не был ни родней, ни знакомым вашего деда, но по долгу службы мы быстро сблизились. Я ездил с ним в Смоленскую область, купили там корову и привезли ее сюда. Однажды ваш дед подзывает меня и говорит: «Сходи ко мне домой, помоги жене». «А что делать?» — спросил я. Он говорит: «Сводить к быку в колхоз корову». Дал мне три рубля. Все это мы проделали с вашей бабушкой и вечером я ему доложил. Он сказал: «Спасибо, отвези меня домой». И вот он меня зовет в дом и, не говоря ни слова, достал с буфета бутылку, налил мне сто грамм и кусочек мяса положил закусить. И я понял, что не зря трудился...»

И хотя вознаграждение «шумер» от моего деда получил, за ту помощь моей бабушке я сложила в аккуратный пазл его безграмотный бред и опубликовала один из «романсов» в газете. А еще мне стало понятно, почему на фотографии, сделанной в провинциальном фотосалоне через год после моего рождения, бабушка выглядит измученной старухой, — а было ей тогда всего пятьдесят.

В послевоенные годы Вера, чувствуя вину за синий околыш дедовой фуражки, подкармливала одноклассников своих сыновей — мальчиков, чьи родители погибли на фронте или исчезли в репрессивной мясорубке; всегда мечтавшая о дочери, она шила карнавальные костюмы их девочкам. Вот тут-то и проявилась ее природная талантливость: умела из ничего создать потрясающую экипировку для застенчивых большеруких золушек пятидесятых. Цветная бумага, куски картона и марли, толченый мел и битое стекло превращались в нечто воздушное, сверкающее, струящееся, запредельное, — так Вера преподавала робким своим ученицам наглядный урок любви, ибо что есть любовь, как неумение «в месте прозревать пустом сокровища»? (И мне бабушка вязала удивительные, —

по неизменному определению моей матери — «гандюльские», вещи: свитера, жилетки, рукавички. Где только брала она образцы? Явно не в журнале «Работница», скорее — переносила на полотно ромашковый луг, который начинался за ее родной деревней, тонкий росчерк ласточки в небе, окаймляла прозрачной речной волной, набегающей на влажный песок. Все эти вещи носила потом моя сестра, некоторые донашивала дочь; удивительно, но они оставались модными и эпоху спустя). Эти девочки были королевами на школьных балах, а одна из них влюбилась в старшего брата моего отца — Эдика, и вместе с Верой ждала его из армии; когда же он вернулся из северо-восточных краев с красавицей-женой, эта девочка плакала у бабушки на плече, и та плакала вместе с ней. Потом бабушка одна растила внуков; жена Эдика оказалась на удивление неприспособленной ни к чему, капризной и вздорной — и почему так не везло с женами выросшим в идеальной семье бабушкиным сыновьям? — правда, в отличие от моей матери, все ее звездные устремления были направлены на уход за оранжереей собственной красоты: больше эту флегматичную особу ничто в жизни не интересовало.

Вера забрала к себе из деревни больную раком тетку и, досмотрев, похоронила; вернувшаяся из Хакассии после смерти «вождя народов», мачеха приехала умирать тоже к ней. «Я перед Марфой виновата, — как бы оправдываясь, поясняла бабушка. — Уговорила тогда отца на ней жениться — очень уж мне в город хотелось!» С Верой сохранил связь и брат Михась, который до двадцатого съезда партии, гонимый страхом ареста, петлял, как заяц, по всей огромной стране, меняя республики и города, путая следы. У нее в доме выросла племянница, дочь ее двоюродной сестры Тамары. Племянница закончила педагогическое и, оттрубив лет пятнадцать пионервожатой, в возрасте девки-перестарка вышла замуж за вора-рецидивиста Петеньку, добрейшей души гражданина, который между ходками на зону успевал уверенно штамповать ей таких же вороватых детишек. А сколько добра моя бабушка, словно чувствуя вину за свою устроенную жизнь, сделала совершенно чужим людям: соседке с жестоко пьющими дочерьми, брошенной всеми одинокой старухе, которая повадилась приходить к ней «за хлебушком»! На нашей улице жила сумасшедшая, которая повредилась в уме во время войны: ребенком двое суток пролежала на пепелище хаты, обнимая трупы расстрелянных родителей. Сумасшедшая любила заходить к Вере: та ее принимала, поила чаем и терпеливо выслушивала быстрый, похожий на птичье чириканье, бред.

На подоконнике у бабушки всегда цвели самые яркие цветы, и завистливые соседки просили отщипнуть им отросток, надеясь выгадать и унести из этой семьи кусочек счастья; бабушка никому не отказывала, но счастье не убывало.

В одной стране, где каждая семья, часто не имея на ужин хлеба, непременно имеет белое кружевное платье и туфельки для маленькой принцессы или нарядный костюм для мальчика; где детей, несмотря на всеобщую бедность, принято по вечерам наряжать как кукол и выводить на прогулку; в той поистине экзотической стране, где нет ни одного детского дома, потому что осиротевших малышей забирают родственники, а за неимением таковых — соседи; где расстающиеся супруги отдают последнее адвокатам, чтобы оставить сына или дочь за собой (все это похоже на сказку, не правда ли?), — в той стране мне однажды сказали: «Вы, русские, не любите своих детей».

Наотмашь. По лицу.

Это «вы, русские» я часто слышала там по разным поводам и тут же вскипала: «Я из Беларуси! Это не то же самое!»

На этот раз я промолчала.

А ведь я могла что-нибудь возразить. Например, что апокалиптические ужасы, да вечный рабский страх, уже отложившийся в костях и створоживший кровь, весь наш далекий от теплично-оранжерейного климат воспитывают спартанскую суровость к отпрыскам: сильный выживет сам, а слабому туда и дорога — все равно держава-мачеха нежить-пестовать не будет. Лакомая до потрохов своих детенышей, она узаконенными зверствами высушила в душах любовь; ту любовь, растраченную попусту на поклонение мраморным болванам да «живым богам» параноидального розлива, теперь копить-собирать по капле не одному поколению и белорусов, и русских. Да и до сентиментов ли там, где то ночные десанты в сопредельные страны, то радиоактивные дожди, то еще какая «трасца», тут бы исхитриться выжить, не залечь раньше времени землю парить, как говорила моя бабушка.

«Не сахарные, не растают!» Не растают, конечно. Вот только почему-то среди этих без любви повзрослевших полным-полно невротиков и психопатов, по совместительству — алкоголиков; девочки, выросшие без любви, бросаются в нее, как в омут, торопясь ослепнуть и оглохнуть, — проще было бы купить бутылку горькой, они сами лезут тебе в руки, выставленные добрыми продавцами для твоего удобства прямо возле кассы, чтобы ты, не дай бог, не ушла из магазина без «бодрящего напитка», — хотя в крови влюбленных и так синтезируется его биологический суррогат. Бутылка потребуется потом, когда эти девочки, уже протрезвевшие, одинокие и остервенелые бабы, из-за неудавшейся судьбы станут измываться над своими детьми, передавая генетическую обреченность на поражение, как ножик в тюрьму, следующему поколению.

Откуда же у моей бабушки было столько любви? Невероятно! Ни война, ни клеймо дочери врага народа, ни голод, ни каторжный труд не высушили ее душу. Может быть, именно это экзотическое свойство и имела в виду моя мать, называя свекровь нерусской.

* * *

Мне нравилось гулять по нашему городу вместе с дедом. Тогда на улицах только начали появляться высокомерные «Икарусы», желтые, с длинными неповоротливыми телами, похожие на сцепленные паровозики. Впрочем, родными для меня все равно оставались добродушные ЛиАЗы; в огромном, насквозь продуваемом гараже автобусного парка, где все шоферы знали меня по имени и приветствовали как принцессу крови, я прижималась щекой к грустным конским мордам моих ЛиАЗов, гладила их пыльные бока и шептала в их железные уши: «Я люблю тебя, номер одиннадцать, за то, что ты отвозишь меня к бабушке»; «Я люблю тебя, номер два, за то, что ты останавливаешься возле кинотеатра, где показывают “Седьмое путешествие Синдбада”». Впрочем, я отлично понимала, что любовь — это не «за что-то», а просто так. И когда на городских улицах таксисты предлагали подвезти нас с дедом совершенно бесплатно, автобусы притормаживали на любом участке маршрута, стоило деду махнуть водителю рукой, для нас двоих открывалась передняя дверца, и мы гордо забирались в салон, а меня водитель впускал в свою кабинку-аквариум,

и я, отделенная от остального тесно жмущегося друг к другу человечества толстым стеклом, восхищенно стояла около пульта с красными кнопками и рычажками, — к чувству избранности примешивалась неловкость: я понимала, что это — «за что-то».

Из тех, кто остался на темной стороне семьи, лишь деду было позволено входить в квартиру моей матери, забирать меня из детского сада, а потом и из школы на круглоспинной, с круглыми надкрыльями, похожей на майского жука «Победе». Мать перед дедом благоговела: его статус советского начальника внушал ей трепет. Именно дед нес посильную дипломатическую нагрузку, когда требовалось добиться временного изъятия меня у матери для поездки в деревню к бабушкиной сестре Зинаиде, в цирк или детский театр.

...Только что мы с дедом получили у матери разрешение на очередную прогулку. Дед в широких, светлых полотняных брюках и такой же рубашке навыпуск, в дырчатой шляпе; на мне — короткое ситцевое платье, конский хвост на затылке стянут аптечной резинкой так сильно, что ноет кожа на висках. Мы покупаем в гастрономе шоколадку с изображением девочки в красном с белыми горохами платке, а у цыганки возле гастронома — разноцветных петушков на палочках. Сегодня мы не идем в парк или в кино; дед приводит меня в незнакомый двор: «Поиграй тут, я скоро», а сам исчезает. Надолго. Мне скучно. Я, словно Архимед из мультфильма, рисую прутиком на песке цифры: складываю, вычитаю, умножаю, делю. На ноль делить нельзя, говорит наша учительница, а почему нельзя — не объясняет. Вот я сейчас возьму и поделю. Чем меньше число в знаменателе, тем больше результат. Значит, при делении на ноль получается... бесконечно большое число! Я люблю математику за абсолютную чистоту. Физкультура оскорбляет обоняние запахом пота в тесной раздевалке, в кабинете труда всегда стоит отвратительная вонь пригоревших оладий, которые нас же, девочек, заставляют есть. И даже родная речь нечиста: мы пачкаем ее своими грубыми прикосновениями. «Зла на вас не хватает! Когда вы уберетесь из моего дома, выблядки!» — как резаная, орет мать. Мы с сестрой прячемся от нее в ванной. Я чищу зубы жесткой щеткой так старательно, что десны кровоточат. Долго-долго, до жжения, тру мочалкой с черным хозяйственным мылом розовые складчатые места моего тела. И все равно кажусь себе мерзкой, нечистой, — а иначе почему я так противна собственной матери? Но вот бабушка — она не обращает внимания на казусы моей плоти. Это потому, что она меня любит. Но может быть, бабушка, по безграничной своей доброте, не замечает ужасной правды, не видит, что я — чудовище, и нет мне места среди людей? Кто же из двух близких мне женщин прав? Какова я на самом деле? Не знать этого мучительно. Я испытываю потребность в немедленном, математически четком доказательстве того, что *чужой* человек сможет посмотреть на меня без отвращения. Оглядываюсь — на качелях, тормозя ногами и поднимая пыль, лениво раскачивается рыжий мальчишка.

«Пошли», — говорит мальчишка, заметив мой взгляд.

Я бросаю прутик и иду за ним, не спрашивая куда. Мы приходим к полуразрушенному одноэтажному бараку, где недавно жили стеклозаводские: окна выбиты, вокруг мусор. Место безлюдное, сразу за бараком начинается заводской парк. Мой провожатый вдруг исчезает; через несколько минут рыжая голова мелькает в пустом проеме окна, расположенного довольно высоко над землей. Мальчишка залезает на подоконник, чтобы прыгнуть оттуда прямо на груду битого кирпича.

«Теперь ты».

Я послушно обхожу барак, пробираюсь между ободранной стеной и ржавыми спинками детских кроватей, вкопанными в землю вместо забора и обмотанными колючей проволокой; запутавшись в проволоке, падаю и быстро встаю. Пол внутри провалился, стены изъедены грибком, маленькие тесные комнаты-клетушки бесстыдно выставляют напоказ свое развороченное нутро. Вот и окно. Мне страшно, но прыгнуть необходимо. С улыбкой я приземляюсь на груду битого стекла и кирпича. Я больно ударила копчик, до крови расцарапала колено. Но королевское достоинство моей улыбки некому оценить: рыжая бестия словно испарилась. С трудом нахожу дорогу назад. Мальчишка развалился на качелях в той же ленивой позе, зачерпывая сандалиями пыль.

«Это твой папашка?»

«Нет, дед».

«Врешь».

«Это мой дедушка. Он знает все-все про автобусы и машины».

«Опять врешь, все-все никто не знает. А папашка у тебя кто?»

Что-то подсказывает мне: о месте работы отца распространяться не следует.

«Папа работает в лаборатории».

«Ясненько... А мамаша?»

«Мама сидит за столом и говорит по телефону», — честно озвучиваю то, что видела.

«Значит так, антиллигенты, — ласково уточняет рыжий. — Мой папа работает на стеклозаводе, в горячем цеху. Мой папа говорит, вас, антиллигентов, давить надо...»

Песок перед моими глазами начинает медленно плавиться, превращаясь в горячую стеклянную массу. Я поворачиваюсь, чтобы уйти в какое-нибудь укромное место и там дождаться деда.

«Антиллигентская вошь, куда ползешь? — шипит мне вслед мальчишка. И, кривляясь, гнусаво выпевает, точь-в-точь как Брюхатый: — На гумно, клевать говно...»

Дед вернется в хорошем настроении и не заметит моих потерь: коленки со свежей царапиной, порванного платья, и других, более существенных. Как всегда, я отправлюсь провожать его к автобусной остановке — оттуда как раз отъедет одиннадцатый номер; дед махнет рукой, желая задержать автобус, но то ли водитель будет новый, то ли не заметит директора, и автобус не остановится. Дед бросится неловко бежать следом, с его головы свалится и упадет в пыль шляпа, на которую он, кажется, даже наступит ногой. И я почему-то не подниму ее. Горячая стеклянная масса будет жечь мне глаза. А час спустя, услышав в очередной раз истеричное «Убирайся!», я выбегу из квартиры матери и в сумерках, истекающих желчью фонарей, буду мчаться, задыхаясь, через весь город, через все предательства и обиды к извилистой трубе экспериментальной многоэтажки. Я поднимусь на третий этаж по темной лестнице, где лампочка как будто выгрызена из металлического колпака («Выкраду вместе с решеткой» — пел в те годы по радио главный цыган советской эстрады), протяну руку к звонку, но тут же отдерну. Прильнув щекой к двери, я буду ловить среди квартирных уютных шумов бабушкин голос, а потом стоять и слушать его, как музыку. И только тогда я позволю себе заплакать — тихо, чтобы не услышали там, за дверью. Я буду вслушиваться в дорогие звуки, приглушенные

болтовней телевизора, чтобы затем осторожно, стараясь не шуметь, уйти умиротворенной, почти счастливой...

И потом, продираясь сквозь колючую проволоку моих подростковых влюбленностей, приземляясь — всегда! — на битое стекло, надменно улыбаясь обидчикам и проливая горькие слезы в одиночестве, я буду точно знать: земля для меня не пуста. Потому что по крайней мере одно существо на ней любит меня. Любит, не замечая недостатков, в изобилии приписываемых мною себе, и реальных. Любит, не понимая моих достоинств, не умея оценить построение фразы или поддержать «умную» беседу.

Любит ни за что, без всяких условий.

И без объяснений понятно, почему я весь год ждала каникул, особенно летних, когда мы с бабушкой Верой уезжали в деревню, где так и продолжала жить ее бездетная двоюродная сестра Зинаида. Бабушка Зина была замужем за местным ветеринаром, но давно похоронила мужа: черно-белый портрет мужчины колхозного бухгалтера, с виду страдающего ожирением, с рыхлыми волнообразными подбородками и гладко выбритыми щеками (фотограф неустановленного пола кокетливо выкрасил розовым губы и подсинил не только глаза, но и веки), висел над допотопной этажеркой с книгами. Сама Зинаида, не получившая образования, работала при муже помощником, а потом так и осталась жить в крохотной пристройке к ветеринарной лечебнице, с закопченной кухонькой без окон, с керосиновой плиткой и единственной комнатой, почти все пространство которой занимали две отличающиеся лишь размерами, словно разнополые, кровати. В открытое окно, похожий на порыв кипучего снежного ветра, врывался куст жасмина. Покойный ветеринар, к моему удивлению, оказался любителем галантных французов: на доисторической этажерке обнаружилось полное собрание утонченных скабрезностей Золя, Мопассана, Бальзака, и, словно для противовеса, изумрудно-зеленый томик Кемеровского книжного издательства «Нравственные письма к Луцилию» Сенеки. На самом нижнем этаже хранились сосланные в каземат, но предусмотрительно не отправленные в печку журналы пятидесятых с лубочными портретами генералиссимуса на обложках. Здесь же я откопала нервно разрисованный обнаженными девичьими прелестями блокнотик с душераздирающей сентенцией:

Любви ведь нет, товарищи, на свете!
Запомните и расскажите детям!

Блокнот принадлежал Нинке, племяннице обоих моих бабушек, дочери их младшей сестры Тамары. Нинка в пятнадцать лет родила неизвестно от кого; ребенок воспитывался у Тамары в соседней деревне, сама же сопливая давалка, как называла племянницу бабушка Зина, дала стрекача в Москву, где вела жизнь сообразно своим предпочтениям.

В день приезда мы с бабушкой обычно выкладывали в истошно ревущий холодильник городские гостинцы: дорогую колбасу, консервы, шоколад. Сами же переходили на местный, в зависимости от сезона, корм всех цветов и видов: алую клубнику, рассыпчатый золотистый картофель, изумрудные огурчики (переехав в двухкомнатную панельную квартирешку, бабушка с дедом оставили свой чудесный дом с садом, курами и собакой отцу и его второй семье, впоследствии оказавшейся столь же непрочной, как и первая, хотя и по другим причинам). Закавыка была лишь

с хлебом: его привозили в деревню дважды в неделю, и к вожделенному моменту прибытия хлебовозки у магазина на деревенской «площади», где в апокалиптическом противостоянии сошлись двухэтажный бетонный «нивермаг» и превращенный в отхожее место полуразрушенный храм, собиралась огромная очередь. Моей обязанностью было несколько часов сидеть на корточках в вытоптанной пыли у магазина — больше присесть было некуда — слушая разговоры баб, изучая черты похмельного синдрома на лицах мужчин. И те, и другие с тупой животной покорностью и терпением вглядывались в клубы пыли вдалеке, равнодушно провожая глазами очередную расхристанную телегу. Наиболее слабые духом дезертировали в кусты: водку в магазине можно было взять без всякой очереди. Машина, наконец, приезжала. Грузчики, ленясь таскать поддоны, выкликали добровольцев из числа ожидающих (обычно — местных мальчишек), которым хлеб потом отпускался без очереди. В первый раз тупое сидение настолько вывело меня из себя, что я опрометчиво подняла руку. Когда мне, четырнадцатилетней городской девочке, на вытянутые руки лег поддон, на котором были тесно утрамбованы штук двенадцать еще теплых буханок, я чудом устояла на ногах. Но в спину уже толкал, торопя, кто-то из носильщиков, и я понесла непосильную ношу в магазин, а потом вернулась за следующим поддоном. Несколько дней после этого у меня сильно болел живот; бабушка Зинаида даже водила меня в местную «булаторию», подозревая заворот кишок.

Во всем же остальном наша жизнь протекает без происшествий. Днем бабушка Вера отправляется со мной на луг, который начинается сразу за изгородью ветеринарной лечебницы. «Вот это, Люся, смотри, цикорий... а это — пастушья сумка, женская травка... ну, ромашку ты знаешь...» По вечерам, если стоит сухая и теплая («огуречная», по определению Зинаиды) погода, обе мои бабули, распахнув окна, устраиваются за столом. В чайных чашках с привезенной мною индийской заваркой «Три слона» (отступной щедрый дар матери) плавают ягоды необычайно крупной земляники, которую я, благоразумно не афишируя этот факт, днем собираю на круглых облизанных солнцем холмах за березовой рощей, что является одновременно и кладбищем; прочитав спустя несколько лет у Марины Цветаевой: «Кладбищенской земляники вкуснее и слаще нет», я вспомнила именно эти ягоды. Словно шаманский бубен каменного века (по звучанию и по функции), вгрызается в мозг старенькое радио, вулканически грохочет холодильник, вызывая резонансное дребезжание алюминиевого настенного рукомойника.

«После войны-то Акимовна, помнишь, за жменю колосков в тюрьму пошла», — вспоминает Вера.

«Да, а страху-то сколько терпели люди, — откликается ее сестра. — Вот, помню, на сенокос бежавши, во дворе на ржавый гвоздь наступила, ногу — насквозь, кровищи...»

«И что?!» — ужасаюсь я.

«Что-что, посикала на тряпочку, ногу обмотала и пошла девок догонять. Бригадир-то у нас злющий был!»

Вера понимающе кивает.

«Это нонешние-то страху совсем не знают, — продолжает Зинаида то ли с осуждением, то ли с завистью. — Мужики вон распилися, а бабы сгулялися. Нашему человеку воли давать — нет, нельзя!»

В качестве доказательства этой сентенции (и в благих воспитательных целях) вспоминается племянница Нинка:

«Она смолоду такая была, — говорит Зинаида, косясь на меня. — Както раз иду огород полоть, а она стоит в окне веранды в полный рост — в чем мать родила. Окно-то на флигель выходит, там практиканты жили из ветеринарного института. Я и огрела ее тяпкой по ноге, да не рассчитала: рассадила бедро, зашивали потом в булатории... ну на ней как на кошке... Меня муж за сорок лет нагой ни разу не видел, — непонятно отчего вздыхает бабушка Зина. И опять в мою сторону: «Береги, Люська, нижний глаз пуще верхних двух!»

Вот повеселились бы буддисты такой версии местонахождения третьего глаза у женщины.

«Человек, он должон завсегда дисциплину держать, — подводит итог Зинаида. — Сам-то он что же? Ноль!»

«А баба — она еще меньше ноля», — вздыхает Вера.

Обреченно-назидательный мотив многократно повторяется.

Что может быть меньше ноля, я уже знала из уроков алгебры: отрицательная величина, минус-пространство. То есть нечто, чего не просто нет, а что располагается ниже уровня отсутствия чего бы то ни было. Странно! Ведь две мои бабули читали газеты, видели по телевизору, как первая космонавтка на всемирной конференции женщин в Праге раздавала негритянкам да китаянкам черно-белые фотопортреты Женщины-в-Скафандре, видели шедевры визуального искусства в духе «Доярка, метающая бидон с молоком в агента мирового империализма». Видеть-то видели, но кто бы смог их обмануть? Прожив на одной шестой части света по шесть десятков, собственными натруженными хребтом и лоном они знали, что все это только «картинки», а «жисть» на самом-то деле «такая», в смысле совсем другая. Исключения существуют не для того, чтобы подтверждать правила; исключения существуют для того, чтобы под бравурные ритмы вознести их на пьедестал и лживо, напоказ выдавать за подлинные правила. И вот это их знание об изнанке жизни, которое таинственным образом сочеталось с тупым сидением в пыли в ожидании хлебовозки (на фоне льющихся на телеэкране рек золотого зерна), мучило меня своей непостижимостью. Авторы, которых я читала теми июльскими ночами, внушили мне, что все можно перебороть одной лишь силой характера, асфальтовый каток жизни превратить в квадригу, запряженную крылатыми — а как же! — скакунами, надо только обладать каменноугольной серьезностью и регулярно употреблять жевательную резинку книжной премудрости...

После чая обычно включался телевизор, бабули просматривали какойнибудь фильм, который показывался до программы «Время», вытирали лирическую слезу, затем с тем же вниманием смотрели детскую передачу «Спокойной ночи, малыши», где обаятельная тетя Валя, обнимая Хрюшу и Степашку, оптимистично приглашала зрителей к очередному мультфильму. И надо было видеть, с каким детским любопытством мои бабушки реагировали на похождения экзотических друзей Чебурашки и Крокодила Гены! При первых же бравурных позывных информационной программы сестры, точно их сглазили, начинали зевать, тереть веки, выключали телевизор и укладывались: Вера — на высокую кровать, Зинаида — на узкую девичью лежанку за печкой.

Выработанное годами умение выключать в себе, словно телеканал, нежелательное направление мыслей, забываться сном или работой... И вскоре до меня уже доносилось их сонное дыхание — честное, ровное дыхание утомленных праведным трудом людей. А я не могла заснуть

на кровати подпольного галломана. Запахи ночных цветов проникали в открытое окно; я вставала, отгоняя нахально явившийся из пенного жасминового куста образ беспутной Нинки, пробиралась на кухню, включала керосиновую лампу и доставала заветную тетрадочку, в которую добросовестно, с ученической старательностью — пай-девочка, готовящаяся прожить жизнь правильно, а как же! — заносила высказывания великих людей, выуженные мною из книг. «Все наше тупоумие заметно хотя бы из того, что мы считаем купленным лишь приобретенное за деньги, а на что тратим самих себя, то зовем даровым. Всякий ценит самого себя дешевле всего. Кто сохранил себя, тот ничего не потерял, но многим ли удается сохранить себя?» — каллиграфическим почерком отличницы выводила я сентенции римского стоика. Если жизнь — игра, правила в которой выдуманы для отвода глаз (от истинных механизмов жизнеустройства), то как же быть с этими «жемчужинами мысли»? Нет, я не дам себя убаюкать, не стану слушать на ночь сладенькие сказки, как другие!

Спокойной *вечной* ночи, малыши!

Кстати, моя драгоценная инструкция к предмету под названием «жизнь» была уничтожена одной весенней ночью, когда я проснулась от беспричинного счастья, зажгла настольную лампу и села за стол, чтобы кое-что записать. Но тут мать, разбуженная светом, фурией ворвалась в зал, где я спала на продавленном диванчике, выхватила у меня из-под руки тетрадь и разорвала на клочки, сопровождая свои действия, как пишут в протоколах милиционеры, громкой нецензурной бранью. Впрочем, и бабушка Вера относилась к моей ловле философского жемчуга неодобрительно; она прозорливо чувствовала в этом враждебную семье стихию и со вздохом подсовывала мне вязание, учила кулинарии. Благодаря ее педагогическому дару я, вполуха слушая, идеально освоила хозяйственные премудрости, но что толку? Как мало пригодились мне умения, которые для моей бабушки были краеугольными камнями бытия!

* * *

Чертово колесо «общественной активности» вдруг заскрежетало всеми своими эксцентриками и встало. Подруги матери почувствовали, что целая товарная группа в секции «Для женщин» сначала подвергается уценке, а затем — подумать только! — и вовсе списывается. Причем — на-все-гда! Да и кто бы стал теперь слушать воинствующих агитпропщиц под предводительством Капы? Застолья, после которых они, щеголяя односторонне понятым богатством языка межнациональной ненависти, любовно обнимали санитарно-техническую посуду в нашей квартире, сами собой прекратились как бы в интуитивном предчувствии нового социума, в котором «слеза пролетариата» будет выдаваться исключительно по талонам.

К несчастью, некоторые «талоны», так сказать, романтического свойства не были отоварены нашей матерью до конца. В серванте хранились пустые коробки от когда-то употребленных отчимом конфет; пыльные банки из-под импортного пива, до которого он был большой охотник, украшали буфет на кухне; в спальне, похожие на нечесаные пряди на старческой голове, торчали жутковатые «икэбаны» из высохших цветов, приобретенных в эпоху Брюхатого, а в шкафу неистребимо водились багрово-фиолетовые черви его галстуков. Время от времени я воровато

пробиралась с выуженным из буфета или шкафа барахлом на соседнюю улицу, чтобы там выбросить его в мусорный контейнер, сверяясь при этом с маршрутом матери с работы или из магазина: выброшенное в непосредственной близости к дому могло быть ею обнаружено и с проклятьями водворено на место. Возможно, это были магические приманки для легкомысленного духа, который не испугался бы и «святой троицы» с обложки журнала «Политическое самообразование».

И он появился — не дух, конечно, а товарищ Брюхатый собственной персоной; будучи на сильном подпитии, однажды он живым призраком ввалился в оккупированную призраками квартиру. Наделенный властью карать и миловать, он временно восстановил родительницу предыдущего ребенка — в новой семье у него рос новый — в попранных правах. Победителей не судят! Кстати, даже при таком раскладе ребенок как таковой — то бишь моя сестра — данного провинциального мачо совершенно не занимал. Некоторое время спустя этот герой-любовник отправился покорять новые рубежи: ведь в провинции так много женщин, которые в синхронном ритме грусти, сверяясь с сюжетами повестей о любви (их время от времени «выбрасывали» в нашем книжном, и тогда милые паломницы в жадной женской очереди с шести утра дышали друг другу в затылок), — в сентиментальном ритме «*Здравствуй, грусть!*» они протирают тряпками свои типовые дээспэшные кухоньки и млеют в ожидании Одного-Единственного, который принесет им в загрубевших от трудовых пятилеток ладонях счастье, — и всех надо успеть осчастливить! (После вторичного отбытия Брюхатого мои мать и отец на кратком отрезке своих матримониальных поисков совпадут по результату: отец разведется со второй женой и окажется без пары. Но теперь бабушка Вера уже не будет мечтать, как когда-то, что они помирятся «ради ребенка»; напротив, она будет, болезненно морща лицо, говорить мне: «Ох, не дай бог, опять сойдутся...» Впрочем, ни матери, ни отцу такая мысль в голову не придет: разгребать руины — сама по себе тяжкая работа, а уж на руинах строить...)

А пока в нашей квартире стал появляться свежий реквизит в виде банок из-под пива, в шкафу завелись новые, похожие на бледных ленточных глистов модные галстуки, а на журнальном столике прописался немецкий иллюстрированный каталог, отражающий жизнь в потребительском ее формате. «Унитаз из Гамбурга, с подсветкой! — самозабвенно врал Брюхатый зачарованной матери. — В виде трона! Покрывало шелковое, под леопарда!» Отчасти я даже была благодарна ее божку: в его присутствии мать, изображая кроткую горлицу, не обрушивала ежедневно на наши с сестрой головы небоскреб ругательств, и нам не приходилось прятаться в ванной от припадков ее агрессии. Снова стал включаться по вечерам приемничек с заезженными грампластинками и петь томным голосом:

Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Самая нелепая ошибка —
То, что ты уходишь от меня.

Вваливаясь в квартиру, отчим некоторое время священнодействовал у одежного шкафа, пристраивая свои драгоценные костюмы, оставался в вытянутых трениках и майке, как и Капа, — нас он людьми, я полагаю, не считал, — после чего немедленно принимал горизонтальное положе-

ние перед телевизором (теперь — цветным). Голые розовые его пятки, как и прежде, похотливо налезали одна на другую на ручке дивана. Впрочем, кое-что изменилось: в городской бане отчим мылся теперь как начальник, хоть и мелкий. Десять лет мылся как заместитель начальника — надоело; элегантно-подлыми интригами скинул своего непосредственного и теперь хлестал пузо веником в кругу директоров. Громогласный, с ростом под стать голосу и беременным пивом огромным брюхом, он потреблял так много воздуха и света, что в нашей квартире сразу же стало нечем дышать. Проходя мимо меня, этот видный мужчина, который теперь руководил целым коллективом счетоводов и секретарш, вдруг становился на цыпочки, бесшумно подкрадывался сзади и, наклонившись к моим метру пятидесяти шести с высоты своего роста, произносил нарочито гнусавым, тоненьким голоском: «А когда твои баба с дедом уберутся в свой Изр-а-а-эль? Хорошо бы, и тебя с собой забра-а-али!» Если шутка удавалась, и я вздрагивала от неожиданности, а потом — от отвращения и ненависти, он громко и удовлетворенно ржал.

Названная в честь «Капитала» и Брюхатый, два мелких демона моего отрочества! Достигнув тогдашнего возраста моих обидчиков (а их уже отнесло к широкому устью), я могу позволить себе саркастическую усмешку. А тогда? У меня не было ни мужества, ни независимости, ни знания о себе; у меня не было ничего своего. У меня была только бабушка, но бабушка была далеко, и она не могла защитить, потому что сама зависела от других. Я понимала это уже тогда. Впрочем, моя семья была в городке самой обычной. Дело, однако, в том, что не все имеют глаза, способные разглядеть зло в самом распространенном его варианте — зло обыкновенное, житейское, бытовое. Спасительного «замыливания глаз» (безусловно, удлиняющего жизнь) я так и не приобрела.

Что же до Брюхатого и Капы, я не стала бы поминать этих неказистых кочегаров преисподней ради банального (хотя по-человечески и вполне понятного) сведения счетов. Тогда для чего я вызываю эти тени? А вот для чего: метаморфозы, ведущие к великому оледенению или, напротив, всеобщей паровозной топке, не в состоянии уничтожить их тараканью породу. Похоже на то, что именно эпохальные катаклизмы на землях от Байкала до Буга и послужили теми условиями естественного отбора, в которых сия порода закалилась, расцвела и дала обильный приплод.

Вокруг них — неизменно яркий электрический свет, накрытый стол, громкая музыка. Они всегда в хорошем расположении духа и, шутя, снисходя к твоей малости, тычут в тебя ногтем указательного пальца, точно дворовую считалку повторяют: «Куколка, балетница, воображуля, сплетница...» Они уверены в своем праве потреблять и пользоваться, сами же ничего не дают жизни: ни музыки, ни хлебного колоса, ни заботы о ребенке; даже профессия их связана с какой-нибудь благоглупостью и ахинеей, убери их — и в мире лишь воздух чище станет. Эти человеческие ничтожества уселись прямо на загривок жизни, крепко так оседлали жирными своими задками. Как можно посметь взять здесь хоть крошку, если сам ничего не создал? А ведь они хватают пригоршнями. Ненасытный инстинкт заставляет их пожирать все, что не есть они сами, а то, что невозможно сожрать, — уничтожать. Они агрессивно внушают всем свое «я», и люди поддаются гипнозу, но Всевышний... Неужели и Он на стороне заскорузлых? «Кто смел, тот и съел», «наглость — второе счастье»...

Да, но чем же тогда Он отличается от хозяина коммерческого ларька? Торгаш любит потребителей пустоты, с удовольствием спихивает им свой копеечный залежалый товар, свое пластиковое барахло. Может быть, и Он, давно уставший от *индивидуального,* запускает автоматическую линию и наблюдает, как выскакивают фигурки из соленого теста, партия за партией: бездушные, настроенные на грубые вибрации желудка и низа живота. Вот с этими милыми созданиями Он и забавляется (и не надоело!): то в одну, то в другую позицию поставит («куколка... балетница»), то перессорит на коммунальной кухне («воображуля... сплетница»). Ну покидают они друг в друга сковородками, ну подвесят друг другу супружеские «фонари», а то и более существенные телесные повреждения нанесут «после совместного распития спиртных напитков». А вообще-то цель их жизни — «счастье», к которому, надо отдать им должное, они стремятся вполне последовательно: по головам всех, кто попадется под ноги.

Взять Брюхатого и Капу: эти два героя вполне могли бы составить идеальную пару. Только мне недосуг тратить на них время, да и неинтересно. Жаль, что, работая живыми куклами, они не знали друг друга. Наверняка они даже сподобились бы изведать «счастье». Помню случай: ехала в метро, людей было много; и вот на фоне снующей туда-сюда толпы передо мной вдруг медленно, словно во сне, проплыл пустой и ярко освещенный, точно аквариум, вагон. В вагоне сидело лишь одно человеческое существо: молодой, лет двадцати, дебил в спортивном костюме, очень толстый, с румяным круглым лицом и яркими плотоядными губами, какие бывают у рекламных едоков. Дебил радостно смеялся, глядя на людей на перроне и хлопая себя руками по пухлым, широко расставленным коленям, раскачивался в такт движению поезда, его заплывшие жиром глазки излучали умиротворение. Ему было очевидно плевать на то, что сообщество двуногих дружно его игнорирует: он был в состоянии абсолютного, фантастического блаженства! С тех пор, когда произносят слово «счастье», мне представляется этот божок, сжавший жатву большую, чем все мировые религии, вместе взятые, божок, чье земное воплощение я увидела тогда в метро.

Так, может быть, наш мир — просто следствие *автоматизации*? Но соскучится иногда Создатель по *штучному*, зачерпнет желтенького речного песочка, промытого криничной водой, — так рождаются поэты и чистые душою люди.

* * *

В те годы я, как на пожар, выскочила замуж, чтобы как можно скорее покинуть родительский дом. Брак мой оказался одним из союзов, которые распадаются с той легкостью, с какой утром в понедельник развеивается воскресный сон, — так гул самолета еще слышишь после того, как далекая точка исчезла в небе (а я опять никуда не улетела!). Сон окончательно исчезает, когда запах кофе — лучшее, на что способна жизнь утром, в понедельник — восстанавливает действительность в ее правах. Моя дочь — единственное отличие брачного союза от сновидения — родилась в то сумрачное время года, когда женщины клянут идолищ отопительного сезона, а мужчины привычно компенсируют упущение властей алкоголем, который заменяет им все, чего у них нет, и помогает забыть про то, чего у них в избытке.

Дочь, привезенная из роддома, спала на двух креслах, поставленных друг к другу впритык. Каждый час я просыпалась, чтобы посмотреть, дышит ли она во сне. Малышку следовало сразу же выкупать; прошла уже неделя, а осуществить эту простую гигиеническую процедуру не удавалось. Во-первых, из-за дикого холода в квартире, во-вторых, из-за того, что я не представляла, как это следует делать. Я заранее приобрела в магазине металлический каркас с натянутой на него сеткой, предназначенный для поддержания головки младенца и заменяющий вторую пару рук — приспособление, явно придуманное неким тонким знатоком отечественных реалий специально для одиноких матерей. Пожалуй, я ухитрилась бы изобрести и собственную методику применения этого предмета, но в первый раз выкупать младенца должна была *прародительница* — таков обычай. В семьях моих друзей эту функцию выполняла бабушка ребенка. Моя мать принять участие в ритуале наотрез отказалась, ссылаясь на нехватку времени.

И тогда я позвонила Вере.

Могу себе представить, что означало для нее войти в дом бывшей невестки — дом, откуда был изгнан когда-то ее сын. Моя мать, узнав о готовящемся «вторжении», в гневе ретировалась. Бабушка Вера вошла молча. Молча разделась, вымыла и согрела руки. В натопленной газом кухне, где на двух табуретках (сакральный элемент отечественного быта, равно приспособленный для обоих таинств — рождения и смерти) стояла ванночка — розовая купель, бабушка распеленала правнучку и бережно опустила в воду. Передача души рода — через голову стоящей рядом меня — произошла.

И еще раз бабушке Вере пришлось переступить порог жилища своей бывшей невестки. Я кормила и перепеленывала дочь в комнате, где температура не превышала таковую на продуваемой октябрем улице; хлипкий обогреватель с единственной спиралью мало помогал, — в результате хронического переохлаждения и подхваченной в роддоме инфекции тельце ребенка покрылось гнойниками, и такие же гнойники образовались на моей груди. Боль была невыносимой, молоко затвердело и не сцеживалось. Голодная дочь кричала днем и ночью. Медсестра, заходившая взглянуть на младенца, сказала, что кормить грудью в таком состоянии нельзя. «Кто-то из взрослых должен высосать плохое молоко», — посоветовала медсестра.

И я снова позвонила Вере.

Молоко — сама жизнь — оказалось для моей дочери чуть ли не с рождения смешано с ядом. Но потом пришла Праматерь и приникла к отравленному сосцу, и выпила яд. И тот не причинил ей вреда. И молоко вновь сделалось чистым.

Где, в каком эпосе найдешь такой миф?

После этого бабушка сказала деду, уже больному сердечнику: «Вызывай такси. Больше они здесь не останутся». Так я и моя маленькая дочь оказались в благословенном месте: в бабушкиной квартире, где ничего плохого случиться с нами уже не могло. Рай этой защищенности был последним в моей жизни, но я еще не знала об этом. Сколько раз мне его будут показывать в снах! Моим многократно сновиденным, а значит, единственным, по-настоящему родным на земле домом осталась та панельная квартирка с двумя крохотными, согласно очередному эксперименту на выживание, комнатками окнами на север, со встроенными дээспэшными шкафами, с холоднющими, в сырых осклизлых трубах,

ванной и туалетом, с гремучим раздолбанным лифтом за стеной, — квартирка, где до сих пор все полнится *ее* присутствием. Сейчас там живут чужие люди; проходя мимо того дома, я не могу избежать соблазна поднять голову и посмотреть на *наш* балкон. Хотя этого как раз делать и не следует; разве мои сны не свидетельствуют о том, что время, агрессивно навязывающее себя, словно пьяный хам в автобусе, — не линейно, и где-то там, в настоящем незавершающемся, продолжает мягко ходить по комнате в своих вязаных тапках бабушка Вера?

Свою внучку мать не навещала: разве могла свободная женщина, член профсоюза переступить порог дома, где нахально существовала тунеядка без трудовой книжки?

* * *

Зато порог дома стариков слишком часто, на мой взгляд, переступала третья жена моего отца; этот тип женщин при наличии некоторого воображения можно сравнить с коловраткой, или живой пылью, в изобилии обитающей в водоемах нашей родины и паразитирующей на тростнике. «Песнь об эмпатии Коловратки», возможно, еще будет написана каким-нибудь изобретательным поэтом, в мою же задачу такое легендарное деяние не входит. Отмечу лишь, что «коловратки», как правило, бывают вторыми или третьими женами и сами имеют в пассиве по два-три брака; когда мужчина, этот тростник, изрядно побитый жизнью, печально клонится под тяжестью обид, тут-то и подбирается к нему живая пыль. Внешность этих женщин трудно назвать привлекательной: цепкие и зоркие, несмотря на маленькие глазки, с обесцвеченными локонами, из-под которых выглядывают неряшливые темные корни, они и не нуждаются в каких-то там чарах, о коих пекутся рафинированные дамы, ибо природа сполна позаботилась об их, «коловраток», боевом оснащении. Они обладают выдающейся способностью имитировать эмпатию — способностью, посильной лишь профессионалам: священникам, психоаналитикам и проституткам. Не ведая сомнений, в любом возрасте лихо раскручивают демографическую спираль, если вдруг находится лох, готовый за все платить. Таким и оказался мой интеллигентный, инфантильный отец.

Вместе они смотрелись прекомично: миниатюрный, как японец, в джинсовом костюмчике отец (он уже был довольно преуспевающим адвокатом), от которого веяло не просто моложавостью, а какой-то безнадежной подростковостью, и объемистая лжеблондинка. Отдельные пряди на ее макушке были выкрашены в ярко-розовый, напоминая оперение ощипанной жар-птицы. Она выглядела его мамкой независимо от того, что, копируя его манеру одеваться, старательно втискивала свой зад в джинсы.

Женщина-ребро, женщина-зеркало, женщина-копия, не имеющая своего лица... И вот уже мужчина, ошалевший от самодовольства, чувствует себя Богом, лепящим собственное подобие. Разумеется, именно *ее* он и искал всю жизнь! Недаром она так на него «похожа»! А между тем, мартышкин прием, которым пользуется умелица, технологи по пиару называют, кажется, экранированием: по возможности точно копировать манеру поведения объекта. Повторять жесты, окончания фраз... Сегодня из нимфы Эхо получилась бы успешная содержательница брачного агентства.

Так можно ли уважать мужчину, который до конца жизни со стоном болтается убогим выкидышем на пуповине безмозглой, но «практичной»

и цепкой мамки? Неужто настолько зудит хронический псориаз самооценки, неужто боится порфироносное мужское эго вдруг да и не встать рядом с равной ему по разуму женщины? Неужто честь для него — сиять светочем интеллекта на фоне планктона? Коловратка пленяет его «возвращением домой», но что есть тот «дом»? Включи же мозги, дорогой, догадаться нетрудно, что такое обратный путь к беззаботной жизни до рождения, сладость которой воспевает тебе эта ощипанная сирена.

А где же отец ее подцепил-то? Догадаться не трудно. Мой «уголовник»-отец (он специализировался, в отличие от адвокатов-цивилистов, на уголовных делах), фанатично погруженный в броуновское движение убийц и воров, как энтомолог в жизнь каких-нибудь чешуекрылых, цеплял баб, что называется, где стоял. Вернее, это они впивались в него мертвой клещеобразной хваткой. Вторая его жена служила буфетчицей в диетической столовой, где обедали районная милиция, адвокатура и суд; третья же... Муж Коловратки сидел. Старший сын сидел тоже. То есть они, конечно же, время от времени выходили подышать, так сказать, воздухом свободы, но вскоре садились опять. В последний раз Коловраткин супруг отправился за решетку за поистине легендарное деяние, перед которым меркнут такие фантастические поступки, как переплывание океана на льдине или переход пустыни без воды; исходя из этого случая, я даже думаю, что ученые не там ищут резервы человеческих возможностей. Сей тщедушный с виду гражданин, путем свободного доступа проникнув в садоводческое товарищество «Мечта» вблизи деревни Замужанье, обворовал два дачных домика, похитив при этом: немецкую металлическую печь, электрический самовар, два надувных резиновых матраца, электроплиту, дорожный велосипед, мойку из нержавейки, пружинный матрац, два настенных зеркала, телевизионную антенну, силовой кабель длиной 50 м, восемь стульев, пляжный зонт и шесть керамических тарелок. Вопрос о том, как одно человеческое существо, ограниченное во времени и не обладающее транспортным средством, оказалось способным на такой масштабный криминал, всерьез заинтересовал отца, хотя он и не был региональным представителем книги рекордов Гиннесса. Это было, безусловно, интересней, чем однообразные миграционные процессы (сел — откинулся — сел) в среде рецидивного элемента. Отец взялся защищать этого криминального Геракла и привлек к процессу в качестве свидетельницы его жену.

Предсказать дальнейшее было легко.

Кстати, муж Коловратки вскоре сел — благодаря услугам адвоката — на максимально возможный срок.

Итак, Антонина (имя Коловратки) взяла отца преимущественно эмпатией — именно этим термином именуют ушлые ловцы душ и кошельков свой служебный навык: умение слушать сочувственно, вдохновенно, как бы полностью перевоплощаясь в собеседника, чтобы у того, кто исповедуется, создавалась иллюзия, что он наконец-то нашел «родственную душу». Безошибочно вычислив, чего именно не додала жизнь этому конкретному (хорошо оплачиваемому) мужскому экземпляру, Коловратка принялась льстиво изображать восхищение (его умом и талантами), сострадание (его «мукам») и всячески превозносить себя, «добрую и понятливую», на фоне его предыдущих жен. На самом деле эмпатия Коловратки мало имеет общего с состраданием: это всего лишь великолепно отутюженный эволюцией инстинкт выживания. Такие дамы

обычно водятся в сферах обслуживания (хотя встречаются повсюду); третья жена моего отца работала медсестрой в госпитале, и он был рад после красавицы, которая его не захотела, и пьяницы, которую не захотел он, обрести сестру милосердия.

К сожалению, получил он нечто принципиально иное.

Первое, на что положила глаз Коловратка, — это двухкомнатная квартира моих бабушки и деда. В ее коллективном сознании (планктон на самом деле обладает не индивидуальным, а коллективным разумом, — этот научный феномен еще ждет своих исследователей) созрела гениальная комбинация, которую она начала осуществлять, активизировав все свои способности: прописка у стариков ее незамужней сестры с детьми, которую следовало для этой цели как можно скорее выписать из деревни; скоропостижная кончина стариков — окончательное завладение квартирой. Но для этого следовало не выпускать родителей мужа из виду ни на час; проявив чудеса «коловращения», она уговорила соседку совершить с моим дедом обмен. Версия для публики звучала цитатой из знаменитой телепрограммы «От всей души»: «Дорогие мои! Я согрею вашу старость!»

Надо сказать — и вот она, сила воздействия живой природы, сравнимая с грозой, снегопадом, жарой, — и бабушка, и дед, не говоря уже о моем отце, совершенно подпали под влияние Коловратки. Помешивая поварешкой борщ, бабушка повторяла мне с гордостью: «Тоня называет твоего отца Са-а-шечка! Ты представляешь?! Са-а-а-шечка!» И мне вспоминалось, как она устраивала мне, пятилетней, допрос на ту же, очевидно, больную для нее тему наименований и плакала от обиды на мою мать. Мало же надо было моей бабушке: слова, а не сути, имени, а не поступка! Любимым ее высказыванием в тот период было: «Видела я Марысечку, видела я Зоечку, увидела и Тонечку!» Имена моей матери и второй жены отца произносились с максимальной степенью сарказма, на какую только была способна ее добрая натура. Что ж, мне оставалось готовиться к переезду в пригород, где обитала Коловратка.

Как и следовало ожидать, эта рисковая женщина, которой было уже за сорок, немедленно родила от моего отца, дабы стратегически закрепить взятую с боя высоту. Дети для «коловраток» — нечто вроде строительного раствора, который должен намертво сцементировать кирпичную кладку их гнездовья. (До тех пор, пока у деторождения не будет одна цель — деторождение, не придет счастливый род на эту землю; вот и младшая дочь отца, моя сводная сестра, едва оперившись, попала в плен наркотического кайфа, а затем и вовсе пропала). Моя бабушка, конечно же, согрела и эту малышку, утром отводила в детский сад, а вечером забирала. «Тонечка могла умереть в родах! У нее совсем плохо с почками!» — трагическим голосом пересказывала наивная Вера очередную хитрую выдумку Коловратки. При этом бабушка, чьи мозги, похоже, были начисто заморочены, словно бы забывала о том, что эта «мать-героиня» пренебрегла своими старшими детьми, не выполнившими возложенные на них функции гнездоустройства.

Не помню, кто автор забавной теории, согласно которой все женщины делятся на два типа: матерей и проституток. Сдается мне, автором ее мог быть только мужчина. Что ж, сочувствие лучших из мужчин с библейских времен было на стороне именно проституток. Это и понятно: проститутка выгодно оттеняет мужское благородство, проявляемое к ней, «падшей», а добродетельной да работящей — кто ж ей сочувствовать-то будет? Пусть

и крутится сама, раз такая разумная. Гении русской литературы обессмертили тружениц панели, а с легкой руки одного из великих фраза «Она много страдала» превратилась в манифест отечественной давалки. И если простоватая Коловратка трудилась на батально-постельной ниве, так сказать, без затей, встречается разновидность предприимчивых дам, которые умело используют мужские предрассудки.

Во время учебы в университете мне довелось познакомиться с такой особой. Днем она работала в столичном Доме мод, но не моделью и не дизайнером, — она была, как это называется... подносчицей, что ли, — в ее копеечные обязанности входило приносить портнихам рулоны с тканью, а потом подбирать обрезки. По вечерам же эта дама занималась своим основным ремеслом. Свою неутомимую вахту она несла в нашем студенческом общежитии, в мужском блоке, одну из комнат которого единолично занимал черный, как земля, Эфити с Гаити (а может, Ананду из Уганды — не все ли равно?), а в соседней комнатушке кантовалось трое нищих студентов из стран социалистического лагеря, в том числе и мой будущий муж. В крохотной прихожей, где Эфити установил электроплиту, что, кстати, строжайше воспрещалось пожарными инспекторами, а также комендантами, дневным и ночным, — впрочем, правила те существовали для босоты, но не для платежеспособных угандийцев, — именно там, в процессе приготовления ужина, я взяла свое первое в жизни интервью у проститутки. Красиво пуская кольцами дым, она рассказала мне душераздирающую историю своих страданий: разумеется, она когда-то любила отечественного Колю (Васю?) и отдала ему цветок своей невинности, а потом этот Коля (Вася?) ее вероломно бросил. После этого несчастная заливала свое горе портвейном, забывала коварного в бесчисленных самцовских койках, но в итоге, исключительно по причине непреходящего страдания, оказалась в интернациональном блоке, где с утра раздавались бодрые ритмы африканского тамтама, а по ночам стенки между комнатами сотрясались от праведных трудов Эфити в том же ритме тамтама. «И теперь я, чем с нашим мужиком, да лучше с хромым ослом!» Однако при этом непрерывно страдающая жертва не забывала хищно, регулярно, педантично пополнять свой банковский счет.

Между прочим, после отъезда «хромого осла» на его жаркую родину эта дама надела хомут на осла отечественного (подвид «мужчина интеллигентный»), которому опытно развесила лапшу о своих непрерывных страданиях — и он поверил. Но даже если и не поверил: какая разница? Он разве лох какой — Льва Николаевича, что ли, не читал? Потом ему пришлось очень сильно попенять на «зеркало русской революции».

Возможно, кто-то обвинит меня в субъективности. А пишущий, по совместительству — живущий, и не может претендовать на всеохватность зрения, которой обладает лишь Единый в трех ликах. Знавали мы уже человеческие попытки объективности такого рода, например: председатель революционной «тройки»...

* * *

В это время деда свалил первый, довольно тяжелый инфаркт. Коловратка, подстегиваемая угрозой естественного уплывания из ее цепких ручек чужой собственности, бешено искала связи в исполкоме, куда уже были сданы документы на обмен. Моя дочь качалась в прогулочной коляске (на колыбель места не хватало) в крохотной спальне между кроватью

и столом, на котором громоздились дедовы лекарства, детские бутылочки и мои учебники. Бабушка Вера, надо сказать, сбивалась с ног, бегая от малого к старому, поскольку я, презрев блага законного академического отпуска, вышла на работу да еще решила сдать экстерном экзамены за пропущенный курс. И вот тут-то с бабушкой, то ли от запредельной усталости (ей уже исполнилось семьдесят), то ли по иным причинам, стало происходить нечто невероятное. Это тихое, покорное, ни разу не повысившее голоса создание, излучавшее любовь и терпение, устроило бунт. Бунт тишайшего создания пришелся на время абсолютной дедовой немощи; теперь он был полностью зависим от нее, она же, сохранившая силы и, как мы ошибочно думали, здоровье, с автоматизмом заведенного механизма продолжала готовить, стирать, убирать, но при этом позволяла себе еще кое-что неслыханное: она заговорила. То есть она говорила не то, что все привыкли от нее слышать: «Возьми чистую рубашку», «Обед готов», «Выпей лекарство», а нечто абсолютно новое. Валаам, когда заговорила его рабочая скотинка, был изумлен, по-видимому, не меньше деда, коему эти речи были непосредственно адресованы. Я стала их невольной потрясенной слушательницей; вулканической лавой выходило на поверхность нечто немыслимое: идеальная для детей, внуков, родных семья вовсе не была таковой! Подступая к лежащему деду (одной рукой он держался за сердце, другой, дрожащей, пытался забросить в рот таблетку нитроглицерина), грозно возвышаясь над ним с правнучкой на руках, она с деланным сарказмом вопрошала, куда же подевалась его любовница. Та, с которой он ужинал в ресторане «Панская охота» и ездил отдыхать в Сочи, где она? Которую навещал по выходным, даже гуляя с внучкой — люди видели! *Той*, между прочим, он покупал золотые украшения, а у нее, у законной жены, полюбуйтесь-ка, люди добрые, — за этим следовало, к большому удовольствию младенца, переворачивание свободной рукой бедной бабушкиной шкатулочки с дешевыми побрякушками, которые ее внучки и племянницы превратили в игрушки, все парное сделав штучным, все непарное — располовинив; *ту* он одевал в меха, а у нее — распахивался настежь шкаф — одно самодельное! И это было правдой: все бабушкины одежки, вплоть до шубы и пальто, были сшиты, перелицованы, связаны ею самой, как и все скатерти, салфетки, шторы, покрывала, половички, тапочки, варежки, носки, свитера и куртки в доме. «Где же она *теперь*? — со злым торжеством, так не идущим ее добродушному лицу, вопрошала бабушка, сама уже держась за сердце. — Кому ты *теперь* нужен?!» Дед молча сыпал в рот таблетки.

Это было жестоко и не соответствовало действительности. Видела я, выходя на балкон, где, за неимением у бабушки сил, у меня — времени, «дышала свежим воздухом» в семь шуб закутанная моя дочь, видела стоящую под окном дедовой спальни одинокую фигуру, а потом соседка приносила в дом дефицитные лекарства и аппарат для измерения давления — тонометр, который достать в ту пору было едва ли под силу простому смертному. Но осудить бабушку я не могу. Сколько же десятков лет, забитых в глотку, как куски льда, она копила этот груз обид — столь горьких, что даже ее великая доброта не смогла их растворить?

Помню, как Коловратка на бабушкиной кухне учила свою сестру, толстогубую простоватую деваху, уму-разуму: «Аборт — и сейчас же! Пока срок не пропустила, дура! Ишь — рожать! А если его там убьют? Кому ты с хвостом нужна будешь?!» Речь шла о муже девахи, офицере, месяц назад отправленном в Афганистан. Младшая Коловратка тогда

безропотно повиновалась, но с благословения мудрейшей целенаправленно зачала и произвела одного за другим двоих, когда муж вернулся в чине майора, с видеомагнитофоном и зеркальными очками корейского производства. Позже от бабушки я узнала о дальнейшей семейной жизни этой пары. Муж младшей Коловратки работал в другом городе, где и встретил свою любовь. Старшая (о гениальном инстинкте самосохранения этого вида я уже говорила) учуяла угрозу и подбила сестру выследить «негодяйку». «Представь, они приехали ближе к вечеру, позвонили в дверь, он, знамо дело, не открыл, ну они стали кричать, кулаками стучать, — спокойно, без эмоций рассказывала бабушка, и мне трудно было понять ее отношение к поступку берегинь нравственности. — Ну а мороз был — градусов под двадцать. Открывает, наконец, он им, Тоня по лицу его сразу поняла: *та* здесь, а потом и запах учуяла *чужих* духов... Квартирку-то он снимал однокомнатную — где спрятаться? Ищут-ищут, найти не могут, что за чудо, уже и в туалете смотрели, и в шкафу, и под диваном... Антонина-то и сообрази: шасть к балкону! И — настежь! А там — *та*, босиком, в норковой шубе на голое тело... Тут они ее за волоса-то и выволокли...»

Мне кажется, эту норковую шубу Вера присочинила для пущей яркости демонического образа разлучницы. От этой истории у меня до сих пор мороз по коже, но бабушка, бабушка! Почему, рассказывая, она так старательно отводила глаза? Она никогда не выслеживала дедовых любовниц, не интриговала в союзе с опытными фуриями в благих целях сохранения семьи. Лишь однажды был случай, о нем Вера рассказывала с трогательной гордостью. О том, как почтальонша по ошибке отдала ей телеграмму какой-то дедовой курортной пассии: «Деньги высылаю сама приезжаю среду тчк Раиса». И она в тот же день отбила ей ответную: «Деньги высылай сама не приезжай тчк Вера». Но в те дни ей чаще вспоминался послевоенный купейный вагон, мелькание фонарей в нефтяной черноте ночи... Они возвращаются домой из Москвы, красавец-офицер муж и она с детьми. У мальчиков от непривычных столичных деликатесов разболелись животы. «Разберись!» — бросил он ей, отправляясь пить шампанское в соседнее купе, а она всю ночь бегала то с одним, то с другим сыном в тряский туалет, всякий раз физически *спотыкаясь* о полоску света на полу возле неплотно закрытой двери, откуда тянуло дымком дорогих сигарет, раздавались женский смех и мужские возбужденные голоса.

О том, что муж ей неверен, она знала, конечно же, давно. Как и о том, что у той, другой женщины, растет сын от него. Но заговорила об этом, то есть позволила себе показать ему, что знает, лишь теперь, когда он уже не мог оставить ее. Возможно, так в ней проявился инстинкт не самосохранения — сохранения родового гнезда, которое было единственным в мире домом души для детей, внуков, племянников, — потому что она понимала, не могла не понимать: если бы она раньше устроила мужу сцену, он просто собрал бы вещи. Так что если и имел место поединок между дедовыми женой и любовницей, то это был, в противоположность коловратoчьей расправе, бессловесный поединок фантастических *терпений*.

Мне трудно вообразить, как это бывает.

Молча терпеть тридцать, сорок, пятьдесят лет — срок, несоизмеримый даже с тюремным заключением! — чтобы отравить ядом упреков дни последней, мужней и своей, старческой немощи. И ведь она видела,

что эти разборки на краю отпущенного им земного времени лишь приближают смерть обоих, но, по-видимому, ничего не могла с собой поделать. После таких сцен к деду обычно вызывалась «скорая». А утром на кухне, где жизнерадостно подпрыгивало на высоком деревянном стульчике дитя, бабушка сожалела о своей несдержанности и плакала: «А если вдруг он... я же не смогу без него!» Но там, где лицевыми и изнаночными петлями вяжутся узоры судьбы, проявили к ней милосердие, очевидно, поняв, что «тунеядка» устала больше, чем ее трудолюбивый муж.

Квартирка, куда после обмена перевезла стариков Коловратка, оказалась маленькой и грязной; типовой отечественный гарнитур «Ольга» не вмещался в габариты кухоньки, являя некий изъян в логике Системы, задуманной по принципу детского конструктора, все элементы которого обязаны подходить один к другому. В пригороде не было нормального продуктового магазина, а до ближайшей поликлиники надо было добираться с пересадками. Зато теперь все происходило под бдительным оком Коловратки, все шло по плану, помехой была только я — нежелательная конкурентка. Коловратка медлила, прицеливаясь, с какой стороны лучше подплыть к деду на предмет прописки. Но на сей раз чуткий, как сейсмограф, инстинкт подвел.

В тот день я собиралась на очередной университетский экзамен. Ночью опять была «скорая», деду лучше не стало, и сейчас бабушка Вера стояла в тяжком раздумье над стареньким телефонным аппаратом, выбирая между страхом за деда и резонным опасением, что в диспетчерской ее обругают. Я ничем не могла ей помочь, да и опаздывала на электричку; два часа спустя в старинной минской квартире-сталинке моя велеречивая преподавательница литературы, восторженно обмерев, поставила мне в зачетку высший балл.

Вернувшись, я застала бабушку в необычной позе: она полулежала в кресле. Моя дочь, которая еще не ходила, стояла рядом, держась за ее колени. Бабушка пожаловалась, что очень болит сердце. В это мгновение дочь, оторвавшись от кресла, сделала несколько неуверенных шагов на кривоватых ножках, обернулась и с любопытством посмотрела на нас. «Ты пробовала валидол?» — спросила я. «Смотри, Ирина пошла», — ответила бабушка. Стараясь не думать о привычном медицинском хамстве, я позвонила в «скорую». Усталый врач, взглянув на кардиограмму, сказал, что надо обязательно в больницу, а до машины надо на носилках. Бабушка посмотрела на врача с брезгливым удивлением, поднялась с кровати и, отстранив медиков рукой, направилась к двери, но в коридоре опустилась на табуретку. «Найду я в этой квартире сапоги или нет?» — с необычным для нее требовательным раздражением спросила бабушка. Я бросилась за сапогами, и, заглянув в зал, увидела, как моя дочь, в суматохе оставленная без присмотра, сосредоточенно топает по комнате хорошими, крепкими шагами. Бабушка с усилием встала и прошла мимо меня к выходу, не взглянув в мою сторону, не попрощавшись, словно шла за хлебом или молоком.

В ту ночь мне приснилось: я поднимаюсь по лестнице многоэтажного больничного корпуса. Стекло, кафель, запах хлорки. Голые окна. Беззвучие. Стылый неуют казенных пролетов. Безлюдность. Возможно, в отделениях мертвый час, а персонал пользуется лифтами.

Для чего я здесь? Кого пришла навестить, навеки опоздав?

Утром я отправилась зачем-то к матери. Дверь мне открыла сестра. «А твоя бабка умерла», — сказала сестра. Сказала с торжествующе-удо-

влетворенной интонацией застарелой детской ревности. У нее такой бабушки не было. Теперь не стало и у меня.

Старик, младенец и женщина — мы осиротели. Внезапность беды оставляла надежду: то, что с нами происходит, — не взаправду. Думаю, когда дед, сев около телефона и поминутно забрасывая в рот таблетки, набирал далекие города и громко говорил срывающимся голосом: «Твоя мама умерла...» или «Твоя тетя умерла...» — в глубине души он не верил в то, что речь идет о Вере. А иначе почему ни разу не назвал ее имени? Умерла чья-то мать, сестра, тетя, но не *его* жена. Не *моя* бабушка. Ибо моя бабушка не могла вот так по-предательски разлечься посреди комнаты, бросив в раковине немытую посуду, а в ванне — замоченные детские штанишки. Моя бабушка не могла без нас! Спокойное лицо старухи с желто-синими страшными руками, связанными бинтом, которую обрядили в пошитое бабушкой к юбилейному дню ее рождения платье и, словно в насмешку, намазали губы свекольного цвета помадой, — это безмятежное лицо под варварским гримом было *совершенно* и обращено *не к нам*. Я вдруг поняла смысл стихотворной строки Пастернака, до того от меня ускользавший: «Лицом повернутая к Богу...» Я чувствовала ревность к этому Богу, забравшему у меня бабушку, обиду и гнев: время боли еще не пришло. На тумбочке лежало начатое вязание — спицы воткнуты в клубок, несколько петель спустились — и ее очки. Я механически их надела, чтобы довязать ряд до конца. Предметы расплылись.

«Вера меня опередила, без очереди влезла», — говорила моя деревенская бабушка Зинаида, обращаясь ко второй сестре Тамаре. «Она попадет прямо в рай», — убежденно отзывалась Тамара и крестилась на свечку в рюмочке с песком. Криминальный авторитет Петенька слонялся по квартире, в которой уже расположилась Коловраткина сестра со своими отпрысками, предлагал мне «перекантоваться» в какой-то воровской «малине» и вполголоса материл моего отца. Бабушкина племянница Нинка, ровесница моей матери, на кухне кормила с руки восемнадцатилетнего фавненка кавказской национальности, которого привезла с собой из Москвы. Чужие люди в полушубках топтались в прихожей, кашляли, ждали священника, священник задерживался, потом прибыл, близким родственникам раздали тверденькие от мороза свечи, батюшка торопливо бубнил, люди вокруг крестились, я не могла креститься, не могла смотреть на бабушку, воск капал мне на руки, я ничего не чувствовала...

В день похорон было минус двадцать пять. Лоно земли пришлось раздирать железом, как при трудных родах или хирургической операции.

В свидетельстве о смерти, которое и сейчас хранится у меня, сказано: «повторный инфаркт миокарда». А когда же был первый? Не могу вспомнить. Кажется, в кардиологии она не лечилась ни разу.

...Бабушка — говорила мне в детстве: «Сестра в пять лет умерла от скарлатины. Очень я тогда испугалась, прямо на кладбище сомлела. Не ела, не спала. Тогда мама придумала сказку, чтоб меня успокоить: живет, мол, в Москве Великий Иосиф, и есть у него машинка вроде швейной, с большим таким колесом. Умрет человек, Великий Иосиф крутанет свое колесо — тот и вскочит живехонек! Когда через год хоронили маму, я хваталась за гроб, не давала опускать, кричала: «Великий Иосиф, Великий Иосиф! Оживи мою маму!»

Великий Иосиф не помог, и бабушку опустили в стылую землю. И во мне все смерзлось в железный ком. На кладбище я не вытиснула из себя ни слезинки. На фоне тщательно продуманной истерики Колов-

ратки это выглядело звериной черствостью. Родственники поражались моей неблагодарности. А на следующее утро ясный, как зимний день, и такой же холодный *ужас жизни* (ни малейшей надежды не оставляющий именно потому, что ясный и холодный) стиснул мне сердце до невозможности дышать. За одну ночь мое время из золотой лодочки, плывущей в Вечность, превратилось в смрадную тюрьму. Разве можно сравнить это с олитературенным до последнего удара пульса, а потому совершенно не страшным страхом смерти!

ОНО черное и заостренное, как достигающий звезд колпак карлика, попросившего у властелина асуров кусочек земли в три шага, а затем с дьявольским хохотом принявшего свой настоящий вид и в три гигантских шага накрывшего всю Вселенную. Через НЕГО совсем нельзя дышать, можно только слышать, как где-то рядом, на непреодолимом расстоянии вытянутой руки, монотонно шевелит плавниками будущее, точно рыбьи стаи о днище затонувшего корабля, в котором ты жадно глотаешь последние пузырьки воздуха. Начнешь задумываться о жизни и оказываешься словно бы в незнакомом городе, где на твое «который час?» встречные враждебно молчат, как будто каждый из них боится, заговорив, утратить человеческий облик. Кем они окажутся, когда примут свой настоящий вид: рептилиями? волками? обычными маленькими детьми, пугливыми и жестокими? С тех пор я так и не научилась жить среди них. Но приспособилась делать вид, что умею это. Возложила множество забот, словно камень сестрицы Аленушки, себе на грудь, как это делала ОНА. Бабушка Вера спасает меня и ***оттуда*** *своим жизненным примером.*

Дед Борис умер через два месяца после бабушки. Оказалось: это он без нее не мог. Был апрель, земля лежала расслабленная, готовая легко принять в себя и легко отдать. Когда мы ехали на кладбище на стареньком, выделенном автопарком ЛиАЗе, следом торжественно плыли такси, и в каждом горело по скорбному зеленому оку. Я не знаю, сколько их было. Прохожие останавливались, глазея на диво. Когда подъезжали к кладбищенским воротам, все водители одновременно дали сигнал. Пронзительный вой вспорол тишину, ударился о низкое замурованное небо и, не найдя ни щели, чтобы пробиться в обитель света, осыпался серой штукатуркой дождя.

Дед умирать боялся. Он глотал множество таблеток, заваривал какие-то коренья и часто перебирал маленькие, не больше спичечного коробка, черно-белые фотографии. Однажды в детстве, открыв ключом сервант в поисках лекарства для бабушки, я обнаружила эти бережно припрятанные, крепко пахнущие корвалолом снимки человека в военном френче, чей облик ни о чем мне тогда не сказал. А потом, когда я узнала, какому это солнцу тайно поклоняется дед, и высказала ему свое дерзкое подростковое негодование. Помню, как он жалобно защищал своего кумира, не отступая ни на йоту, словно умоляя: «Не трогай!» Сейчас мне стыдно за свою тогдашнюю наступательную категоричность. А тогда я считала, что он предает бабушку тем, что хранит портреты человека, полстраны сгноившего в лагерях. После бабушкиной смерти дед уже открыто носил снимки в нагрудном кармане вместе с таблетками, на ночь клал на тумбочку в изголовье, и я не препятствовала.

Великий Иосиф не крутанул колесо своей машинки, молитвы генералиссимусу не спасли от второго инфаркта. А я всей тьмой своего иска-

женного зрения с удивлением смотрела на деда: как он может бояться смерти? Если бы я в те годы была способна сделать вывод из бабушкиной пожизненной обиды, из дедовой растерянности перед небытием, тогда я, перескочив некую промежуточную стадию, немедленно стала бы тем, кто есть теперь. Но хитрая природа не позволяет октябрю прийти раньше апреля: она впрыскивает тебе под кожу наркотик любви, поит вином иллюзии, пока еще может использовать тебя для ее, природы, божественных детских игр. Но как только с этим кончено, одним холодным утром ты внезапно просыпаешься на обломках своей фертильности, лишенная всех роз и радуг, просыпаешься той бесполой «тварью», которая «ревела от сознания бессилья» в гениальном стихотворении Гумилева.

Христианский Бог оттого так многотерпелив, что понимает, какое это великое искушение и какая боль: родиться на Земле человеком. И это понимание Его не позволяет наступить возмездию немедленно по свершении нами всех наших гнусностей (не терплю фарисейское слово «грех»). И, заранее за нас болея, ибо, в отличие от нас, видя наше будущее, видя всю нашу жизнь со своей высоты, — а если бы мы все это Его глазами увидели, то жить бы уж точно не смогли, — Он за нас вместе с нами страдает и нас прощает. Бабушка была наделена состраданием Распятого, состраданием ко всем детям человеческим, состраданием, от которого и разорвалось в конце концов ее бедное сердце.

«За нас», «с нами», — что ты все про себя да про себя? «А она, она», — кричит во мне тонкий жалобный голос. У нее-то не было ничего «для себя»! Разве я, двадцатилетняя, вдруг получившая в жадные протянутые руки непомерную гору даров — молодости, свободы, неизвестного (эге ж...) будущего, вконец ошалевшая от стольких богатств, — разве могла я понять ее? Я просыпалась с легкой головой, я подводила глаза и сварганивала прическу, я убегала, звеня браслетами, туда, где меня ждали, а она оставалась дома готовить еду и мыть детские бутылочки, и ее прохладные вялые щеки, и сморщенные мочки ушей, в которых посверкивали единственные ее сережки — рубиновые капельки, и ее руки в гречневых пятнах вызывали у меня лишь одно желание: почаще смазывать свои лицо и руки импортным кремом, чтобы они никогда не стали такими. Мне казалось это естественным: ее абсолютная, полная жертвенность.

Да и что еще может делать со своей жизнью женщина, которой уже не нужно любви?!

Я ошибалась. Любовь была ей тогда необходима еще больше, чем прежде, ведь ее слабость с каждым днем возрастала.

В ее экспериментальном доме — во всех домах, где она жила! — были тесные и темные комнатки — настоящие каморки: сколько ни драй окна старой газетой, солнца больше не становилось.

Но она родила двух прекрасных сыновей! А дедов незаконный отпрыск ничего не унаследовал от его роскошной самцовской красоты: вот вам и дитя любви. Мне как-то показали его: ничего в нем, лысом, как колено, с покатыми узкими плечиками и гнилыми зубами, не оказалось от бабушкиных сыновей, густоволосых, белозубых. Говорили, что этот внебрачный сын переехал впоследствии куда-то в Евпаторию, сдавал отдыхающим комнатку, очень грязную и запущенную. Говорили еще, что имел он слабое сердце, как все дедово потомство, и был не чужд искусству: рисовал моментальные портреты курортников на залитой солнцем набережной. После первого инфаркта картинки забро-

сил и занялся какими-то хитроумными дыхательными упражнениями, в которых достиг большего успеха, чем в малевании.

Вода без отдыха поит деревья, цветы и травы. Без нее они не могли бы расти. Нужна ли эта непрерывная работа самой воде? И когда она отдыхает? Детские, то есть самые серьезные, вопросы...

Мое тело — часть того мира, от которого я хотела бы зависеть как можно меньше. Тело мне даже не сообщник, а притворяется другом. Ему невозможно втолковать, что его хитрости напрасны. Нет способа достучаться, заговорить с телом и добиться взаимопонимания, его язык — не мой язык. Возможность прямого контакта между нами давно утрачена. Сейчас я научилась противостоять произволу этой биомашины, а в юности она управляла мной и творила, что хотела, да еще заставляла мой разум видеть сны наяву. Теперь этого нет, но тело с упорством механизма продолжает со мной свои игры, цикличные, как Вселенная. На каком языке возразить снегу или жаре? И я с улыбкой говорю телу на своем, иностранном для него, языке: «Больше ты меня не обманешь, я не попадусь в расставленные тобою сети, нежные, как прикосновение паутинки, и крепкие, как колючая проволока. Здесь, где человеческие ничтожества нагло уселись на загривок жизни, я не стану близоруко подносить к глазам твои волшебные стеклышки, по-детски воображая их вместилищем солнца. Я не стану во второй раз смотреть навеянный тобою дивный сон и не обреку на страдания невинное существо, вызвав его из золотой скорлупки Вечности. Женщина, став матерью, уже отдала свой голос за этот мир; она не может забрать его назад, не пожелав смерти собственному ребенку. Я не хочу больше невольно способствовать укреплению жестокости и лицемерия, которые творятся в мире именем всех матерей. Прилежный ловец жемчужин вселенской мудрости, я догадывалась, что когда-нибудь даже кассирша общественного клозета, похожая на старшую Мойру, грозная баба с пронзительно-кровавым облупившимся маникюром, особенно разящим в сочетании с перчатками, в которых для удобства счета денег отрезаны пальцы, откажется принять в уплату за свой сомнительной чистоты сервис те давно вышедшие из употребления тугрики. И поэтому вещество усталости, от которого кровь делается вязкой и медленной, откладывается на сосудах сердца, срывая его привычный ритм. Так, я больше не хочу никого вынуждать приходить в этот мир, смотреть грезы других спящих и притворно рукоплескать белым одеждам псевдозначительности, которые напяливают на себя хозяева жизни».

А если бы моя бабушка променяла свой честный ночной сон на подобные размышления? Лишись она иллюзий, только и делающих жизнь женщины выносимой, позволь себе *проснуться*, как ее слишком разумная внучка; начни она смывать с глаз сентиментальный кисель, который варится на крахмале традиций, устрой бунт против своей доли, рабской и убогой (безусловно!) и, устремляясь в пространства внутренней свободы, отбрось вместе с атрибутами суеты и свою внучку, просто предоставь меня моей собственной судьбе — что тогда? Вместо того, кто пишет эти строки, было бы другое существо: искалеченное и озлобленное; а может, я закончила бы свои дни еще подростком в сладостном полете с крыши многоэтажки или эмигрировала в веселую страну наркотического кайфа — кто знает? Из той любви, которую подарила мне Вера, я и появилась на свет, как из капель крови убитого Озириса выросли земные цветы.

Ее любви хватило и на мою дочь, ее правнучку.

Но разве стоит моя жизнь той цены, которой она была откуплена?

Римский стоик считал, что истинный человек добра рождается раз в пятьсот лет, как Феникс. Вот только временной промежуток, определенный воспитателем Нерона, вызывает у меня сомнение: земля, что лежит между Россией и Польшей, таких женщин способна рождать чаще, чем раз в полтысячелетия. Именно здесь они и приходят в мир: фениксы добра и запредельного, другим народам непостижимого, до хруста позвонков и крошения зубов, терпения.

А как же с наградой за сверхтерпение? «Она попадет в рай», — сказала Тамара. Думаю, мегаполис Рай давно перенаселен — не то, что во времена Адама и Евы. И потому тамошняя администрация вынуждена ограничивать прописку всяческих лимитчиков, а может, даже отселять вновь прибывающих за сотый километр. Резко уменьшить количество праведников на этой земле — тоже неплохой антикризисный ход.

* * *

Человек слишком поздно просыпается от золотого сна детства — поздно относительно краткости его земного срока. Проснувшись, человек видит перед собой ночь, похожую на огромное чернильное стекло. Далеко не у всех имеется просвет между тьмой золотой и тьмой черной; и если этот промежуток ясности зрения тебе дан (точнее — ты сама отвоевала его, сознательно отбросив иллюзии и усилием воли отодвинув наступающий мрак), хочется расширить просвет для идущих за тобой. Эта надежда никогда не сбывается. Каждое поколение начинает с начала, и люди обречены повторять все ошибки, совершенные до них.

Но я все же продолжу свой рассказ.

Теперь понимаю, что даже по советским меркам жили старики очень скромно; а учитывая, что дед был все-таки начальником, суровая простота их уклада и вовсе была загадкой для родственников: скромный комод, плюшевый ковер на стене, на котором бессмертные сородичи Актеона зависли в трагическом прыжке над артемидиным ручьем, телевизор — на нем стояли два величественных фарфоровых тигра с лицами фараонов, подаренные деду на пятидесятилетие коллективом автопарка. Родные подозревали экстраординарную страсть к накопительству. После смерти деда из разных углов «единого и могучего» слетелась родня, до этого известная мне лишь по открыткам: делить богатство. Приехала даже год не встававшая с постели дедова племянница из Тбилиси. Но делить оказалось нечего: старая мебель, чайный сервиз, ковер, телевизор, бабушкина швейная машинка, горка с никому не нужными стекляшками... Старики все отдавали детям, не оставляя себе ничего на черный день. Распоряжалась процессом дележки Коловратка. В итоге цирковых манипуляций с флаконом корвалола, истерических выкриков и угроз немедленно «уйти навсегда», которые могли обмануть лишь моего доверчивого отца, ковер с актеонами забрала местная племянница, чайный сервиз — племянница из Тбилиси, а все остальное поглотила Коловраткина утроба.

Следует сказать, что суперприза — квартиры — Коловратка не получила. Сразу же после смерти бабушки она принялась обрабатывать деда, чтобы тот как можно скорее прописал на жилплощадь давно запланированную деревенскую сестру. Дед же неожиданно заартачился: может, начал прозревать относительно характера невестки, а может, печалился

сердцем о правнучке, которая уже обживала коленками и ладошками крохотную комнатенку под самой крышей рабочего общежития без удобств. Зато там разрешалось повесить книжную полку и можно было читать и писать ночи напролет, что и явилось главным удобством для ее матери. Коловратка гоняла моего оказавшегося подкаблучником отца в исполком, требовала «поднять все связи», изливала в атмосферу мегатонны яда, но тщетно: без согласия деда нельзя было сделать ничего. Грубое давление, безусловно, ускорило его смерть; старик так и не успел оформить свою последнюю волю по всем правилам советской административной казуистики, и двухкомнатный улов заграбастало своей вездесущей сетью государство. После этого пришла очередь моего отца свалиться с инфарктом: Коловратка таки отыгралась на нем за упущенный кусок пирога.

Мне, в дележке сознательно не участвовавшей, родичи доставили в казенный дом настольную лампу с желтым абажуром (при ее золотом свете мне и сейчас так уютно пишется по ночам!) да картонную коробку с семейными фотографиями: эти вещи никому не понадобились. Лучшего наследства, притом достаточно компактного, чтобы сопровождать меня в моих скитаниях по свету, я и желать не могла.

Через двадцать два года после тех событий я перекладывала старую коробку в другое место и нечаянно оторвала картонное дно, оказавшееся двойным. На пол упали неизвестные мне фотографии моей матери. Повидимому, их успешно прятал от глаз своих ревнивых жен, посвященный в тонкости криминальных тайников, отец.

«Моей матери», — написала я. Но хорошо знакомый мне образ и этот никак не совмещались. Не амбициозная эгоистка, сама Женственность взглянула на меня с тех черно-белых карточек. Брови-ласточки, предгрозовое облако темных волос, капризные пухлые губы, но главное — глаза, вернее, их выражение: мечтательное, доверчивое, беззащитное. Длинное светлое пальто с отложным воротником — и это там, где идеальной одеждой считается «немаркое». Одна ножка в модном ботинке с высокой шнуровкой грациозно отведена назад. Да ей, кажется, идет любой наряд! Вот, играя с младшим братом, выглядывает из-за забора, сложенного из плоской гальки, а улыбка! При нас, детях, она никогда не улыбалась, мы не были достойны ее улыбки, от которой, оказывается, сразу же вспыхивает, словно подсвеченное изнутри, пышное облако волос. Простой черный сарафан, тонкий кожаный ремешок вокруг осиной талии, тяжелые косы за спиной — сидит на прибрежном камне сама Ассоль, ожидающая свою единственную любовь; а вот, прижимая к груди букетик полевых цветов, склоняется в шутливом поклоне. И откуда у дочки пьянтоса-моряка такие позы? Крохотный букетик фиалок в волосах. А это уже в городе, в техникуме: модный джемпер с пуговками на плече, волосы забраны в тугой узел. Вот и фотография с экскурсии в Москве; на той, что хранилась у нас дома, мать сфотографирована сбоку. Здесь же она *обернулась:* детски ясный лоб, гладко зачесанные назад волосы, лакированная сумочка прижата к большому круглому животу. Отец со счастливым видом поддерживает ее под руку.

Так вот какой она была! И что же с ней случилось? Передо мной фотографии, сделанные после развода: возле подшефной школы, заводского клуба, на фоне цехов и лозунгов. Она пытается держать марку: высоко поднятая голова с модным начесом, в глазах целеустремленная непреклонность. Ее наивность — лакомая пища для вдохновителей ТВ и газет, задуривающих мозг штампами-образами: партийной активистки,

простой свинарки, женщины с веслом, работницы и крестьянки; в команде обманщиков играют и ее хитрые подруги с их липкой дружбой, в первую очередь, названная в честь «Капитала». Мечты закончились; теперь она — разведенка с двумя малышками. Раздавленная неожиданным результатом, она просит других, «умных», научить ее жить. Но как ни старается вписаться в их ряды, в ней чувствуют чужую. На какой-то конференции ее посадили под огромным, в четверть стены, портретом Карла Маркса. Среди махнувших на себя рукой товарок с тройными подбородками и мужиков в мешковатых пиджаках она смотрится как чужеземная птица, случайно залетевшая в курятник. Новая модная стрижка «а-ля гаврош», глаза с французистыми «стрелками», короткая замшевая юбка — уже вызов. У нее крохотная, как у Золушки, ножка. Она всю жизнь страдала из-за неходового размера, но хрустальных башмачков на местном стеклозаводе не производят. Что ж, даже резиновые сапоги можно носить элегантно, держа при этом под руки двух явно нетрезвых охломонов в помятых шляпах и пальто. А этот снимок сделан на сельхозработах: склонилась над разложенным на газете все тем же нехитрым натюрмортом, сопровождавшим ее всю жизнь, как родимое пятно, — огурцы, селедка, самогон. Рожи мужчин и женщин, жадно хватающих руками еду, одинаково безобразны в своей тупости. На ней уже вытянутые на коленях треники, грязный свитер и уродливая, похожая на распухшего паука, мохеровая шапка — как у всех, как у всех, как у всех...

Быть как все. Повторять чужие жесты, старательно заучивать иероглифы очередного дацзыбао, и тогда тебе выдадут нужную бирку в скромно декорированном гетто, позволят быть инкубатором для двух слившихся гамет (изолятором для двух сумасшедших гамет!); а потом, когда у тебя окончательно отнимут волю, ты выйдешь из поезда на станции Маятник, — туда-сюда, туда-сюда, — но это будет все то же оцепенение, чтобы не помнить себя, все та же каталепсия.

Но началось с того, что она не захотела приносить себя в жертву, как делали ее мать и свекровь. Вздумала поиграть в варианты. Она же такая молодая и красивая! Найти свою любовь вместо того, чтобы жить с положительным, но нелюбимым мужем. Анне Карениной можно, а ей нет? Разве ее вина в том, что в ней от природы заложено больше жадной витальной силы, чем требует от нее существование в заданных рамках? Целый мир желаний разлагается в ней, отравляя кровь. Сжигать трупики убитых желаний помогает водка — это она хорошо усвоила по родительскому дому, да и в этих местах, где ей предстоит прожить всю жизнь, люди поступают точно так же. Ничего другого нет. Где набралась она этой дури: мечтаний о красоте? Вот она в своем светлом пальто с отложным воротником, в грациозных сапожках, за которые переплачено фарцовщику втридорога, идет на работу по окоченевшей ноябрьской листве. Ее голубые перламутровые клипсы конкурируют с небом (потом она спрячет их в шкатулку и уберет подальше). Ржавая перекрученная колючая проволока над бетонным заводским забором — о, каким бесконечным! — словно вздыбленная в агонии чешуя на спине мертвого чудовища. Ржавое «солнышко» решетки на окнах административных зданий. Два господствующих цвета: ржавчина и серость. За окном ее кабинета — отбеленная заводскими выбросами, когда-то голубая ель

кажется уменьшенной копией вышки электропередач. Окно, в которое она смотрит, с обеих сторон зажато выступами стены, и поэтому взгляд упирается в кирпичный зарешеченный мешок. Щель почтового ящика, грубо изнасилованная толстыми скрутками газет. Ни глотка чистого воздуха, живого чувства. А как же любовник, которого она боготворит? Она наряжает его, как новогоднюю елку, в благородство и рыцарство, каковых за ним сроду не водилось.

А что же по воскресеньям? Непробиваемо самодовольные супружеские пары идут с сельскохозяйственного рынка, похожие на откормленных свиней. Вон и тот, который, хватив лишку на заводском сабантуйчике, признавался ей в любви, вон он семенит за своей грозной коровистой «мамкой», преданно несет авоську с помидорами. В честном бою захомутавшие самцов жены злобно косятся на нее, вспоминая, в каком ящике стола хранятся партбилеты их дрессированных мужей. Система на их стороне: красота опасна, а потому нужно сделать всех одинаково уродливыми. В магазинах — длинные панталоны с начесом, серые пиджачные костюмы, ортопедическая обувь. Красота и притягивает, и отпугивает местных донжуанов: красноrожих вояк, пьяненьких работяг, громил из пожарной команды, потных строителей, гориллообразных электриков.

Не влезай — убьет!

Не разжигай!

Не дыши!

Другие не живут — и ты не смей!

Она продержалась дольше, чем эти «другие», уже после первых родов грубо оплывшие и покорно принявшие вид окружающего пейзажа. Возможно, она была более жадной к жизни, чем они, умерщвленные еще в колыбели. Она, как умела, противилась, не смогла смириться сразу; а потом, когда смирилась (а что ей еще оставалось?), вымещала горечь поражения на детях («Зла на вас не хватает!»). Была слишком эгоистична, чтобы дать отчаянию тихо тлеть внутри нее, постепенно превращаясь в рак матки или груди, как это происходило с другими женщинами городка. Ей требовалось распахнуть свое нутро, вывернуться наизнанку и залить своим отчаянием всех: в первую очередь — детей, а потом и тех, кто пытался под видом сочувствия устроить из ее несчастья распространенный аттракцион под названием «кому-то еще хуже, чем мне». Аттракцион, неизменно поддерживающий грошовую дозу оптимизма в тех, кому жизнь чего-то не додала.

Была ли она хоть немного счастлива со своим божком? Вряд ли, поскольку продолжала стыдиться своего тела, этого принадлежащего «обществу будущего» придатка, который имел достаточно развитые тазовые кости, чтобы рожать легко и безболезненно, но был, несомненно, виновен в ее беззаконных снах, напоминающих неприличные картинки из немецкого журнала, который приволок ей однажды Брюхатый. Те картинки она успела увидеть лишь мельком, поскольку демонстративно разорвала у него на глазах вражеский глянец, как и подобает партийной женщине.

«Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу». Она тоже хотела выбрать для себя. Ей показали ее место.

Как это? А вот так: мой умный, образованный отец, отстрадав сколько положено, по своей первой невзаимной любви и будучи вольной птицей и в матримониальном полете, во всех (всех!) черновых, неудавшихся семьях покидал не только жен, но и детей, мальчиков и девочек. Бросал

с концами, так топят следы преступления в болотной жиже: ни звонка дитятку в день рождения, ни встреч по выходным, и лишь бабушка Вера своей бесконечной любовью выплачивала те долги за сына; при этом отец считался в провинциальном социуме достойным человеком и сделал великолепную карьеру. И точно так же поступал отец моей сестры, и сотни других мужчин. А моя мать? Какой «полет» оставался ей под нашими с сестрой взыскательными взглядами исподлобья?

Ты что, вчера на свет родилась? «Женщину, религию, дорогу» выбирают только мальчики, для девочек и стишка соответствующего нет. Мальчики могут сами выбрать вариант контрольной работы по предмету под названием «жизнь», девочки должны тихо ждать, пока учитель соизволит ткнуть в них указкой. Вот, дети, типовой набор вариантов для девочек, что вам достанется — не ваше дело: а) неработающая домашняя хозяйка (редкость); б) работающая домашняя хозяйка; в) мать-одиночка; г) партийная активистка.

Она попробовала все роли, кроме первой. Возможно, потому-то ей и казалось, что в недосягаемом для нее положении свекрови заключено некое небывалое блаженство. Никто не взвешивал чужих крестов; ей ни разу не пришла в голову эта простая мысль. Ей выпал наиболее типичный в провинции вариант «в». В качестве дополнительного задания к контрольной работе (успевают сделать только отличницы) — стандартные потуги ощутить, что ты все-таки не полностью превратилась в бессмысленный, отупевший от грошовой службы механизм: принять отца своей младшей дочки, забежавшего из новой семьи (и кто он ей теперь — муж, любовник?), потом долго стоять под душем, смывая липкий мужской пот предательства. Чувства зрелой женщины — это адская смесь из модельных сапог, которые к вечеру уже не застегиваются в голенищах, отеков, возникающих от передозировки импортных ночных кремов; а у любовника дома имеется собственный агрегат, генерирующий женские гормоны в опасной для его здоровья концентрации, для него и это чрезмерно. Что ж, осознание своей ущербности без мужчины как раз и есть прямая от него зависимость, хоть она и считается самостоятельной женщиной, способной содержать себя и дочерей.

А что же еще, дети, преподается в той школе-то, а? Да нехитрая наука: минимализм желаний. Единственный способ получить хоть какое-то удовольствие от жизни при рабской доле. Встать в полшестого. Выпить чашку кофе (она заваривает кофе так, что ложка стоит в гуще). Кофе и шоколад — нехитрые антидепрессанты в краю, где хронически не хватает солнца, а оттого у всех от рождения серотониновый голод. Путь на нелюбимую работу спиной к спине в тряском автобусе, саму работу и, с заходом в гастроном, обратный путь опустим. Дома с удвоенным остервенением мыть полы, готовить еду, орать на детей. И, наконец, заслуженная награда в конце трудового дня — выпить чашку чаю с припрятанной плиткой шоколада... Что-о-о?! Кто из вас, сучонки, сожрал шоколад?! Да пропадите вы обе пропадом! Да когда же вы, наконец, уберетесь из моего дома?! Да когда же я, наконец, сдохну?!

Три десятилетия тратит человек на то, чтобы выгрызть себе минимум житейских благ. Выгрызает. Ну и? Теперь он (из-за возраста, нажитых болезней) прикован к заданным обстоятельствам прочнее, чем шуруп, загнанный с размаху молотком пьяного слесаря. Но одна-единственная точка и загнанность человека в нее и есть прообраз смерти. Так формулировать свои мысли она, конечно же, не умеет, да и боится *так*

чувствовать. Поэтому гонит от себя прочь горькую догадку, предпочитая оставаться полуслепой. Но горечь возвращается снова и снова — тупой тоской калеки, страдающего от фантомных болей в культе. Она делит сумму прожитых лет на ноль шансов найти в этой жизни саму себя и получает в итоге бесконечность разочарования. И от того, что все вокруг старательно делают вид, что «нам счастье досталось не с миру по нитке», пытка не до конца понятного ей самой отчаяния еще сильнее. Нет, она вовсе не хочет отличаться от других — она, половину жизни положившая на то, чтобы *соответствовать*! Но подражание плакатным образцам больше не спасает.

Фотография с какого-то заводского застолья. Ей лет сорок пять: в толпе танцующих фотограф навел резкость на нее одну — опасный эксперимент. Полные, очень белые руки, стиснувшие голову, искаженное гримасой отчаяния лицо состарившейся нимфы...

Декольте, туфельки на каблуках, вельветовая юбочка. Партконференция, вакуум-аспирация, уксусная эссенция. Воодушевление, разочарование, депрессия. Водка, тазепам, сигареты. Ранний климакс, дряблая кожа шеи, одиночество. Вот и все, нехитрая женская программа выполнена. Что дальше? Все. Все?! Ну да, а ты чего хотела? Еще осталась пенсия со своим типовым набором: варикоз, остеохондроз... метампсихоз. Старость не приносит ни мудрости, ни умиротворения, лишь ядовитую зависть по отношению к тем, кто молод и еще может прожить свою жизнь ***как-то иначе****. Вот только как это — иначе? Об этом в сентиментальных книжках и фильмах ничего не сказано, а государственные бонзы, точно попугаи, перенимают один у другого заученные песенки.*

Под поезд бросаются только в романах. В жизни ты продолжаешь все это, даже если тебя давно нет. «Кончена жизнь», — говорит мать, с ненавистью глядя на нас, дочерей. Мы с сестрой поедали, как гусеницы, зеленый листок, ее единственную жизнь. Мы не были в этом виноваты. Фатальные враги (или друзья по несчастью), спутницы по навязанному кем-то безрадостному маршруту.

В одно из тех редких мгновений, когда она не молчала, сжав губы, и не кричала, в одно из тех, повторяю, крайне редких мгновений она призналась мне: в школе, в эвакуации, ее главным страхом был гардероб. Не война, которая шла где-то далеко, а закуток со множеством железных крюков, где она постоянно что-нибудь теряла: то голубой шарфик, то варежки (за что бывала нещадно бита своей матерью). Догадывалась ли она, что эти потери были лишь предвестниками грядущих утрат? Кто-то носил голубую утреннюю тень ее последнего довоенного лета, донашивал узорчатые варежки, и она замирала от нехороших предчувствий: если этот дьявольский ветер потерь станет дуть непрерывно, что останется от нее? У нее есть тело, но принадлежит ли оно ей? О душе и вовсе говорить не приходилось, у души обнаружилось вдруг множество хозяев, начиная от гипсового болвана в пионерской комнате до учителей, комсоргов, партогов, которые нахально черпали шеломами неисчислимой рати ту живую сверкающую среду, в которой ее душа резвилась, словно маленькая рыбка, словно будущий ребенок в околоплодной жидкости, — ее время. Ее прошибал пот от мысли, что в толкучке и тесноте гардероба кто-то по ошибке заберет ее пальто, и ей придется влезть в чужую вещь,

как будто вместе с одеждой ей могут подменить судьбу и выдадут не ту, которая ей предназначена. Она будет жить чужой жизнью и сама не будет понимать, что с ней не так. Этот навязчивый страх вернулся через несколько лет, в техникуме: она панически боялась перепутать свое пальто с таким же самым ее сокурсницы Иры по прозвищу Ириска, дочери продавщицы из продмага. Некрасивую девочку с ее судьбой, торчащей за плечами, словно горб, она не раз видела в магазине, где та помогала своей матери.

Хочешь, Ириска, расскажу, что будет дальше? Ты закончишь техникум и сядешь за кассу, скорей всего, в этом же гастрономе. Мимо тебя будет ежедневно течь бесконечная серая река покупателей, обтекая с двух сторон твою кассу, и так же незаметно будет течь время. Вон я стою с пакетом молока в длинной очереди в кассу, что справа от твоей, гляжу на кассиршу — твою товарку — и вижу тебя через десять лет: уже расплывшуюся, с маленькими злобными глазками. У тебя двое сыновей, муж-работяга на химкомбинате, тебя поколачивает, — а где, кстати, твои передние зубки, Ириска? Заведующая магазином, прекрасно осознавая твою беспомощность, заставляет тебя регулярно перерабатывать, и ты терпишь, потому что другой работы в городке нет, да и к дому близко, а младший, паразит, уже нюхает клей. Теперь я перейду к кассе слева от твоей (там очередь поменьше) и в кассирше снова увижу тебя, но уже через тридцать с лишним лет, перед пенсией: злобная растрепанная бабища с лицом в багровых прожилках, старший сын в тридцать пять — спившийся инвалид, у младшего третья ходка в ЛТП. А потом у магазина будет юбилей, заведующая позвонит в местную районку и заискивающим голосом зазовет корреспондента, и он придет, и заведующая, проведя его по торговому залу, ради этого случая образцово-показательному, ткнет в тебя маникюром: «Вот наш ветеран труда!» И он станет задавать тебе вопросы. И тебе нечего будет сказать, кроме одной фразы, которую ты будешь тупо повторять в диктофон: «Да... сорок лет... вот за этой кассой...» Ты усердно наморщишь лоб, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь, но вспомнишь только засаленные бумажки дензнаков, и серую, без лиц, толпу, текущую мимо тебя, огибающую тебя, как река — сгнившее бревно. И озадаченный корреспондент при всей своей лихости сможет выжать из себя только десять строк, заключающих в себе всю твою скудную биографию, десять строк, набранных на первой полосе газеты под твоим одутловатым портретом; если отойти подальше и взглянуть на тот жирный шрифт, он покажется сплошной горизонтальной чертой, вроде прочерка, который ставят между датами рождения и смерти.

Так что же, страх моей матери сбылся? Ей подменили судьбу?

Ведь ей было назначено совсем другое, когда она, сидя на валуне и целеустремленно вглядываясь в морские волны, мечтала о любви...

Но ведь я, я любила ее! Любила как никто в мире и бешено страдала от ревности, потому что ее не интересовало ничто, кроме горечи ее несбывшейся жизни, горечи, которой она отравила наше детство (только к яду мы с сестрой оказались чувствительны по-разному, как, впрочем, и бывает у разных организмов). Разве могло удовлетворить ее жажду обожание рожденного ею существа? Во мне она с отвращением видела саму себя. А именно себя-то и приучена была ценить «дешевле всего», оттого так яростно искала подтверждения собственной значимости то в брачных играх, то в социумных бирюльках.

Не нашла, да и не могла найти.

Кто научил ее голыми руками тянуть нить из костра? Может, ее собственная бабушка? Пряди свою пряжу, внучка. Но я же сгорю! Не сгоришь, а если и обожжешься, это ничего, заживет. Огонь ласкал ее ноги и бедра, а она пряла и пела высоким голосом от боли, ведь когда у тебя нет других способов почувствовать, что ты живая, единственным способом становится боль. Правда, от слишком сильной боли наступает все та же оцепенелость, и в конце концов вовсе перестаешь что-либо чувствовать.

Из огненной пряжи ее старшая дочь, которая искала любовной зависимости, но слишком дорожила своим одиночеством, выткала мужскую рубаху. Но подарить ту рубаху оказалось некому, и она стала носить ее сама.

* * *

Недавно на одном из американских сайтов по гелиосейсмологии я увидела изображение Солнца. Половина светила была синей, половина — желтой, точь-в-точь как на моем детском рисунке. Сообщалось, что ученые разработали метод наблюдать за тем, что происходит на темной стороне Солнца, и даже предсказывать, какая там будет погода. Я очень рада за американских ученых, для которых Солнце — всего лишь пылающая гелием звезда, распространяющая рентген и ультрафиолет в межпланетном пространстве.

Но мне по-прежнему кажется: на обратной стороне стоит нетронутая тишина только что выпавшего снега. На той стороне Солнца живет Тот, Кто давно не смотрит на нас. Что мы прочитаем в Его глазах, когда Он обернется? Презрение? Гнев? Эмпатию? Или равнодушие белого, нетронутого снега?

А пока моя дочь продолжает анализировать структуру планктона (Rotifera), ассоциированного с тростником (Pragmites australis), — именно из этого научного исследования я почерпнула имя для своей «отрицательной» героини. «Ты не точна в определениях, — замечает дочь. — Коловратка для тростника не паразит. Это называется комменсализмом живых организмов». Пусть так. Я не стану спорить с моей разумной дочерью. Лучше я сниму с книжной полки блокнот с атласной, экологически чистой белой бумагой. Этот блокнот сестра привезла мне из Парижа. Привезла два года назад. До сих пор я не осмелилась что-нибудь написать на этих шикарных страницах. Именно сейчас я сделаю это, преодолев комплекс национальной неполноценности.

«Возможно, мир стоит на комменсализме живых организмов, одни из которых со вкусом пожирают других, а тем, другим, от рождения назначена роль жертв», — напишу я. (Пока со мной была бабушка Вера, я твердо знала: мир стоит на любви). Я хотела бы жить вдали от его трубящих горнов и скрежета челюстей, ведь только на обочине растут простые и добрые цветы: ромашка, пастушья сумка, цикорий, которые так любила она. Мой труд неблагодарен, как и ее труд, и мое слово, написанное на ее родном языке, неслышимое грохочущему миру, уходит, как вода, без отклика в эту оглушенную землю, поит ее деревья, цветы и травы. Хватит ли мне любви до конца моего земного срока, чтобы противостоять той силе, которая сожрала жизни дорогих мне женщин, а теперь пытается уничтожить мою, той силе, которая превращает мир в гекатомбы и устанавливает длину прокрустова ложа, чтобы отрубить

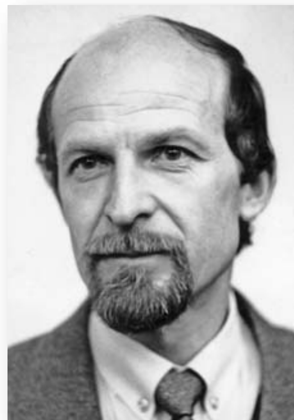
в конечном счете и голову, той силе, в безликую фатальность которой я не верю? Но, может быть, я ошибаюсь, и это всего лишь сила энтропии, приводящая все к единому знаменателю: живое — к застывшему, каталепсию — к смерти.

На моем рабочем столе рядом с компьютером — одна из унаследованных мною фотографий. Это место называется Пески; наша река, совершающая здесь плавный изгиб, похожа на зеркальное дно огромной чаши, краями которой являются высокие, покрытые чистейшим белым песком берега. Кроны сосен создают узорчатый край чаши, почти уже сливающийся с небом. Сосны отбрасывают длинные тени на крутой берег, тени тянутся к самой воде, где влажный песок становится медовым, а потом переходит в чистое светлое дно. И вот чуть дальше этой отмели, ближе к дну чаши на воде покачивается лодка с широкой полосой по борту. В ней сидят мои молодые родители и бабушка, а дед, лихо зажав в зубах папиросу, бредет по воде, толкая лодку все дальше и дальше от берега. Моя красивая мать поправляет прическу, на коленях у нее лежит букет только что срезанных кувшинок. Бабушка в простом ситцевом платье с повязанной вокруг головы косынкой не сводит озабоченных глаз с кормы, где мой загорелый отец держит на коленях девочку, очень похожую на него, одетую в матросскую рубашечку и белые сандалики.

Я хотела бы знать, куда плывет та лодка.

Перевод с белорусского автора.





ФЕДОР ГУРИНОВИЧ

И был весь берег золотым

Август

Август.
Брусника зреет.
С боровиком — грибных —
Хочется ярких зрелищ.
В Марков Лесок греби.

С той вон тропинки — влево,
Чувствую: где-то здесь.
Вот! — изо мха, из плена —
Звонкий, упругий весь.

Ишь ты, как на подушках,
Этакий падишах!
Ну, веселись, подружка,
С полем тебя, душа!

Август.
Росы полуда.
Ветра шаги легки.
Ну, боровик, ну, чудо!
Дюжину бы таких!

Вроде как неудобно —
Ах, не последний чтоб —
Дай-ка, мой преподобный,
Я тебя чмокну в лоб.

Прыгай в туес мой новый,
Ты в нем желанный гость...
Ну, а глаза готовы
Мох проглядеть насквозь.

Ушки Лани*

Речка Лань, подвижная, как ртуть.
Дождь.
Но прояснится лишь немножко —
Ландыши пленительно цветут —
Ушки лани в трепетных сережках.

Как они запали в душу мне!
Соберу букетик осторожно:
Ни в граните, ни на полотне
Их увековечить невозможно.

Будет Божий суд или война,
Или же потоп на белом свете,
Только ты, любимая, одна
Ландыши сберечь поможешь эти.
И когда б мы сами выбирали
В гроб себе цветы, — я взял бы их...
Возле Лани майским утром ранним —
Белый жемчуг в ушках дикой лани,
Светлая слеза в глазах твоих.

Безрассудство

Я по косе пошел речной,
Где наследили ночью лиски.
Сияло небо надо мной,
Как будто только из химчистки.

Носился пес через кусты,
Своим довольный положеньем.
И был весь берег золотым,
Как из палаты Оружейной.

Я перешел речушку вброд
Как раз напротив дикой груши,
Но ослепительный восход
Мешал мне целиться в крякушу.

Какой октябрь вокруг стоял!
Как у друзей светились лица!
И был в свои полвека я
Готов, как в юности, влюбиться.

* Ушки лани (старопольск.) – ландыши.

Дума

Ах, как рано осина
Облетела, звеня!
Отвечаю за сына,
Но не он за меня.

Он на Юг иль на Север,
Но в любой стороне
Все, что в сыне посеял,
Жать, конечно, и мне.

Но ведь с первого класса,
За верстою версту
Проходя,
Я старался
Сеять в нем доброту.
Осень.
Листья — как цедра,
Но, как в мае, светло:
Все, что сеял я, щедро
В сердце сына взошло.

Пусть рождаются дети,
Сыплет дождик грибной...
А за внука в ответе
Сын мой передо мной.

Ненастье

Который день ненастье и дожди,
И звездочки сбиваются с орбиты...
Прости меня, любимая, прости
За все мои упреки и обиды.

О, как гнетет немая тишина
Тревожного, тяжелого молчанья! —
Когда непонимания стена
Встает меж нами долгими ночами.

Ты первой шаг бы сделала уже
Через преграды все, через заторы,
Когда бы знала, что в моей душе
Творится после каждой нашей ссоры.

Оттай, родная, солнышко встает,
Дождя слезинки в форточке лучатся,
И каждый лучик солнца подает
Уверенность на обретенье счастья.

Смотри, как ослепительно река
Покачивает радуги орнамент...
О, как хочу я, чтобы облака
Не превращались в тучи между нами.

Лирически-шутливое

Светилась в лужах ранняя луна,
Бекас бесился в воздухе бездонном,
С букетом перелесок шла весна
С глазами рафаэлевской мадонны.

Багряным блеском рдели небеса,
Бобер кромсал осины ствол на стружки,
Апрельский день безмолвно угасал.
И вдруг простор озвучили лягушки.

Непобедимый лягушачий хор,
Обрушившийся, как лавина, с крыши,
Я слышал сотни раз,
Но до сих пор
Такого хора я еще не слышал.

Как он гремел, стонал, как ликовал,
Захлебываясь вдруг мотивом древним,
Как вдохновенно брачный ритуал
Свершали пучеглазые царевны!

Кипела и пузырилась вода
От их зеленоватого свеченья,
Как будто бы со всех лугов сюда
Сошлись хористки в этот час вечерний.

И столько было пыла в их возне,
И столько было радости и страсти!
Был аист тоже очень рад весне
И ужину, что рядом квакал, кстати.





ГЕННАДИЙ АВЛАСЕНКО

Уродка

Рассказ

Когда мы подошли к окраине поселка, мама крепко взяла меня за руку и, наклонившись к самому уху, прошептала:

— Не вздумай что-нибудь им отвечать! Даже если они станут оскорблять нас. Тем более, спорить не вздумай! Просто молчи и все!

— Я буду молчать, ма! — пообещала я.

— Значит, договорились! — проговорила мама (с некоторым сомнением, правда), но все же отпустила мою руку и лишь тихонько вздохнула.

Я и сама знала, что в поселке лучше молчать. Люди не любят уродов, они терпеть их не могут...

А мы с мамой — уроды!

Так нас называют жители окрестных поселков. Если же говорить научным языком, то мы — мутанты. Так нас тоже называют иногда. В основном, представители власти: жандармы и сборщики налогов, которые ежемесячно наведываются в резервацию за очередной данью.

Откуда мы взялись и почему выглядим именно так — вопрос сложный. С мамой на эту тему разговаривать бесполезно, дальше хозяйственных забот о завтрашнем дне и ежедневной тревоги о моем будущем ее мысли никогда не идут. А вот падре, наш сосед, как-то объяснил мне, что все это началось очень давно, еще в самом начале Новой Эры. Когда после долгой ядерной зимы и глобальной эпидемии, уничтоживших в общей сложности девяносто девять процентов человечества, началось постепенное его возрождение... вот тогда и появились среди обычных людей первые мутанты...

Мы, то есть.

Отношение обычных людей к мутантам — если верить словам падре — не всегда было таким, как сейчас. В первые десятилетия Новой Эры, люди и мутанты частенько проживали в одних и тех же селениях и даже (в это сейчас и поверить трудно!) всячески помогали друг другу выжить, может быть потому, что общая беда, она как-то сплачивает. Но, по мере того, как губительные последствия катастрофы постепенно отходили в прошлое, отношение людей к мутантам кардинально изменилось. Это значит, что терпеть рядом с собой уродов, вроде нас с мамой, людям стало просто невмоготу...

После великого множества кровавых эксцессов и погромов, после долгого периода массовых гонений, когда мутанты были вообще поставлены вне всякого закона и беспощадно уничтожались, уцелевшие жалкие их остатки были загнаны в специальные резервации, в коих и продолжают пребывать по сегодняшний день. Вернее, продолжают прозябать и постепенно вымирать там. А выходить из резервации (ненадолго, разумеется) имеют право лишь по специальному разрешению коменданта или его заместителя.

Такое разрешение у нас с мамой имелось, но полной безопасности оно, конечно же, не гарантировало.

Но пока все шло благополучно. Люди не цеплялись к нам, даже оскорблений почти не выкрикивали (кроме детей, но что с них взять, с несмышленышей!). Так, провожали неодобрительными взглядами, сплевывая презрительно в пыль. А некоторые и вообще потянулись вслед за нами в сторону рынка. Оно и понятно...

На рынке было довольно многолюдно, но других мутантов я, как ни приглядывалась, так нигде и не разглядела. Это хорошо, значит, есть неплохой шанс быстренько распродать весь товар и так же быстренько слинять отсюда. Ибо, как бы ни успокаивала меня мама, в поселке я всегда чувствовала себя весьма неуютно...

Подойдя к отдельно стоящему торговому месту с грязной корявой надписью сверху «Для уродов» и заплатив положенный торговый сбор, мама принялась раскладывать на темной, растрескавшейся от непогоды и времени поверхности стола наши изделия: игрушки, деревянную посуду, изящные плетеные коробочки для разных мелких предметов. Обычно люди все это охотно покупали, тем более, что мы (в отличие от многих других мутантов) цены предлагали самые умеренные. Но сегодня торг почему-то шел вяло. Немногие подходили к нашему столу, да и то, чаще всего лишь для того, чтобы вновь отойти, так ничего и не приобретя. К обеду мы смогли продать лишь несколько деревянных ложек, одну игрушку и две небольшие коробочки.

А потом к нам подошла целая компания подвыпивших молодых людей. И, конечно же, не с целью покупки игрушек или коробочек...

— Смотрите, пацаны, две уродки! — с ухмылочкой, не предвещавшей ничего хорошего, проговорил один из парней, самый высокий из всех и, по всему видно, вожак всей их компании. — А молодую я бы поимел! А вы как?

Его компания лишь дружно и одобрительно загоготала в ответ.

Как я уже говорила, подавляющее большинство людей не испытывает по отношению к мутантам ничего кроме инстинктивного какого-то отвращения, что ли... Они нас даже не ненавидят, им просто муторно на нас смотреть, а уж, тем более, общаться с нами. Но вот среди молодых парней в последнее время появилась такая извращенная мода: вступать в половые сношения с уродками. Причем, не одному, а сразу всей компанией. Вернее, не сразу, а по очереди. Это у них, вообще, за шик моды почитается...

Впрочем, насилие над уродками, тем более групповые их изнасилования, случаются довольно редко (еще реже насильников пытается разыскать для профилактической беседы жандармерия, но это так, к слову...). Чаще всего половые контакты происходят по взаимному согласию и за четко установленную плату. Причем уродки обычно берут деньги вперед, хоть и это не всегда гарантирует их сохранности. Не от парней, чаще — от охранников резервации. Они то хоть часть выручки, да конфискуют в свою пользу...

А пьяная компания тем временем подошла к нам вплотную и некоторое время забавлялась тем, что по одному сбрасывала разложенные изделия со стола на землю.

— Молчи! — тихо, одними губами прошептала мне мама. — Не вздумай им хоть в чем-то перечить!

А я и не собиралась. Не потому, что мама так приказала, просто от страха. От него у меня даже в глазах сразу потемнело, и ноги сделались какими-то

ватными. Судорожно я ухватила маму за руку, и она тоже крепко сжала мою ладонь.

— Желаете что-нибудь приобрести? — спросила мама парней охрипшим каким-то голосом. — Отдадим дешево...

— На фиг нам твои долбанные тарелки, старая ты уродина! — рявкнул на маму вожак. — Ты что, не поняла, что нам нужно?

И, выхватив из кармана несколько монет, он швырнул их маме под ноги.

— Этого, я думаю, хватит!

И, крепко ухватив меня за руку, рванул к себе.

— А ну, иди ко мне, моя красотка!

— Нет! — заорала я, не выпуская маминой руки. — Не хочу!

— Отпустите ее! — еще громче, чем я, закричала мама и даже попыталась заслонить меня собой. — Она же совсем ребенок!

— То, что надо! — загоготал вожак.

А потом он коротко и страшно ударил маму по лицу, и она молча опрокинулась на спину и осталась лежать так, совершенно неподвижно, и лицо у мамы было все в крови. А меня куда-то потащили, попутно срывая одежду... а я кричала и вырывалась, вернее, пыталась вырваться. Но на помощь я никого не звала, потому что это было запрещено: уродам просить помощи у людей. Да и бесполезно, ибо все они или с любопытством смотрели нам вслед, или (в основном, пожилые и женщины) лишь брезгливо сплевывали в сторону гогочущих парней и тут же отворачивались. А пьяные парни, затащив меня в какой-то сарай и бросив на прелую солому, сразу же принялись решать, кому первому со мной развлекаться. И, что самое удивительное, никто не хотел быть первым, настолько большое, видимо, я внушала им отвращение. Кончилось все тем, что парни, выругавшись и пнув меня хорошенько напоследок, ушли, а я, всхлипывая, принялась искать хоть что-то из своей одежды, но так ничего и не смогла обнаружить. Это было ужасно, а потом я вдруг вспомнила, как мама лежала неподвижно на земле с окровавленным лицом, и поняла, что стала сиротой, и никого-никого у меня не осталось больше на всем белом свете. И эта мысль была еще ужасней... она была настолько ужасной, что я сразу же обо всем остальном просто позабыла. И о том, что я совсем голая и потому не могу выйти из этого сарая, и о том, что я настолько уродливая, что даже эти пьяные парни мною побрезговали. И я, упав навзничь на солому, принялась рыдать, и рыдала долго, очень долго, и все никак не могла успокоиться.

А потом я почувствовала, как кто-то осторожно гладит меня по бритой голове теплой мягкой ладонью, и, обернувшись, увидела рядом с собой маму. И крови на лице у нее уже не было, и она сразу же улыбнулась мне чуть вспухшими губами.

— Мама! — закричала я, крепко ее обнимая. — Мамочка!

— Все хорошо, доча! — сказала мама, тоже обнимая меня. — Главное, что они тебя не тронули! Ведь они не тронули тебя, да?

Я хотела сказать, что один из парней очень сильно пнул меня ногою в живот, но потом поняла, что под словом «тронули» мама подразумевает совсем не этот болезненный пинок...

— Нет, — сказала я тихо, чуть слышно. — Они меня не изнасиловали!

— Тогда одевайся!

Оказалось, что мама как-то ухитрилась подобрать всю мою одежду. И она, то есть одежда, оказалась почти целой.

— Одевайся поскорее! — повторила мама, тревожно озираясь по сторонам. — Нам надо срочно уходить отсюда!

Это я и сама хорошо понимала. И потому быстренько оделась.

Конечно, наилучшим вариантом было сразу же смотаться, но маме вдруг стало жаль непроданных изделий. И мы вернулись к своему столу, и подобрали с земли все разбросанное. Деньги, что швырнул нам тот парень, мы тоже подобрали.

И тут я увидела жандармов. Их было двое, и они неторопливо шли в нашу сторону.

Когда они подошли совсем близко, мама почтительно им поклонилась. И я тоже поклонилась, хоть и не так почтительно.

— Пропуск показывай! — сказал один из жандармов скучающим голосом. При этом он даже не взглянул на нас, смотрел куда-то поверх наших голов. А второй и вообще прошел мимо и двинулся себе дальше.

И на пропуск жандарм едва взглянул. Так, мельком, зато внимательно посмотрел на нашу коробку с изделиями.

Я уж подумала, было, что он заставит нас открыть коробку, но тут жандарм перевел взгляд на меня.

— Известно тебе, что занятие проституцией уродкам строго запрещено?! — спросил он, вроде и безразлично, но с какой-то скрытой угрозой в голосе. — Особенно за пределами резервации!

Я так и похолодела. Конечно же, я знала об этом запрете. И все уродки знали. Но занимались, ежедневно рискуя и хоть как-то зарабатывая этим себе на жизнь.

— А знаешь, что тебе за это грозит? — уже с явной угрозой в голосе поинтересовался жандарм.

Я знала и это. И мама знала. И обе мы отлично понимали, что оправдаться нам никак не удастся, потому, что тот, кто все доложил жандарму, конечно же, не стал описывать, как маму ударили по лицу, и как я вырывалась и кричала...

Но жандарм почему-то медлил, и мама, наконец-таки, поняла истинную причину этой его медлительности. И, выхватив из кармана деньги, подобранные на земле, тотчас же ловко сунула их в руку представителя власти. А тот, не менее ловко сунул их в свой нагрудный карман.

— Ладно, проваливайте! — сказал он почти добродушно. — Или, нет, постойте! Ну-ка, покажите, что тут у вас?

Поставив корзину на землю, мама тотчас же ее раскрыла. А жандарм, нагнувшись, принялся неторопливо осматривать изделия.

Люди покупают изделия мутантов, потому что сами не в силах создать ничего подобного. Их руки не такие гибкие и ловкие, как наши, да и количество пальцев на руках у людей куда меньше.

— Ну что ж, — пропыхтел жандарм, вновь выпрямляясь. — Чтобы вам не тащить все это обратно, покупаю все! Вместе с корзиной.

И он взял нашу корзину. А в ответ сунул нам наши же деньги. Те самые, что мама отдала ему чуть раньше.

Это было чудовищно несправедливо, но мама крепко сжав мою руку, как бы приказала этим: «молчи!» И я смолчала, и даже поблагодарила жандарма униженным поклоном.

— Все равно, это был удачный день! — сказала мама, когда мы уже подходили к ржавым, густо обнесенным колючей проволокой воротам резервации. Потом она молча возвратила охраннику пропуск вместе

с обязательной монеткой, и мы пошли дальше. И не разговаривали до самого нашего дома.

Но когда я и дома продолжала упорно молчать, мама всерьез забеспокоилась.

— Ну, чего ты?! — спросила она, садясь рядом со мной на топчан и обнимая меня за плечи. — Расстроилась из-за тех пьяных придурков? Плюнь и забудь!

— Как же я могу забыть, ма? — сказала я, вставая и подходя к тусклому, треснувшему по краю зеркалу, висевшему на стене. — Ведь они даже отказались насиловать меня, настолько я им была противна!

— Ты расстроилась из-за того, что тебя не изнасиловали? — удивилась (правда, несколько ненатурально) мама. — Ты из-за этого так переживаешь?

— Не надо утрировать, ма! — крикнула я, чувствуя, как подкатывается к горлу какой-то тугой соленый комок. — Ты прекрасно знаешь, о чем я!

— Знаю, — тихо проговорила мама и вздохнула. — Не наша вина в том, что мы... что мы не такие, как все... что мы...

— Что мы уроды, ты хочешь сказать?! — закончила я за нее, внимательно и безжалостно рассматривая в тусклом зеркале собственное свое отражение.

Отражение мутантки, уродки, чудовища!

Эта жуткая шерсть на голове! И сколько ее не сбривай, все равно хорошо заметно, что она тут была, есть и всегда будет!

И эти руки с пятью пальцами на каждой, когда у нормальных людей их всего только три! И эта мягкая кожа без чешуи! И большие глаза с круглыми, а не щелевидными зрачками! И ушные раковины, что так безобразно торчат в стороны!

И эта постоянная и такая ненормально высокая температура тела, из-за которой люди особенно нас презирают!

— Уродка! — прошептала я, прижавшись горячим лбом к прохладной глади стекла и крепко зажмурив глаза, чтобы только не видеть в нем мерзкого своего отражения. — Уродина!





ЯНКА ЛАЙКОВ

Я останусь там, где не будет меня завтра...

Баллада изгнания

Небеса благоволили, как своим,
Нам, изгнанникам, ослабшим от скитаний
По просторам дивным и чужим,
По неведомым дорогам дальним.

И священники встречали, как своих,
Нас, и спать укладывали в храме.
Утром же будил один из них,
Провожал, закрыв врата за нами.

Вновь дорогой, тонущей в веках,
Шли мы, от отчаянья стеная,
С ног усталых отрясая прах,
Головы золою посыпая.

В поднебесье брезжили лучи,
И мы слышали, земные пилигримы,
То молчанье месяца в ночи,
То святые ангельские гимны.

Сквозь туманы звал нас дальний свет,
Как звезды неясное мерцанье.
На богов мы не роптали, нет —
Тех, что обрекли нас на изгнанье...

Новый путь нас, как своих, встречал,
Нас, поблекших лицами и босых.
И надеждой пламенела даль,
И в руке дрожал дорожный посох.

* * *

Виденье светлое и легкое:
В затихшей заводи речной
Плескалась щука одинокая,
И тени зыбились челнов.

А там, где осока высокая,
Столб мошкары в луче гудел,
Там, не тревожа глади омута,
Шел кто-то дивный по воде.

Обросший ряскою и сгорбленный,
В посеребрённой чешуе,
Окутанный прохладой водною,
Свободно шел он по реке.

И вербы плавными изгибами
К нему тянулись. Лился звон.
А мне казалось, будто с рыбами
Так разговаривает он.

И золотились очи добрые,
Меж мокрых тинистых волос,
И осыпались искры теплые
В пространство моих чудных грез.

Вольный птах

И вновь руки — крылья.
Меж небытием и бытием
Витает тревога святая. Более
Не будет постылой боли.
Я — Вольный Птах.

А снизу — земля белая
Лежит. Туманы плывут за
Простор под звездами. Пики молний
Сверкают и падают долу.

Очи померкнут там,
Где не будет меня завтра.
Крылья сгорят там,
Где не будет меня завтра.
Я останусь там,
Где не будет меня завтра.
Я — Вольный Птах.

Слову

Сквозь года, сквозь века
Я тебя слышу, Слово,
Ты живешь, ты горишь,
Ты основа.

И когда в сердце боль,
И тоски наважденье,

Время встречи с тобой —
Наслажденье.

Божий Ангел и Дух
тебя пестят.
Небо — вот твоя доля
И песня.

Верю, светлой порою
Воскреснешь!

Охота

выехали на охоту
три всадника

безжалостное время,
милосердное время,
безразличное время.

Гудит охотничий рог
кони понуро бредут сквозь вечность
Обострен слух —

Точка в небе —
три выстрела.

безжалостное время ранило
милосердное — убило
безразличное пустило пулю
в собственное сердце.

на пустынной земле
истекает кровью
мертвая память.

Перевод с белорусского Марины ПОМОЗ.





ОЛЕГ БУРКИН

Хуже войны

Повесть

Памяти моего боевого товарища по Афгану — подполковника Сергея Белогурова, погибшего во время миротворческой операции в Боснии в 2000 году.

«Есть вещи и хуже войны. Трусость хуже.
Предательство хуже...»

Эрнест Хемингуэй

1

Горы были продолжением этого города, приземистые глиняные домишки которого, не найдя места внизу, на равнине, забирались по крутым склонам и лепились там, налезая друг на друга, словно толпящиеся в тесноте люди. Горы год за годом уступали свои каменистые бока пуштунам и таджикам, чараймакам и хазарейцам, которые строили новые дома так, что их крохотные дворики оказывались на плоских крышах старых. Но до вершин, где даже в конце весны дотаивали в расщелинах языки слежавшегося снега, городу предстояло карабкаться и карабкаться.

Вершины взирали на людей и возведенные ими строения с гордым превосходством: горам было известно, чей век длиннее.

До войны сюда часто заезжали туристы. Им было на что посмотреть: и на высокие каменные столбы, врытые в землю еще Искандером Двурогим, который расставлял их по необъятным границам своих владений; и на высеченную в скале статую Будды, изрядно попорченную временем, — память о нашествии Великих Моголов, которых тоже изгнали с этой земли. Был памятник и поновее — полуразрушенная крепость с тремя зубчатыми башнями, возведенная британским экспедиционным корпусом и брошенная англичанами после множества тщетных попыток стать хозяевами этой страны.

...Горы были продолжением этого города, говорящего на многих языках. Но однажды на устах его жителей зазвучало новое слово — «шурави», — а через перевал Джабаль-таш ранним утром перевалила, грохоча железом и ревя моторами, колонна мотострелкового полка Ограниченного контингента советских войск.

С той поры минуло уже семь лет...

2

Полк возвращался с «боевых».

Работавшая в штабе машинистка Эллочка прискакала после обеда в женский «модуль», и, узнав эту новость, он мгновенно пробудился после двухне-

дельной спячки. На обеих половинах хлопали двери, впуская и выпуская до неприличия возбужденных жилиц; мигом образовалась очередь в душевую, а также еще одна — к единственной полковой парикмахерше, рябой Виолетте.

В ее комнате, которая была одновременно и спальней, и парикмахерской, уже толклось с полдюжины женщин. Грузная, пышногрудая Виолетта, бабий век которой был давно и безвозвратно прожит, держала в зубах дымящуюся сигарету и усаживала в кресло перед большим овальным зеркалом первую клиентку — самую красивую женщину в полку, Эллочку, с роскошной гривой длинных каштановых волос.

Дверь комнаты распахнулась, и на пороге появилась еще одна клиентка — официантка офицерской столовой Наталья.

Наталья заискивающе улыбнулась:

— Виолетточка, так я через час подойду?

Виолетта снисходительно кивнула:

— Ладно. Но сегодня стригу без скидки.

Наталья понимающе махнула рукой:

— Само собой. Только ты уж постарайся. Чтобы моему понравилось, ладно?

Она исчезла за дверью, прикрыв ее за собой.

Виолетта окинула многозначительным взглядом женщин, столпившихся в комнате, и криво усмехнулась:

— Зачем ей стрижка? Знаю я ее хахаля-артиллериста. Не успеет приехать — так зенки зальет, что и не разберет, есть у нее волосы на голове или нет!

Женщины заржали так громко, что на окнах задрожали занавески...

А еще в одной комнате барака, словно не слыша поднявшейся суеты, стояла на коленях перед приколотой к стене бумажной иконкой Богоматери и беззвучно, одними губами, читала молитву похожая на испуганную школьницу худенькая голубоглазая Аннушка...

3

В восьмом часу утра, ежеминутно зевая, не выспавшийся и лохматый начальник строевой части — черноволосый крепыш старший лейтенант Чепига — сидел в своем кабинете и перебирал бумаги.

Дверь с треском распахнулась, и в кабинет вошел капитан Корытов. Следом за ним боязливо переступил порог тощий и сутулый начпрод полка лейтенант Маничев, который был выше Корытова на целую голову.

Корытов стянул с лысой головы кепку, отер ею с красного морщинистого лба капельки пота, облокотился о деревянную стойку, делившую комнату пополам, и рявкнул:

— Полюбуйся на этого дурня, Витек! — Он замахнулся на Маничева локтем.

— У, лейтенант зеленый! Заставил старого капитана тащиться в комендатуру ни свет ни заря.

Чепига вытаращил глаза:

— Как же вы его вызволили с «губы», Евгений Иванович?

— Как, как... Наврал коменданту, что заменяю начальника штаба. В грудь себя бил...

Корытов обернулся к лейтенанту:

— Давай рассказывай, как залетел.

Пунцовощекий Маничев виновато переминался с ноги на ногу.

— Бачонок меня сдал. Там, в городе, этих пацанов... Отцы в лавках сидят, а они покупателей зазывают. Вот и ко мне один прицепился.

Чепига привстал:

— А ты?

— Послал его подальше. А пока в один дукан заглянул, в другой, этот гаденыш сбегал за нашим патрулем. В общем, выхожу я из дукана, а меня цап-царап. Всю ночь просидел на «губе»...

Чепига покрутил пальцем у виска.

— Ты что, не знал, что на этой неделе начальник гарнизона запретил выезжать в город за покупками?

— Знал.

— Ты уж до конца все рассказывай, — хлопнул капитан по стойке ладонью. — Как тебя на гауптвахте обшмонали, что нашли... Давай!

Маничев покраснел еще больше.

— Купил я себе брелок в виде земного шарика... — На котором пол-Сахалина не красным, а желтым японским цветом зарисовано, — закончил за лейтенанта Корытов.

Глаза Чепиги жестко сузились.

— Знаешь, что за такие покупки бывает?

— Во-во, — подхватил Корытов. — Комендант как брелок увидел, так и взбеленился. Хотел сдавать Сашеньку в особый отдел. Еле отговорил.

— Кланяйся Евгению Ивановичу в ножки, Маничев, — облегченно вздохнул Чепига.

— Ну, в ножки — это ни к чему, а вот пару «пузырей» с тебя, парень, причитается! — капитан хохотнул. — Да расслабься. Когда звонили из комендатуры, в штабе никого, кроме Витьки, не было. Больше ни одна живая душа не знает.

Он подмигнул Чепиге:

— Много работы, Витек?

— Полчаса назад из центра боевого управления сообщили... У Джабаль-ус-Сараджа погибли четверо. Сержант и три солдата.

— Как?

— Прямое попадание в бэтээр из гранатомета.

— Эх, ребятишки... — Корытов медленно стянул с головы кепку. — За все «боевые» ни одной потери, а тут, в последний день... То-то, я смотрю, ты бумагами обложился. Похоронки пишешь?

— И похоронки, и письма. Раньше не требовали, а теперь надо, чтоб обязательно письма были родителям, от командования.

— Ясно... — понимающе протянул капитан. — Ну, и когда ждать полк, Вить?

Чепига улыбнулся:

— Колонна уже перешла перевал, через час будет здесь.

Корытов нахлобучил кепку на голову:

— Тогда пора на КПП! Встречать Фоменко!

Когда в коридоре стихли его шаги, Маничев осторожно присел на краешек стола.

— Каждый раз Рокфеллер встречает Фому. — Чепига рассеянно пожал плечами.

— Друзья...

— Два сапога пара. Оба холостяки. И тому, и другому под сорок. И оба — «пятнадцатилетние» капитаны. Пятнадцать лет в одном звании!

— А ну, спрыгни со стола, — сквозь зубы процедил Чепига.

Маничев встал и, надув губы, отошел в сторону.

— Ты чего?

— Рокфеллер тебя с «губы» вытащил, а ты...

— Да я против Рокфеллера ничего не имею, он классный мужик, — заговорил лейтенант извиняющимся голосом. — Но ведь сам виноват, что на пенсию так и уйдет капитаном.

— Думаешь, Корытов от этого страдает? Хоть генералом его сделай, хоть в рядовые разжалуй — для Рокфеллера это не главное.

— Что же для него главное?

— Чтоб такие, как ты, не переводились!

Начальник строевой части зевнул.

— Ну все, вали отсюда. У меня дел по горло.

— Валю-валю. Разрешите идти?

Маничев, ерничая, щелкнул каблуками и исчез за дверью.

4

Утро было прохладным, и Корытов пожалел, что не надел бушлат.

Он прохаживался вдоль ворот КПП, время от времени останавливаясь и прислушиваясь к гулу, который доносился издалека.

В полку все звали его за глаза Рокфеллером. Столь громкое прозвище Корытов, у которого редко водились лишние деньги, получил потому, что занимал должность начальника финансовой службы и уже давно привык смотреть на пачки купюр любого достоинства, как школьный учитель — на стопки ученических тетрадок.

Никогда не выезжая на боевые, Корытов, на чем свет стоит клял командира полка полковника Тодорова, который строго-настрого запретил брать его на войну, и мучительно переживал свое вынужденное сидение в штабе. Дабы его не называли тыловой крысой и видели, что жизнь начфина тоже может подвергаться опасности, он ежедневно носил на боку пистолет Стечкина в огромной деревянной кобуре.

Но посмеивались над Рокфеллером не только из-за нелепого оружия, с которым он, как говорили, не расставался, даже ложась в постель.

Во всем полку невозможно было найти человека, видевшего капитана трезвым.

Начинал Корытов пить с самого утра. Кое-как выстояв с больной головой на построении офицеров управления, он, семеня короткими ножками, забегал в штаб, запирал изнутри дверь своего кабинета и открывал несгораемый сейф, в котором всегда хранилась бутылка спирта. Выпивая полстакана, начфин излечивался и приступал к выполнению служебных обязанностей. Он быстро расправлялся с финансовой отчетностью, а когда машинистка Эллочка, по обыкновению с утра заглянув к нему в кабинет, хихикала: «Опять от вас благородные запахи, Евгений Иванович», — грустно улыбался, показывая желтые, прокуренные зубы, и вздыхал:

— Понимаешь, пока не тяпну, цифры перед глазами разбегаются.

К обеду Евгения Ивановича порядком развозило, но, найдя в себе силы, он брел в офицерскую столовую, ел и отправлялся в модуль отсыпаться. За обеденный перерыв начфин малость приходил в себя и снова шел в штаб, где исправно корпел над бумагами и принимал посетителей. Но когда, наконец, заканчивался рабочий день...

Утренние запасы спирта подходили к концу, и капитан шел на поклон к начальнику службы горюче-смазочных материалов, который жил в комнате напротив. Как он уламывал славившегося своей скупостью капитана Давыдова, оставалось загадкой, но спирт неизменно появлялся, и через пару часов Корытов успевал накачаться так, что начинал буянить.

При этом он не имел привычки лезть в драку или крушить мебель.

Рокфеллер любил орать.

Сперва он занимал позицию в давно облюбованном месте для публичных выступлений — умывальнике, — и, надрывая глотку, вопил:

— Да я один любой духовский караван р-р-разгоню!

Затем Евгений Иванович выходил в коридор, где и начиналась главная часть представления.

Покачиваясь, Рокфеллер добирался до комнаты, где жил секретарь парткома полка подполковник Поташов, останавливался у двери и проникновенно вопрошал:

— Люди! Хотите, я скажу вам, кто самый ...уевый подполковник в сороковой армии?!

Не получая ответа, Корытов икал, сокрушенно качал головой и грустно вздыхал.

— Не хотите и ладно...

Но тут же вновь вскидывал голову.

— А я все равно скажу, скажу!

Унимать буянившего Евгения Ивановича никто не пытался. Знали, что Рокфеллер не вышел ростом, но подбрасывал и ловил на лету двухпудовую гирю. Знали и то, что, наоравшись вволю, Корытов рано или поздно уймется.

Тем более к тому, что он кричал под дверью Поташова, многие искренне присоединили бы и свои голоса.

Ко всеобщему удивлению, ни разу не отплатил Корытову за наносимые почти ежедневно оскорбления и сам Поташов.

Не удивлялся только Рокфеллер, зная, почему до сих пор избежал вызова на партком и не лишился партийного билета.

Секретарь боялся его, запойного капитана, считавшего уже месяцы до пенсии.

Дотошно вникая в исполнительные листы и просматривая все расчетные книжки, Корытов знал то, о чем в полку даже не смели подозревать: Поташов платил алименты матери.

Несколько лет назад, когда подполковник служил еще в Союзе, она подала на единственного сына в суд. Крохотной пенсии одинокой старой женщине не хватало. Мать писала сыну, просила помочь. Тот отмалчивался... Когда в часть, где служил тогда Поташов, пришло решение народного суда, обязавшего его платить алименты, секретарь парткома не лишился своей должности лишь благодаря честолюбию молодого командира, который выводил отсталый полк в передовые и не пожелал предавать дело огласке.

Если бы здесь, в Афганистане, узнали об этой позорной странице в биографии секретаря, в ближайшую отчетно-выборную кампанию его бы с треском «прокатили». Но единственный человек, приоткрывший эту страницу, молчал. Хотя и вовсе не из-за страха лишиться индульгенции Поташова на отпущение всех запойных грехов. Просто бить кого угодно — даже заклятого врага — в слабое место Корытов считал величайшей мерзостью.

В заключение представления, оставив секретаря в покое, Евгений Иванович плелся к комнате старшего лейтенанта Чепиги, и, колотя в дверь ногами, со слезой в голосе просил:

— Витек, поехали на «боевые», родной!

После этого крика души силы окончательно оставляли Корытова. Он, кряхтя, садился прямо на пол и засыпал.

Заслышав под дверью знакомый храп, Чепига выходил в коридор, волоком затаскивал Евгения Ивановича в его комнату и взваливал на кровать.

Наутро Корытова съедал стыд.

Заходя в умывальник, он старался не встречаться взглядами с офицерами модуля и не глядеть на писсуар, в который блевал намедни. Офицерское же сообщество по традиции делало вид, что ничего не произошло. Подобные дебоши были здесь на счету почти у каждого и великодушно прощались всем.

Тем более — Рокфеллеру.

Не помня дня, чтобы начфин не напился, в полку не помнили и случая, чтобы Корытов дурно обошелся с кем-то по своей службе или не выполнил чьей-то просьбы. Выдать командировочные, отпускные, отправить перевод — все это он делал быстро и без лишних уговоров. Привезти что-нибудь из города, куда Рокфеллер выезжал чаще других, или передать привет девочкам из гарнизонного госпиталя — и в этом на него можно было положиться. Правда, по любому вопросу к начфину следовало обращаться с утра.

Особенно много пил Корытов, скучая по Фоменко, для встречи с которым бережно хранил в тумбочке своей комнаты две заранее купленные бутылки водки, даже не помышляя притронуться к ним, ни-ни-ни...

5

Город отдыхал от вездесущей пыли, которая улеглась лишь с наступлением темноты, но утром была готова снова слепить глаза, перекрашивать волосы, забираться под одежду и висеть над домами, как вечный туман.

В низеньком саманном доме скрипнула дверь, и на пороге появился одноногий старик в куцей хазарейской шапочке. Поудобнее приладив под мышками костыли, он двинулся к дороге — туда, где торчал у обочины вросший в землю камень. Добравшись до валуна, хазареец опустился на него, подложив под тощий зад костыли, и замер.

Взамен сладких минут забытья бессонница дарила ему чистый утренний воздух и пугливую тишину. Когда живешь у дороги, которую не обходит стороной война, можно сойти с ума, проснувшись в такой час: то ли пропало все живое на земле, то ли аллах сделал тебя глухим...

Выходя на рассвете к дороге, усаживаясь на валун и щупая слабыми пальцами влажный от росы камень, калека не верил, что земля бывает такой: без лязга и грохота, без выстрелов и криков.

Наверное, однажды хазареец сошел бы с ума, продлись эта тишина чуть дольше.

Но земля принадлежала не одному ему.

Старик вздрогнул, услышав тяжелый неровный гул, родившийся у перевала Джабаль-таш.

В это весеннее утро война снова хотела пройти мимо его дома.

Уже шестую неделю хазареец мечтал повидаться со старшим сыном: Асад ушел в горы, стал борцом за веру... На днях отец получил от него весточку. Водонос с соседней улицы передал хазарейцу подарок от Асада — почти новый китайский будильник и две тысячи афганей. А, прощаясь, шепнул на ухо:

— Асад скоро навестит.

6

Не доезжая до КПП, бэтээр ротного притормозил. Бросив водителю: «В парк», — Фоменко соскочил на землю. Медленно передвигая затекшие ноги, он шел навстречу Корытову.

Фоменко, как и Корытов, не вышел ростом. Но в каждом его движении чувствовалась не только недюжинная сила, но и была видна великолепная выправка.

Корытов, махая в воздухе кепкой, бежал вдоль колонны и кричал:

— Валера, я здесь!

Они обнялись. Хлопая друга по спине маленькими ладошками, Корытов от радости зажмурился.

— Как я тебя ждал!

— Долги надо платить, — улыбнулся ротный.

Рокфеллер открыл глаза:

— Какие долги?

— Тебе еще долго расплачиваться. Забыл, как в прошлом месяце я тебя ждал, почти сутки? Когда ты выпросил у меня бэтээр, чтобы смотаться в госпиталь к своей медсестричке? Обещал вернуться через пару часов, а прикатил только на другой день. Меня чуть кондрашка тогда не хватила — думал, кувыркнулись в кювет...

Он похлопал Корытова по плечу:

— Ты хоть как себя вел без меня?

Корытов виновато вздохнул:

— Как всегда.

— Снова бегал по модулю в одних трусах и кричал, что разгонишь духовский караван? И до комнаты Поташова добрался?

— А как же.

— Женя, Женя... Ну, как тебя оставлять одного? — Фоменко покосился на огромную кобуру Рокфеллера.

— Все страдаешь?

— Какой же я, к черту, офицер, если на войне, а не воюю? Мужикам в глаза смотреть стыдно.

— Сиди, деньги считай, — пробурчал Фоменко, широко отмеряя шаги.

Рокфеллер едва поспевал за другом.

— Был бы Тодоров человеком, хоть разок бы пустил с тобой на войну.

— Правильно делает, что не пускает. Без тебя есть, кому башку под пули совать.

— Слушай, Валер, а может, и тебе хватит это...

— Чего?

— Чепига скоро улетит в Союз без замены. А ты — на хорошем счету. Только заикнись командиру. Досидишь свой срок начальником

строевой части. Должность такая же, как у тебя — капитанская, зато самое страшное, что на ней грозит — это геморрой.

Фоменко поморщился:

— Не капитанскую мне надо... Скажи лучше, что там слышно про третий батальон. Кого ставят начальником штаба?

— Пока не решили.

— А у меня, Женя, шанс есть? Как думаешь?

Корытов пожал плечами:

— Как у всех. Четверо ротных ждут повышения.

— Понятно, — помрачнел Фоменко.

7

У двери комнаты Корытова оба долго вытирали ноги о полинявший лоскут шинели, служивший половиком.

— С возвращением! — сказал Корытов, переступая порог.

Фоменко шагнул следом и ласково произнес:

— Умеешь встречать, стервец.

В центре застеленного чистыми газетами стола Рокфеллер соорудил скульптуру: на уложенных в ряд банках тушенки, как на гусеницах, возвышалась башней буханка ржаного хлеба с торчащим из нее стволом — бутылкой «Столичной».

— И как твой шедевр называется? — кивнул на скульптуру Фоменко.

— Пьяный танк в предгорьях Гиндукуша, — объявил Корытов, плюхаясь на табурет. — Сейчас мы ему пушку обломаем!

— Водка-то хоть не «паленая»?

— Обижаешь, — развел руками Корытов. — Для тебя берег. Знал, что приедешь живой, здоровый. Ты же везучий.

Неожиданно помрачнев, Фоменко вскинул голову:

— Это я-то?

Корытов недоуменно посмотрел на него:

— А разве нет?

— Какой я, к чертовой матери, везучий, — махнул рукой ротный. Он прошелся из угла в угол комнаты, вернулся к столу и сел. — Сколько я уже жду, Женя, когда мне повезет, — сказал Фоменко.

Рокфеллер удивленно вскинул брови:

— Раньше ты не жаловался на жизнь.

— Эх, Женя, Женя... Я ведь уже на первом курсе училища получал ворошиловскую стипендию... Я был лучшим на своем курсе!

— Ты и сейчас самый лучший ротный во всей сороковой армии, — Рокфеллер рубанул ладонью воздух. — И самый лучший мужик в этом драном полку.

— Жаль, что не с самой лучшей судьбой, — усмехнулся Фоменко и положил на плечо Рокфеллера руку. — Я ведь тебе никогда не рассказывал... Как она со мной обошлась. И почему я до сих пор только капитан.

— Так расскажи.

Фоменко снова встал, подошел к окну и, опершись о подоконник руками, вздохнул:

— Принял я после выпуска из училища танковый взвод. Взвод был как взвод, а через год стал лучшим в полку. Я ночей не спал, а если спал, то в казарме. Не жалел ни себя, ни других... И еще через год получил роту.

Недолго вот только ею командовал. В шестьдесят восьмом ввели нашу дивизию в Чехословакию. Ты помнишь — мы тогда подавляли контрреволюцию...

В грустных глазах Фоменко словно ожило воспоминание.

8

На улицах чешской деревушки не было ни души.

Передний танк остановился на ее окраине. Следом за ним замерли остальные машины танковой колонны.

Из башенного люка переднего танка показалась голова старшего лейтенанта Фоменко.

Высунувшись по пояс, он увидел бревенчатый хлев у обочины дороги. На неровной стене хлева белели крупные буквы. Написано было без ошибок: «Небо, проснись! Русские сошли с ума!»

Из люка механика-водителя вылез сержант Бочкин. Шевеля губами, он тоже прочитал надпись на стене. Сержант повернул голову к ротному.

— Товарищ старший лейтенант, я этот хлев мигом снесу. Только прикажите...

Фоменко поморщился, как от зубной боли.

— Бочкин, ты хоть и не деревенский, но должен знать, что такое хлев для крестьянина.

Бочкин шмыгнул носом:

— Чего тут не знать.

— А по-русски чешские крестьяне писать, да еще без ошибок, умеют, а? — спросил ротный.

Бочкин усмехнулся:

— Это вряд ли.

Фоменко вздохнул:

— Так за что же нам их оставлять без хлева?

— Выходит, не за что, — развел руками Бочкин. — Вот если бы нам попалась та контра, которая это намалевала...

— То-то и оно.

Фоменко поправил шлемофон и, махнув рукой, скомандовал:

— Продолжать движение!

Колонна снова тронулась с места...

...Танки стояли на площади небольшого городка. Фоменко дремал на броне, подставив лицо ласковому вечернему солнцу. Заслышав чьи-то приближающиеся шаги, Фоменко открыл глаза и увидел, что к его машине подходит командир батальона — рыжий, сутулый майор Мезенцев, и тут же соскочил на землю, вытянулся в струнку и козырнул.

— Товарищ майор...

Мезенцев махнул рукой.

— Вольно.

Буравя ротного глазами, комбат процедил сквозь зубы:

— Тебя в политотдел дивизии вызывают. Догадываешься, зачем?

Фоменко виновато опустил голову и обреченно вздохнул:

— Догадываюсь...

Штаб дивизии располагался в старом двухэтажном здании школы.

Кабинет начальника политотдела Фоменко искал недолго. Но стоял он у массивной дубовой двери, чеша в затылке, минуты две. Наконец, решившись, постучал в дверь.

— Разрешите? — несмело произнес Фоменко, замерев у порога.

В глубине кабинета, за черным письменным столом, над которым уже успели повесить портрет вождя мирового пролетариата, сидел грузный, начинающий лысеть полковник Олярин. Оторвавшись от бумаг, он посмотрел на стоящего у порога ротного в упор и побагровел. Не пригласив Фоменко ни пройти, ни сесть, полковник с нескрываемой угрозой произнес:

— Ты что наделал... твою мать? Решил стать пособником врага? Бдительность потерял?

Олярин сжал руки в кулаки и сорвался на крик:

— Да этот гребаный хлев надо было сровнять с землей! Гусеницами проутюжить!

Начальник политотдела вскочил и ударил кулаком по столу так, что висящий над ним портрет задрожал и едва не сорвался со стены.

— Пойдешь под трибунал!

9

В комнате Корытова висела тишина. Фоменко сидел, тупо уставившись под ноги.

Корытов прервал затянувшееся молчание первым:

— Так чем все тогда закончилось, Валер?

— Чем? — Фоменко расправил плечи. — Под трибунал, конечно, не отдали. Посчитали, что врагу я содействовал не умышленно, а по глупости. Но с роты решили снять. И стал я снова командиром взвода...

Он повернулся к Корытову лицом:

— После Чехословакии попал я в Ленинградский военный округ, в Карелию... Там через три года снова получил роту. И сделал ее лучшей не только в полку — во всей дивизии. В соседнем батальоне освободилась должность начальника штаба, и никого на это место не прочили, кроме меня...

10

Над гарнизоном, затерянным в лесу, опустилась ночь.

В спящей казарме на соседних койках первого яруса лежали два «деда» — Поздняк и Харитонов. Поздняк поднял голову и, наморщив узкий лоб, посмотрел на соседа.

— Не спишь?

— Не-а, — ответил Харитонов, смуглый, крючконосый, со сросшимися у переносицы бровями.

Поздняк подложил под голову локоть.

— И мне неохота.

Харитонов приподнялся на кровати.

— Слышь, может, пойдем, поучим уму-разуму молодого?

— Какого?

— Ну, того... У которого я сегодня в подушке «бабки» нашел. Тюрина. Он сейчас туалет моет.

Два «деда» вошли в туалет в одних трусах.

Дневальный по роте рядовой Тюрин мыл шваброй пол. У щуплого солдата была наголо обритая голова и серое, измученное лицо. Хэбэ висело на Тюрине мешком.

Поздняк и Харитонов приблизились к дневальному. Тюрин перестал мыть пол, поднял голову и тревожно уставился на «дедов».

Харитонов подошел к Тюрину вплотную и сердито сдвинул брови:

— Я тебе говорил, падла, все деньги мне отдавать?

— Так я же отдал, — пролепетал Тюрин, вращая испуганными глазами.

— А это что? — Харитонов потряс перед носом дневального парой мятых рублевых бумажек. — В наволочку спрятал, да? Думал, я не найду?

Харитонов ударил солдата кулаком в живот.

Ойкнув, Тюрин согнулся пополам и упал на пол.

Дверь туалета открылась, и на его пороге вырос капитан Фоменко.

Он увидел, как склонившийся над дневальным Харитонов замахнулся рукой для очередного удара, подскочил к «деду» сзади и перехватил его руку своей могучей кистью. Харитонов оглянулся и, встретившись взглядом с командиром роты, побледнел от страха.

Капитан тут же нанес ему резкий и мощный удар в челюсть.

Опустив голову и виновато переминаясь с ноги на ногу, Фоменко стоял напротив стола, за которым сидел командир полка, подполковник Сомов.

— Говорят, у тебя, Валера, хороший удар правой, да? — мрачно произнес подполковник.

Фоменко молча развел руками.

— Теперь об этом знает и прокурор гарнизона, — командир полка тяжело вздохнул. — Отец этого «деда»... Харитонова... который загремел в госпиталь... оказался серьезным человеком. Он хочет крови...

Сомов вскинул голову и посмотрел на Фоменко в упор:

— Выбор у тебя не богатый. Или ты пишешь новую объяснительную, где указываешь, что Харитонову сломал челюсть Тюрин, или...

11

Фоменко посмотрел куда-то мимо Корытова и невесело вздохнул.

И стал я в свои тридцать два года снова взводным. Словно только из училища. Ох, и запил я, помню... По-черному. Это тогда от меня ушла жена...

— Да, я бы тоже запил...

— Я уже и рапорт собирался писать. Увольняться из армии к чертовой матери. И вдруг... — Фоменко усмехнулся, — к нам в полк назначили нового командира. Знаешь, кого? Моего однокурсника, Ремизова! Которого едва не отчислили из училища по неуспеваемости...

Корытов усмехнулся:

— Небось, однокурсничек твой после выпуска удачно женился? На какой-нибудь генеральской дочке?

— Точно. Только мне от этого было не легче... Он был подполковником и командовал полком. А я командовал в этом полку взводом. И тогда я решил не сдаваться. Карьеру уже невозможно было спасти: все кадровики давно поставили на невезучем капитане крест. Но я поклялся доказать — себе, другим, всему свету! — что заслуживаю большего. Мало кто поймет, как вообще можно мечтать о таком... Скажи, тебе все равно, сколько звездочек на твоих погонах?

— Плевать я хотел на погоны!

— А я нет, Женя. И меня бы понял любой, такой же, как я, отдавший армии не год, не два, а полжизни. Который ждал, когда удача улыбнется ему, а она... Она вместо этого брезгливо кривила рот...

Фоменко покачал головой.

— Меня понял бы такой же, как я, капитан, на которого даже люди в штатском глядят с насмешкой и думают: «Пьянь какая или дурак, если не заслужил большего в свои годы». Мне даже сыну в глаза смотреть стыдно, когда приезжаю к нему в отпуск...

Фоменко рубанул ладонью воздух.

— Ненавижу я эти свои четыре звездочки, Женя! А поэтому... Я поклялся, что получу майора. Хотя бы майора.

— Вот те на, — Рокфеллер грустно заморгал, — я-то думал, два старых мерина плетутся в одной упряжке. Тянут свою опостылевшую телегу, заботясь только о том, как бы почаще забывать о ее существовании. Я-то думал, что одному легко делать это, пьянея от водки, а другому — от войны... Значит, все не так. Ты еще хочешь поскакать галопом?

— Я поклялся, Женя.

— На роте ты майора не получишь. А значит, тебе позарез надо стать начальником штаба третьего батальона... Давай выпьем за твою удачу.

Фоменко посмотрел на наручные часы и поднялся.

— Оставь на вечер. А я схожу в роту, посмотрю, что там, как... А ты поспи. Сегодня тебя в штабе никто не хватится.

12

Маленькая комната с железной солдатской кроватью и убогим казенным столом казалась бы безнадежно унылой, если бы на столе не было стеклянной вазы с засохшим букетиком сирени, на окнах — пестрых занавесок с огромными бутонами невиданных цветов, а на кровати — яркого, желтого с голубым, покрывала.

Стояла на столе и раскаленная докрасна электроплитка, над которой склонилась, помешивая что-то в кастрюле, официантка Аннушка.

В дверь постучали.

Аннушка уронила ложку в кастрюлю и замерла.

Постучали еще раз, сильнее.

Официантка робко сделала шаг, другой... Непослушными пальцами она повернула ключ. Открыв, Аннушка отступила назад и, радостно вскрикнув, обессиленно опустила руки.

— Ты!

На пороге стоял Фоменко.

Аннушка прильнула к нему, обняв капитана за плечи.

— Я уже больше не могла ждать, поверишь, — сказала она, положив свою маленькую русую голову ему на грудь. Фоменко погладил ее по теплым золотистым волосам.

— Ты ждала меня с «боевых» первый раз.

— Ты тоже пришел ко мне в ночь перед отъездом впервые...

Фоменко настороженно зашевелил носом:

— Здесь что, железо плавят?

Аннушка охнула и метнулась к плитке. Сорвав кастрюлю, она, обжегшись, не удержала ее и уронила на пол, схватила стоявший поблизости чайник и стала поливать посудину водой. Кастрюля зашипела.

Фоменко подошел к Аннушке, отнял чайник, сел на краешек кровати и усадил ее рядом. Взяв руки Аннушки в свои, он подул на ее обожженные пальцы.

— Больно?

— Не-а, — Аннушка тихонько засмеялась. — Хорошо еще, что в кастрюле ничего не было, кроме воды. Я и не собиралась ничего варить. Просто налила воды и мешала, мешала... Надо было что-то делать, куда-нибудь деть себя. Я даже не заметила, как выкипела вода.

Фоменко крепко сжал ее руки.

— Боялась, что меня не окажется среди тех, кто вернется?

Аннушка помотала головой.

— Если бы с тобой что-то случилось, я бы уже знала. Я боялась другого. Когда ты пришел ко мне ночью, перед отъездом, я еще не понимала, кто тебе нужен — я или просто... Просто любая — как любому мужику. Я боялась, что буду нужна тебе только на ночь, другую...

— Мне не нужна любая.

— Теперь я знаю. А когда ждала... Мешала в кастрюле воду и загадала: если явишься, как в первый раз, ночью, значит придешь, как пришел бы к любой. А если прилетишь сразу — потный, пыльный — но сразу ко мне, значит...

— Но я же прилетел! — капитан взмахнул руками, как большая птица.

Аннушка еще теснее прижалась к нему.

— Как хорошо, когда ты рядом. — Жаль, что ненадолго.

— Почему?

— Завтра снова на войну. В Панджшер. Дней на десять... — начал было Фоменко, но, заметив, как влажно заблестели ее глаза, спохватился и бодро добавил. — Зато вернемся — месяц будем гулять!

Слезы уже катились по ее посеревшим щекам.

— Если с тобой что-нибудь случится...

— Ну что может со мной случиться? Разве я дам хоть одной глупой пуле продырявить себя? — капитан наклонил голову. — Посмотри на мои седые волосы. Я же старый и мудрый. Ну? Посмотри!

Аннушка коснулась его головы рукой.

— Ты сейчас никуда не уйдешь?

— Полчаса у нас есть.

— Всего?

— И целая ночь впереди...

13

Стайка афганских мальчишек играла в футбол прямо на пыльной, ухабистой дороге рядом с проволочными заграждениями советского полка, проходившими вдоль бетонной стены, из-за которой выглядывала вышка с часовым.

Часовой с автоматом в руках — совсем молодой солдат в бронежилете и каске — во все глаза наблюдал, как пацаны, громко и возбужденно крича, перебрасывали ногами старый, латанный-перелатанный мяч. На губах часового играла ностальгическая улыбка...

Один из ребят слишком сильно ударил по мячу, и он полетел за проволоку — прямо к бетонному забору.

Стайка пацанов тут же метнулась к проволоке.

Часовой насторожился.

Двое мальчишек быстро отогнули ряды «колючки» палками в разные стороны, а третий полез в образовавшуюся щель.

Лицо солдата испуганно вытянулось. Он подался всем корпусом вперед, едва не свесившись через бортик вышки.

— Куда ты лезешь?! Буру, бачча, буру![1]

Но афганский мальчишка словно не слышал его. Оказавшись за ограждением, он бросился к мячу.

Взрыв противопехотной мины подбросил мальчишку в воздух.

Упав на землю, он пронзительно закричал.

Из его разорванной штанины торчал кровавый обрубок...

14

Прапорщик Венславович проснулся, когда в дверь колотили уже ногами.

Откинув одеяло, начальник продовольственного склада сел на кровати и помотал головой. В третьем часу ночи ушел от Эллочки. А сколько выпили, сколько выпили...

— Щас открою, — недовольно буркнул он, натягивая брюки.

— Шевелись, кусяра! — раздался за дверью разъяренный голос, узнав который, Венславович, так и не успев застегнуть ширинку, метнулся к двери.

Подполковник Поташов шагнул через порог прямо на начальника склада и, если бы Венславович не шарахнулся в сторону, сбил бы прапорщика с ног.

— Десятый час, а ты вылеживаешь?!

Прапорщик торопливо застегивал брюки.

— Так я продукты в столовые еще вчера выдал.

— При чем тут столовые, — гремел гневный голос Поташова. — Шевелись, дело срочное.

— Комиссия что ли нагрянула? Так мы им мигом стол сообразим...

— Какая комиссия? — Поташов застонал. — Пацаненок афганский на нашей мине подорвался, у автопарка. Ногу оторвало... Но, вроде, живой.

— А я... Я тут причем? — Венславович глупо уставился на Поташова.

— Откупаться от родни надо. У тебя муки много?

— Есть.

— Дашь мешок... Нет, лучше два. Пшеничной. А сахар?

— Тоже есть.

— Килограммов тридцать надо.

— А у них ж...а не склеится? — осмелел от жадности Венславович. — И чего мы вообще должны откупаться? Зачем?

Поташов со злостью плюнул на пол.

— Там, у нашего забора, где подорвался этот сученок, табличка должна была стоять — «Заминировано».

— А ее что, не было?

Поташов вздохнул:

— В том-то и дело... Раньше стояла. А потом пропала. Может, афганец какой спер на растопку...

Подполковник раздраженно махнул рукой.

— Давно уже надо было другую поставить. Все руки не доходили...

Венславович поморщился:

— Да... Раз таблички не было — плохо дело. Если родители пацаненка поднимут шум...

[1] Отойди, пацан, отойди! (дари).

— То-то и оно, — протянул Поташов. — Если дойдет до комдива — все получат пи...юлей: начиная от командира полка и кончая...

Он снова со злостью махнул рукой.

— Короче, командир сказал замять это дело. И поскорее... Тушенки еще дашь. Ящика четыре.

15

От Венславовича Поташов потащился обратно в штаб.

Последнюю неделю неприятности валились на секретаря парткома одна за другой.

Сначала ему натурально плюнули в лицо. Пару дней назад «уазик», на котором он выехал в город за покупками, притормозил у оживленного перекрестка. И пожилая афганка без паранджи (видно, образованная — учительница или врач, — раз не блюдет законы шариата) подошла к машине и, не говоря лишнего, через опущенное по случаю жары боковое стекло ловко харкнула, угодив Поташову в нижнюю губу. Точно парализованный, подполковник с полминуты не мог закрыть рот, а когда пришел в себя и, содрогнувшись от омерзения, заорал: «Сука!», — афганки простыл и след.

Вчера проклятый Рокфеллер опять устроил концерт у двери его комнаты.

А сегодня на секретаря «повесили» мальчишку, которого черти понесли на минное поле.

Если бы это было все...

Пока полк был на «боевых», Поташов слетал в Союз и привез из ашхабадской учебки молодое пополнение. И надо же такому случиться: среди ста двадцати нормальных русских, украинских, белорусских, узбекских и прочих хлопцев надежных национальностей в команду затесался рядовой Ойте. Немец. И в придачу — меннонит.

Такой свиньи Поташову еще не подкладывали. И все потому, что в Ашхабаде секретарь принимал команду наспех: на сборы отвели только день.

Узнав лишь вчера, во время беседы с молодым пополнением, всю подноготную рядового Ойте, секретарь мысленно, но от души пожелал замполиту Ашхабадской учебки переболеть брюшным тифом. Потому что тот подлец не мог не знать про немца. Но наверняка — да какое там наверняка, точно! — из-за нехватки людей подсунул в афганскую команду Ойте, чтобы не сорвать план по укомплектованию 40-ой армии личным составом.

В середине 80-ых слабый ручеек советских немцев, потянувшихся обратно на историческую родину, стал превращаться в бурный поток, который уносил их в Западную Германию. И там, по другую сторону уже порядком обветшавшей, но все еще неприступной Берлинской стены должно было оказаться как можно меньше людей, которые могли бы вымести сор из избы... Вот почему Директивой Главного политического управления в Ограниченный контингент советских войск в Афганистане запрещалось направлять не только немцев, но и евреев, греков, а также прочих потенциальных эмигрантов.

Что же касается меннонитов... Хоть и не видел никогда секретарь парткома в армии людей послушнее и честнее, чем верующие-протестанты, ни с кем не было мороки больше, чем с ними. Потому что боль-

шинство баптистов, пятидесятников и меннонитов наотрез отказывались брать в руки оружие.

В лейтенантские годы по молодости и глупости Поташов, бывало, пытался наставить таких солдат на путь, который считал истинным. Пробовал он делать это при помощи доводов, почерпнутых из политиздатовского «Справочника атеиста». Не помогал справочник — звал на подмогу сержанта, умеющего вызывать своим ласковым голосом у молодого солдата дрожь и откровенничать, не оставляя синяков... Лишь однажды Поташову удалось таким образом заставить одного новобранца прицепить к ремню штык-нож, когда тот стоял в наряде по роте. Но случай этот так и остался у подполковника первым и последним. А чтобы меннонит взял в руки автомат да еще стрельнул...

Таких тоже запрещалось направлять в 40-ую армию.

Но Ойте оказался здесь.

Кто допустил? Кто недоглядел? Кто?

Ясное дело — тот, кто принимал молодое пополнение в Ашхабаде.

«Виноватых бьют!» — подобно многим большим и маленьким армейским начальникам любил время от времени бросать в лицо подчиненным секретарь парткома. И что теперь ждет его самого, представлял даже слишком хорошо.

Поташов уже видел и, конечно же, слышал, как, ежесекундно дергая большой головой на тощей багровой шее, отматерит его командир полка. Как, взмокнув от двухчасового ожидания в приемной, он боком протиснется в дверь кабинета начальника политотдела дивизии и, низко склонив голову, замрет у порога. А грузный начпо, высморкавшись в кусок туалетной бумаги (он не признавал носовых платков и всегда держал для своего капризного носа в ящике стола целый рулон), ехидно протянет:

— Бдительность потерял? Ты куда заменяться из Афгана хотел? В Одесский? В Забайкальский военный округ поедешь!

Худо становилось Поташову при одной мысли о таком приговоре, когда вставало перед его глазами одно название этого гиблого округа... ЗабВО — зловещая аббревиатура, которую офицеры не желали расшифровывать иначе, как «Забудь Вернуться Обратно»... Последние пять лет перед пенсией в бурятских или читинских степях? Из-за Ойте?

Если бы он исчез, растворился, как сон, провалился под землю, этот немец-меннонит! Но он существовал. Дышал, ел, спал и бегал в сортир, похожий на маленького верблюжонка: сутулый, губастый и горбоносый, с оттопыренными ушами и растерянными печальными глазами под белесыми ресницами.

Таким запомнил его Поташов, когда, беседуя с молодым пополнением, вдруг с ужасом обнаружил, что перед ним — неразорвавшаяся бомба. И эта бомба грозит разнести вдребезги его мечту о теплом и тихом гарнизоне на юге Украины и зашвырнуть Поташова за Байкал: туда, куда ссылали когда-то декабристов.

Подполковник помнил, что радиотелефонист третьего класса рядовой Ойте назначен в роту Фоменко.

16

В ротной канцелярии Фоменко неожиданно застал замполита. Старший лейтенант Заболотный дремал за столом, подложив под голову руки. Услышав, как вошел командир, он зашевелился и медленно поднял голову.

— Ты здесь? — удивился ротный. — Я же отпустил тебя отдыхать. Ответственный сегодня — старшина.

— Я уже в модуле удрыхнуть успел, мать их... — сонно заворчал замполит. — Поташов разбудил.

— Что, прямо сам?

— Ну. Приперся ко мне в комнату. Ты ему зачем-то понадобился.

— Я?

— Он сначала позвонил в роту, велел старшине разыскать тебя. Тот бойца к тебе в модуль послал — пусто. И в парке не нашли. К бабам в модуль тоже посылал, — Заболотный хихикнул, — и там нету... Ну, Поташов со зла прямо ко мне завалил. Ищи, говорит, своего командира, где хочешь.

— Зачем вызывает, не сказал?

Заболотный хитро прищурил один глаз.

— Сходи — узнаешь.

17

Кабинет секретаря парткома располагался в штабе полка рядом со строевой частью. Постучав в дверь и услышав приглушенное «Войдите!», Фоменко распахнул ее и... чуть не расхохотался.

Развернувшись к капитану голой спиной, секретарь сидел на стуле в одних брюках и подшивал к кителю свежий подворотничок. Белая, как тесто, спина Поташова так и просилась в духовку: глубоко врезавшись в рыхлое тело, тугие подтяжки делили ее на аккуратные ломти большого пирога, посреди которого, как муха, чернела волосатая родинка.

— Товарищ подполковник, капитан Фоменко по вашему приказанию прибыл, — едва сдерживая смех, выдавил из себя ротный.

Поташов даже не глянул в его сторону.

Капитан поморщился. Однако ничего другого, кроме как переминаться с ноги на ногу и ждать, пока секретарь закончит с шитьем, не оставалось.

Сделав последний стежок и ловко откусив нитку, подполковник удовлетворенно хмыкнул, накинул китель на плечи и, не вставая со стула, медленно повернулся.

Поташов редко носил очки. Но сейчас на его переносице сидели стекла в металлической оправе, поблескивающие колечки которой сливались с узким длинным носом.

«Как пара нераскрытых ножниц», — пришло вдруг Фоменко в голову. А в следующее мгновенье ему показалось, что ножницы эти вот-вот готовы щелкнуть, чтобы дать знать, какие острые у них лезвия.

— Я не смог разыскать вас в расположении части в течение двух часов, — положил секретарь конец затянувшемуся молчанию. — В боевой обстановке подобное недопустимо.

Его глаза смотрели на ротного, не мигая, и словно подсказывали: «Ну, давай, оправдывайся. Я долго гневаться не собираюсь, не для этого позвал».

— Ходил на вещевой склад, товарищ подполковник, — осторожно и неторопливо начал врать Фоменко. — Надо было кое-что дополучить. У меня в роте пополнение. Четверо молодых из ашхабадской команды, которую вы привезли.

— Вот это как раз интересно, — Поташов впился в ротного взглядом, в котором не осталось даже намека на начальственный гнев. Но взамен появилось что-то другое.

Однажды Фоменко уже видел такой же взгляд. Когда? У кого?

И тут он вспомнил. Боже, как давно это было...

18

...Прямо с лекции по истории военного искусства курсанта второго курса Фоменко неожиданно вызвали к командиру взвода. Когда вместо взводного в его кабинете Фоменко увидел майора Коробова, его охватило недоумение, смешанное со страхом. Курсанта ждал тот самый майор, перед которым заискивали даже училищные полковники. Коробов был старшим оперуполномоченным особого отдела.

Предложив Фоменко присесть, он быстро и складно объяснил, что надо делать, конкретно и без дураков.

Слушая его, курсант понимающе кивал головой. Ему поручали выяснить, все ли однокурсники достойны в будущем носить офицерские погоны. Ему доверяли... И поэтому, глядя в глаза Коробова, Фоменко не мог понять, почему на протяжении всего разговора его не оставляло выражение плохо скрываемого и нетерпеливого ожидания. Словно особист все еще сомневался, даст он согласие или нет... Да разве мог он не согласиться? Он — единственный на курсе ворошиловский стипендиат? Но только тогда, когда курсант тихо, но твердо произнес: «Конечно, я буду помогать вам», — Коробов облегченно вздохнул.

— Хорошо, что вы поняли. Стипендию надо отрабатывать.

Эти слова не вызвали у Фоменко ничего, кроме недоумения. Разве дело в стипендии? Даже если бы он и не получал ее — разве отказался бы от сотрудничества с особым отделом? Заботиться о безопасности государства — долг каждого...

Только спустя пару недель, когда Коробов вновь пригласил его — уже в свой собственный кабинет — Фоменко понял, почему майор сомневался.

Коробов был недоволен и не скрывал этого. Он сказал, что ждал от курсанта точной и оперативной информации о настроениях на курсе, а также о тех, кто позволяет себе неуважительно отзываться о решениях партии и правительства.

Потупив голову, Фоменко молчал. Однажды он уже собирался довести до сведения оперуполномоченного, как на днях в курилке курсант его взвода Куделко, теребя газету с материалами только что состоявшегося пленума[1] ЦК КПСС, посмеиваясь, бросил:

— Ну, теперь Брежнев разрешит Никите кукурузу только на лысине выращивать!

Чуть позже, усевшись за столом в ленинской комнате, Фоменко принялся подробно описывать случившееся на листке, вырванном из тетради. Но, аккуратно расписавшись в конце и поставив дату, вдруг вспомнил, как сам вместе с товарищами от души хохотал над шуткой Куделко, и испытал вдруг такое отвращение к себе, какого он не испытывал еще ни разу.

Скомкав исписанный аккуратным почерком тетрадный лист, курсант швырнул его в мусорную корзину.

[1] Пленум 1964 года, сместивший Н. С. Хрущева со всех постов.

Да, он принял предложение Коробова. Но когда давал свое согласие помогать... Фоменко много читал об этом и видел в кино. Особенно красиво все было в кино: бесстрашные чекисты с холодной головой и чистыми руками и ненавистные враги...

Господи, да какие могли быть среди его однокурсников враги?

Яркие кадры кино исчезли, и Фоменко увидел себя сидящим в огромном кинозале, где остальные, затаив дыхание, наблюдали за грандиозным зрелищем свершений и побед, а он зорко следил, не усомнился ли кто в подлинности увиденного, не заметил ли, как обветшал и прохудился экран...

Нет, прятать в своей душе второе дно, о котором бы не подозревали однокурсники, копить там обрывки их доверчивой, простодушной болтовни, а потом вываливать все накопившееся на стол Коробова он бы не мог.

И если бы знал это сразу, сказал бы Коробову «нет» еще при первой встрече.

...Фоменко хотел сказать об этом в кабинете лично и молчал, мучительно подбирая слова. Но говорить ничего не пришлось. Коробов понял.

Он выразил сожаление, что курсант не оправдал его надежд, и отпустил с миром.

Еще месяца два Фоменко ждал. Чего? Он полагал, что заслуживает наказания: был лучшим на курсе, но отказался помочь особому отделу. Однако прошел месяц, другой, третий, а в жизни Фоменко ничего не изменилось. Он, как и прежде, успешно сдавал зачеты и экзамены, получал ворошиловскую стипендию и даже в очередной раз был избран в бюро ВЛКСМ роты. Скоро он и вовсе забыл о существовании Коробова.

19

И вот спустя почти двадцать лет ротный вспомнил о нем. Потому что прочитал в глазах секретаря парткома то же плохо скрываемое и напряженное ожидание, которое видел когда-то во взгляде пригласившего Фоменко на первую беседу лично.

— Так, так. Четверо, говоришь, попали в твою роту, — Поташов поджал пухлые губы. — Успел познакомиться?

— Нет еще.

— Зато я успел, — подполковник шумно вздохнул. — В том числе и с рядовым Ойте.

Ротный удивленно вскинул брови.

— Чудная фамилия.

— Немецкая.

— То есть?

— Немец он, — со злостью сказал Поташов. — Да в придачу еще и меннонит. Есть такая христианская конфессия... Среди обрусевших немцев их много. На гражданке золотые люди: не пьют, не курят. А в армии с ними одна морока...

— Знаю, — вздохнул Фоменко. — Мне один такой попадался, в Карелии. Им вера оружие брать в руки запрещает...

Он вскинул голову.

— Но как же... — Фоменко недоуменно пожал плечами. — Как он попал в Афган? Есть приказ. Таких сюда нельзя.

— Правильно. Мне его в Ашхабаде подсунули. А времени проверить не было.

— Так что ж его теперь, обратно? — простодушно спросил ротный.

— Ты же не дурак, Фоменко, а такое говоришь, — почти ласково произнес секретарь. — Нельзя его обратно... Большие неприятности могут быть. У меня...

Поташов почесал затылок.

— Тебе, кажется, уже давно пора майора получать, а?

— Пора. Да должность капитанская, — Фоменко развел руками, но тут же, устыдившись этого слишком откровенного жеста, быстро спрятал их за спину.

— Это дело поправимое. Должность найдется, — губы Поташова растянулись в гримасе, которая должна была означать улыбку. — Для умного человека всегда найдется.

И снова его напряженно-ждущие глаза говорили: «Ты же знаешь, что в третьем батальоне освободилась должность начальника штаба. Вот бы тебе на нее, а? Через месяц получил бы майора».

— Если вы считаете, что я достоин... — пытаясь не выдать охватившего его волнения, сказал капитан.

— Твою кандидатуру рассматривают, — с напускным безразличием протянул Поташов. — Но есть и другие, понимаешь?

— Понимаю, — кивнул ротный.

— Командир полка обязательно посоветуется со мной, и если я буду настоятельно рекомендовать тебя... — подполковник помедлил. — Пора получать майора, а?

— Я оправдаю ваше доверие, — отрезал капитан, не найдя ничего лучшего.

— Вернемся к Ойте, — секретарь расправил жирные плечи, и Фоменко почувствовал, что сейчас Поташов скажет главное — то, ради чего он вызывал его к себе. — Пока только мы с тобой знаем, кто такой этот Ойте, — подполковник говорил очень медленно, так медленно, что паузы между его словами значили несравненно больше, чем сами слова. — Но если про него узнают там, — секретарь скосил глаза к потолку, — будет плохо. И мне, и тебе.

На лице Фоменко не дрогнул ни один мускул.

— Рано или поздно там об этом узнают, товарищ подполковник.

— Не должны узнать, — ноздри узкого носа Поташова раздулись. — Завтра твоя рота уходит на «боевые». А молодым и неопытным, вроде Ойте, первый раз в бою всегда бывает трудно...

20

После ужина официантки офицерской столовой убирали со столов. Торопливо кидая в большой чугунный бак ложки и вилки, самая старшая из них — полная и крикливая Света — смахнула с носа капельки пота и скомандовала:

— Шевелись, бабы! Не знаю, как вам, а мне надо сбежать пораньше.

— Твой, небось, уже к окну приклеился. Ждет! — отозвалась, нагружая передвижную тележку мисками, Наталья. Она была почти одних лет со Светой, но смотрелась моложе из-за коротко стриженных и по-кукольному завитых рыжих волос.

Света сладко потянулась.

— Всю ночь спать не даст...

— А мой напьется на радостях да удрыхнет, — заявила Наталья. — Зато уж завтра поутру...

Заговорщицки подмигнув Наталье, Света повернулась к Аннушке, которая молчаливо протирала столы.

— А ты, Ань, торопишься или нет?

Словно не слыша, Аннушка продолжала орудовать тряпкой.

Официантки переглянулись. Света с укором протянула:

— Молчишь... Второй месяц тремся бок о бок, а все как чужая. Молчком да в одиночку здесь пропадешь.

— Пропадешь, пропадешь, — подхватила Наталья. — Мы тебе зла не желаем. Наоборот.

— Спасибо, — не поднимая головы, тихо сказала Аннушка.

— Думаешь, ты какая-то особенная? — продолжала Наталья. — Что мы, не знаем, зачем бабы сюда едут? Чем их еще заманишь на войну, где, неровен час... — она торопливо перекрестилась. — Или мужиками, или деньгами. Так, Светик?

— Кто нас с Наташкой на четвертом десятке дома бы замуж взял? А здесь с голодухи и сухарь слаще пряника, — Света прыснула. — Глядишь, какой-нибудь и найдется. Вон, Вовка мой уже собирается... Тьфу, тьфу, тьфу, не передумал бы! Ты, конечно, другое дело. Ты бы парня и дома нашла.

— Значит, денежки нужны, — хитро улыбнулась Наталья, тряхнув рыжей челкой. — На французские духи, итальянские туфли... Дома на это, хоть загнись, не заработаешь. Да что зарплата! Ты, Ань, тут озолотиться можешь, только не зевай. Молодая, красивая... Такой товар в Афгане дорого стоит. Посмотри вон, что Элка-машинистка вытворяет.

— Никому не отказывает, только плати, — вставила Наталья. — Зимой в Союз летала, в отпуск. Сколько у нее денег на таможне насчитали! Маничев с Элкой таможню проходил. Маничев врать не станет...

Собрав очередную порцию мисок, Наталья с грохотом швырнула их на тележку.

— Конечно, не всякая так сумеет... Уж если идут на это бабы, то через силу. И через злость. Как Элка ненавидит этих мужиков! Чуть что не по ней... Вчера вон Венславовичу рожу почистила, весь обляпанный пластырем ходит. А мужики все равно к ней тянутся: красивая...

— Красивая, — с нескрываемой завистью согласилась Света. — Вытерпит она проклятые два года и баста. Думаете, ей, как всем, не хочется, семью иметь, детей? Да она с тоски по такой жизни воет. А дотянет свой срок — забудет наш полк как страшный сон. Приедет домой — баба как баба. Кто там знать будет, как она в Афгане жила?

— Ну, чего молчишь, Ань? — снова попыталась она втянуть в разговор не проронившую до сих пор ни слова Аннушку. — Думаешь, будешь молчать — все беды пройдут стороной?

Аннушке захотелось вдруг закрыть глаза, заткнуть уши и убежать куда-нибудь, где никто не будет под грохот тарелок и ложек ждать ее исповеди.

— Если вы торопитесь, уходите, — стараясь не глядеть в глаза официанткам, предложила она. — Работы осталось немного, управлюсь сама.

Света с готовностью швырнула собранный уже пучок ложек на стол.

— Анька, ты золото!

— В другой раз и мы тебя выручим, — стягивая грязный фартук, заверила Света.

Аннушка осталась одна. Она опустилась на стул, чтобы передохнуть. Ей и в самом деле было некуда спешить: Фоменко не придет раньше полуночи. Но в полночь или чуть позже...

Аннушка прислушалась: за дверью столовой кто-то насвистывал простенькую мелодию. Кажется, марш «Прощание славянки». Дверная ручка медленно поползла вниз...

Официантка вскочила и растерянно уставилась на человека, который вырос на пороге.

— Поужинаешь со мной? — сказал командир полка, наслаждаясь эффектом, который он произвел неожиданным появлением.

У самого молодого в 40-ой армии полковника были широкие плечи, густые русые волосы, щегольские, аккуратно подстриженные усы, и не было ни малейшего намека на живот.

— Поужинать со мной не желаешь? — еще раз промурлыкал Тодоров.

Аннушка молчала. Командир растерянно хмыкнул, окинул официантку оценивающим взглядом и подошел к ней почти вплотную.

— А ты даже лучше, чем я думал, — сказал он, измерив ее взглядом. — Ну, чего испугалась, глупенькая? Я тебя не съем...

Хохотнув, он положил на плечо Аннушки руку.

Официантка, дернув плечиком, попыталась ее сбросить, но цепкие пальцы Тодорова уже гладили ее тонкую, нежную шею.

Аннушка прошептала:

— Пустите, пожалуйста...

— Не пущу! — прохрипел Тодоров, возбужденно дыша.

Полковник привлек Аннушку к себе, сжимая ее в объятиях. Его рука скользнула ниже ее талии и начала медленно забираться под юбку...

Аннушка вскрикнула:

— Да пустите же вы!

Собрав последние силы, она вырвалась из рук Тодорова и оттолкнула его.

Тодоров побагровел. Его лицо исказилось от злости.

— Что, целку из себя строишь? Я в своей комнате стол накрыл, а ты... Запомни: если я чего-то хочу, то всегда это получаю, поняла? Не хочешь со мной при свечах поужинать? Так я тебя прямо здесь трахну!

Расстегивая на ходу брюки, Тодоров начал надвигаться на Аннушку, беспомощно прижавшуюся к столу. Ее глаза торопливо шарили по сторонам...

Взгляд женщины уперся в большой чугунный черпак, который лежал на столе, и Аннушка схватила его. Полковник бросился на нее, но официантка, ловко увернувшись и отпрянув в сторону, изо всех сил опустила черпак на его голову.

Охнув, Тодоров рухнул на пол, а Аннушка попятилась к двери...

21

И был вечер. Близилось застолье.

Встречали полк с войны сегодня. И провожали на войну тоже сегодня.

Посреди стола возвышалась кастрюля с вареной картошкой «в мундирах», вокруг лежали наскоро ополоснутые под краном пучки зелено-

го лука; тарелок не было вовсе, зато кружек и ложек с вилками было в достатке.

Хозяева комнаты — Маничев и Чепига — накрывали на стол и дожидались гостей: Рокфеллера с Фомой.

Открывая банку тушенки, Маничев поранил палец. Сунув его в рот, он сидел на табурете и наблюдал, как Чепига, ловко орудуя ножом, нарезал уже вторую буханку хлеба.

Стрелка на стареньком пузатом будильнике подползала к девяти, когда пожаловал Фоменко. Капитан вошел не один, подталкивая в спину замешкавшегося у порога незнакомого, совсем молодого лейтенанта и приговаривая:

— Не стесняйся. Тут все свои.

Лейтенант долго и тщательно вытирал ноги о половичок, озираясь по сторонам, и наконец произнес:

— Здравствуйте.

— Ждорово, — промычал, посасывая порезанный палец, Маничев.

— У нас еще один гость? — кивнул на незнакомого лейтенанта Чепига.

— Не просто гость, — Фоменко, продолжая подталкивать лейтенанта перед собой, прошел к столу и, положив обе руки ему на плечи, резким толчком усадил на табурет. — Корреспондент окружной газеты, про мою роту будет писать, — гордо добавил он.

— Правильно! — сказал Чепига. — Давно пора.

Корреспондент смущенно привстал.

— Извините, я не представился. Лейтенант Средзакозовцев Слава, — он попытался протянуть руку расположившемуся напротив Маничеву, но Фоменко, обхватив лейтенанта за плечи, вновь ловко усадил его.

— Сиди! Сейчас выпьем по первой, потом по второй... Там сразу со всеми и познакомишься.

Ротный устроился за столом рядом с корреспондентом и нетерпеливо потер руки.

— Ну что, мужики, пора начинать?

— Рокфеллера ждать не будем? — вынув палец изо рта, поинтересовался Маничев.

— Он может в штабе и до утра просидеть, — поддержал Чепига Фому. — Потом догонит.

Начальник строевой части сел вместе со всеми за стол, аккуратно разлил содержимое одной из бутылок по кружкам и провозгласил:

— С возвращением.

Полковые со знанием дела сделали выдох и припали к кружкам. Быстро опорожнив их, потянулись к закуске. Корреспондент замешкался и выпил позже. Он едва не задохнулся и, выпучив глаза, громко закашлялся.

Фоменко от души треснул его кулаком по спине.

— Привыкай, чистый спирт.

— Ничего другого не держим, — вставил, отчаянно хрумкая огурцом, Маничев.

Ошалевший Средзакозовцев открыл рот и высунул розовый, как поросячье ухо, язык.

— Спирт? Первый раз пробую.

— И поверь, не последний, — едва прожевав, Чепига снова наполнил кружки. — Ну что, по второй?

— Давай, — согласился Фоменко и протянул Средзакозовцеву кружку с водой. — Запивай, легче проходит.

Суровые у вас нравы, товарищ капитан, — корреспондент опасливо покосился на бутылку. — Если так пойдет и дальше, я, пожалуй, окажусь под столом.

— Поднимем, — успокоил его Маничев.

Кружки опустошили повторно. Средзакозовцев, передернувшись от отвращения, тоже влил в себя теплую, пахнущую резиной жидкость.

Подцепив ложкой прямо из консервной банки кусок тушенки, Фоменко проглотил его, почти не разжевывая, и махнул рукой.

— Завтра опять на войну. Потери на Панджшере всегда большие...

Чепига поморщился:

— Нашел о чем говорить за столом. Лучше вспомни, что нам рассказывал командир полка. Там, у Ахмад-шаха в госпиталях, медсестры-француженки. По линии Красного Креста. Вдруг твоя рота госпиталь захватит?

Фоменко собирался сказать что-то в ответ, но не успел.

Дверь комнаты едва не слетела с петель, а на пороге вырос распахнувший ее ударом ноги Рокфеллер. Под мышкой начфин держал два объемистых свертка. В свертках булькало и хрустело.

— Принимайте груз, — рявкнул он. — Уроню — пожалеете.

Маничев с Чепигой кинулись спасать ношу.

Отделавшись от свертков, начфин грузно плюхнулся на табурет и не без самодовольства наблюдал, как из свертка побольше Маничев вывалил на стол гору жареной рыбы, а из другого, поменьше, Чепига бережно извлек трехлитровую банку спирта.

Наклонившись к самому уху Фомы, Рокфеллер шепнул:

— Слышь, Валер, иду я сейчас мимо офицерской столовой, а навстречу — Тодоров. И башка у него вся в крови...

— Ты что?!

— Не замечая меня, прет, как бык. Глаза стеклянные... Постоял я чуток, пока он к себе в модуль не зашел, развернулся — и прямым ходом в женский барак. Подумал, может, бабы чего знают.

Корытов внимательно посмотрел другу в глаза.

— Помнишь, ты перед боевыми на всю ночь уходил? Ну, к новенькой этой, официантке... Аней ее зовут.

— Ну?! — Фоменко побледнел.

— Короче, Тодоров ее сегодня в столовой хотел... Ну, ты понимаешь. Да куда там! Она его треснула черпаком по башке — и ходу... В модуле сейчас сидит, заперлась с перепугу в своей комнате, никого не впускает, — Рокфеллер перевел дух и добавил. — Валер, я не знаю, что у тебя там с ней... Но если у тебя серьезно, прямо сейчас туда беги, слышишь? Молодая, как бы чего с собой не сделала.

Фоменко затаил дыхание. На его мгновенно вспотевшем лбу вздулась голубая вена — тугая, как тетива. Он глухо, как из-за стены, сказал:

— Чего я туда побегу? Пусть побудет одна, успокоится...

— Как знаешь, — пробормотал начфин и вдруг понял, что они с Фоменко уже давно говорят не шепотом, в комнате стоит гробовая тишина, а Чепига, Маничев и корреспондент жадно ловят каждое слово.

— Как знаешь, — повторил начфин, обведя гостей растерянным взглядом. — Чего притихли? Чего не наливаешь, Витя?

Чепига с готовностью потянулся за бутылкой, а уже изрядно захмелевший Маничев, слышавший, как видно, добрую часть разговора, протянул:

— Значит, Анька-официантка Тодорову башку расшибла? Так ему и надо. Все от жизни торопится взять. Если какая новенькая в полку, ни за что не пропустит. Бабу только жалко. Командир ей такого не простит, на этой же неделе вышвырнет обратно в Союз.

— Заткнись, — тихо сказал Корытов, но, увидев, как вытянулось от обиды лицо Маничева, спохватился и примирительно добавил.

— Думай, что говоришь, Саня. Вон, корреспондент рядом. Напишет про наш полк невесть что...

— Нет-нет, ничего плохого я писать не собираюсь, — шумно заверил его Средзакозовцев.

Его, как и следовало ожидать, развезло раньше всех. Длинный чуб лейтенанта свесился и прикрыл правый глаз.

— Вот потому-то все наши газеты и врут, — ехидно процедил Маничев. — С твоей «Окопной правдой» только в сортир ходить.

— Во-первых, не «Окопная правда», а «Фрунзевец», — Средзакозовцев поправил волосы. — А во-вторых... Нельзя писать обо всем, понимаешь? Чтобы молодым ребятам было не страшно сюда ехать. Чтобы их матери были спокойны...

— Чтобы их сыновей убивали, а они были спокойны? Да ты хоть раз видел — там, в Союзе, — как в чей-нибудь дом привозят цинковый гроб? Ты хоть это-то видел?

Маничев повернулся к Фоменко:

— Расскажите ему, Валерий Григорьевич. Вы же зимой сопровождали груз «двести».

Фоменко вздохнул, утопил широколобую голову в плечи.

— Хуже нет, чем цинки возить... В Курской области, в одном районе, шестерых выгружали: военком нормальный попался. Сказал, что сам, без меня, по домам развезет. А в соседнем районе военком трусливый, гад! Настоял, чтобы я поехал вместе с ним. Не помню уже, как село называлось — Гречиха или Гречишиха...

22

К старенькому, покосившемуся дому на окраине деревни подъехала грузовая машина, в кузове которой стояло несколько цинковых гробов.

Машина остановилась недалеко от крыльца.

Из кабины машины выбрались Фоменко и районный военный комиссар, подполковник Трепачев.

Они опустили борта машины с обеих сторон, а затем, переглянувшись, направились к крыльцу дома.

Дверь дома распахнулась. На пороге появился низкорослый, седой, небритый мужичок со значком участника Великой Отечественной войны на поношенном пиджаке.

Он посмотрел на машину с гробами, медленно спустился с крыльца и замер рядом с ним.

Фоменко и Трепачев остановились в нескольких шагах от мужчины.

Откашлявшись, Фоменко обратился к нему:

— Вы — Кузьменко? Анатолий Ефремович?

Мужичок грустно вздохнул.

— Я.

Фоменко кивнул на машину.

— А мы...

Мужичок махнул рукой.

— Да понял я уже, кто вы. Мы похоронку получили еще третьего дня...

Он снова вздохнул.

— Сына привезли?

Трепачев опустил голову.

— Да.

Едва военком произнес это, как на крыльцо выскочила мать погибшего солдата — маленькая, сухонькая, в черном платье и черном платке. Увидев машину с гробами, она замерла на месте, обхватила лицо руками и начала тихонько выть, качая головой из стороны в сторону.

Не переставая выть, она медленно спустилась по ступенькам и двинулась к Фоменко и Трепачеву. Остановилась напротив офицеров и, затихнув, опустила руки.

Мокрыми от слез глазами она посмотрела сначала на Трепачева, а потом перевела взгляд на Фоменко.

Ее глаза загорелись ненавистью.

Хрипло и пронзительно вскрикнув, она подскочила к Фоменко вплотную и наотмашь, что есть силы, ударила его рукой по щеке.

Фоменко, не увернувшись и даже не попытавшись закрыться, лишь слегка наклонил голову и зажмурил глаза.

Мать снова ударила его — уже по другой щеке, — затем нанесла еще один удар, и еще...

Когда у нее уже совсем не осталось сил, мать опустила руки, села на землю и, обхватив ладонями лицо, снова начала выть...

23

Фоменко обвел людей, сидящих за столом, грустным взглядом.

— Так ни слова и не сказала... И когда гроб выгружали, и когда в дом заносили...

Он шумно вздохнул:

— Один он был у нее, сын-то.

В комнате на несколько секунд повисла тишина.

Фоменко, приподнявшись, взял в руки трехлитровую банку и снова разлил по кружкам спирт. Закончив, он поставил банку на стол, встал и тихо произнес:

— Третий тост.

Остальные тоже поднялись.

Стараясь не морщиться, выпили молча и не чокаясь.

Так же молча сели и потянулись за закуской.

Прожевав, Корытов снова придвинулся к Фоменко вплотную и шепотом протянул:

— А, может, все-таки надо к Ане сходить, Валер?

Фоменко тоскливо зажмурил глаза и отрицательно помотал головой.

— Не надо, Женя.

24

Полночь давно миновала.

Аннушка уже не помнила, какую по счету кастрюлю она наполняла, чтобы, склонившись над плиткой, мешать и мешать кипящую воду.

Она смотрела сквозь пыльное стекло, и порой ей казалось, что в темноте от офицерского «модуля», который был хорошо виден из ее окна, уже отделилась и двинулась к женскому бараку такая знакомая фигура...

Обманутая грязным стеклом и ночными тенями, Аннушка всякий раз закрывала глаза и молилась... А потом вновь ловила мокрыми глазами ниточки света, распущенные прожекторами в ночи.

Когда пыльное стекло снова, уже в который раз, обмануло ее, она выключила плитку, накинула плащ и бесшумно выскользнула из комнаты.

25

В это весеннее утро война снова хотела пройти у дома старого хазарейца.

Сидя на вросшем в землю валуне, он провожал глазами колонну, которая с ревом вытряхивала из дороги улегшуюся за ночь пыль.

Клевавший носом после бессонной ночи Фоменко не заметил бы одиноко примостившегося у обочины калеку, если бы не услышал, как два сержанта его роты — Мамонтов и Пучко, сидевшие на броне бэтээра рядом с ним, — завели разговор.

— Ты как думаешь, — спросил Мамонтов, — что этот старик делает тут в такую рань?

— Пыль свежую глотает, — предположил Пучко. — Вкусная, наверное. Посмотри, какое блаженство у него на морде.

— А если серьезно?

— На «духов» работает. Колонну считает, падла.

— Да он, небось, и считать не умеет.

— Ну, не умеет, так пальцы загибает. Если бэтээр — на руках, а если танк — на ногах.

— Брось! У него же пальцев на танки не хватит. У него же нога одна! — Мамонтов залился смехом.

Сидевший за их спинами рядовой Ойте, который за все это время не проронил ни звука, вздохнул и тихо произнес:

— Грех смеяться над калекой.

Мамонтов повернулся к нему и с угрозой протянул:

— Что-о-о?

Пучко тоже повернулся к Ойте.

— Тебе слова никто не давал, понял? Молод еще, чтоб старших учить... Ну, подожди. Вернемся с «боевых», я твоим воспитанием займусь!

Фоменко лениво бросил через плечо:

— Отставить.

Он открыл глаза, сквозь завесу пыли увидел старика, но как ни старался, не сумел разглядеть его лица.

Колонна уже давно скрылась за перевалом, а старый хазареец и не думал подниматься с камня.

Светло-оливковые глаза калеки светились надеждой...

В это весеннее утро месяца Саура сын старого хазарейца Асад с развороченным минным осколком пахом и широко раскрытыми, обездоневшими глазами лежал на краю рисового поля, закинув на бок голову, которая почернела от облепившего ее жадного роя мух...

26

Минула неделя, как роты ушли на Панджшер.

...Корытов проснулся на своей кровати, куда после буйных похождений вновь уложил его сердобольный Чепига, с трудом заставил себя разомкнуть тяжелые, опухшие веки и вдруг закричал хрипло и страшно.

Каждое такое утро он ненавидел весь белый свет.

Но в это утро Рокфеллер не увидел его.

Была тьма. Такая, какая она бывает, когда наступает навсегда.

Он понял это сразу и поэтому, издав один-единственный крик, который, подобно раненому зверю, был не в силах сдержать, не стал в отчаянии кидаться на стены, тереть до крови глаза и звать на помощь.

Он лежал, вытянув руки по швам, ровно и тихо.

Через час его хватились в штабе. В модуль прибежал хмурый и озабоченный Чепига. Он быстро уяснил, в чем дело, и бросился звать полкового врача.

После беглого осмотра врач сказал, что начфина нужно немедленно отправлять в госпиталь.

Он ушел искать машину, а Корытов и Чепига остались вдвоем. Начальник строевой части сидел на табурете, подавленный и ошеломленный. Совершенно не зная, что полагается в таких случаях говорить, старший лейтенант сопел и грыз ногти.

— Помоги, — сказал вдруг начфин. Резко сбросив ноги с постели, он поднялся, выставил руки перед собой и сделал неуверенный шаг к столу. Чепига сорвался с места, подскочил к Корытову и, бережно поддерживая его, помог сесть на табурет.

— Плохи мои дела, Витя, — заговорил Рокфеллер, качая головой. — Дружил я с водочкой, а она вот взяла да и ударила по глазам. С моим батей покойным, царствие ему небесное, такая же беда в свое время приключилась...

Корытов пошарил по столу руками, нащупал пачку сигарет, достал одну и принялся так же, наощупь, искать спички. Чепига, спохватившись, подал ему коробок.

Прикурив, Рокфеллер тихо произнес:

— Знаешь, а я ведь уже никогда больше не буду видеть.

— Надо в Ташкент, Евгений Иванович, в окружной госпиталь, — торопливо отозвался Чепига. — А то и в Москву. Там врачи чудеса делают.

— Врешь ты все.

— Надо, — упрямо повторил старлей.

— Конечно, надо, — покорно согласился Корытов. — Инвалидность оформить, пенсию...

— Есть ведь надежда, Евгений Иванович...

Начфин вскинул нечесаную голову.

— Не на что надеяться... К маме поеду, в Подмосковье. Соловьев по утрам буду слушать. Хоть этого у меня никто не отнимет, а, Витек? — Рокфеллер помедлил. — Об одном жалею: мужиков с «боевых» не дождусь, Фому...

— Вы еще вернетесь в полк, Евгений Иванович.

— Эх, Витя... Скоро будет у вас другой Рокфеллер.

Визг тормозов подъехавшей машины они услышали одновременно. Чепига подошел к окну.

— За мной? — упавшим голосом спросил Корытов.

— За вами.

— Раз карета подана — едем... Стой! — шлепнул он себя по лбу ладонью. — Фоменко же не знает адреса мамы! У тебя есть, на чем записать?

Чепига схватил первое, что попалось под руку — спичечный коробок — и достал из нагрудного кармана ручку.

— Диктуйте.

— Московская область, город Шатура, Чкалова три... Записал?

— Чкалова три, — повторил, торопливо покрывая коробок кривыми буквами, Чепига.

— Квартира двенадцать.

— Готово.

— Передай ему, когда вернется: пусть сразу напишет. Слышишь? Сразу!

Старший лейтенант спрятал коробок в карман.

— Обязательно передам.

Начальник строевой части подошел к начфину и осторожно взял его под локоть.

— Пора, Евгений Иванович.

27

...К вечеру атака на лепившийся у края ущелья кишлак Дах-э-сийох окончательно захлебнулась.

Четвертый час рота Фоменко лежала, вжимаясь в раскаленные камни. Головы солдат спеклись в стальных касках, фляги опустели... Тепло-соленые струйки пота, смешавшись с осевшей на лицах солдат пылью, превратили их в маски невиданных, суровых, но бессильных языческих богов с пустыми, потухшими глазами.

Перед наступлением кишлак накрыли «Градом». Не уцелело ни одного дома и ни одного дувала. Что говорить о людях... Но, словно воскреснув под опаленными обломками глины, преждевременно похороненные «духи» встретили наступавших таким огнем, что, потеряв сразу троих, Фоменко уложил роту на камни и по рации стал с тоскливым остервенением требовать от комбата еще одного артналета. Комбат ответил, что второго артналета не будет («Нет снарядов, ...твою мать!»), однако приказа лезть напролом не дал, натужно крича: «Атаковать только после подавления огневых точек!»

Один пулемет «духов» Фоменко разглядел, когда рота пыталась взять кишлак сходу. Его ствол торчал из большой трещины в стене разрушенной мечети. Гранатометчики сделали пару прицельных выстрелов, и когда капитан еще раз попытался поднять роту в атаку, тот, что был в мечети, уже молчал. Но яростно и злобно плюнули свинцом сразу несколько других.

Рота покорно легла, а Фоменко опять принялся вызывать по рации комбата. Кишлак отделяло от наступавших не меньше двухсот метров, и как не кусал капитан спекшиеся губы, до боли прижимая к глазницам бинокль, засечь остальные пулеметы не удавалось.

Единственное, что оставалось делать, — это посылать вперед наблюдателя, который бы сумел проползти на брюхе хотя бы половину этого расстояния, укрыться в одной из воронок, выдолбленных снарядами, и, разглядев, где понатыканы пулеметы, корректировать по рации огонь.

Посылать почти на верную смерть...

Вот почему ротный медлил, все еще веря в чудо — в залп батареи «Града».

При последнем выходе на связь комбат прокричал, что у батареи больше нет снарядов и она снимается с позиций.

Кому-то надо было ползти...

Фоменко знал, что пошлет одного из взводных связистов, умеющих толково работать с рацией. Одного из троих: Каримова, Максимчука или Ойте.

Неуклюжего, плохо знающего русский язык Каримова?

...Максимчука или Ойте.

Вымахавшего под метр девяносто Максимчука? Мишени лучше не бывает... Или Ойте?

Откуда-то выплыло вдруг широкое, плоское лицо подполковника Поташова. Близко посаженные глаза под стеклышками очков и толстые поджатые губы... «Молодым и неопытным бывает особенно трудно...»

...Фоменко уже давно отдал приказ. Он видел, как, волоча за собой рацию, устремился к кишлаку похожий издалека на юркую, зеленую ящерицу Ойте.

«Духи» заметили его, и вокруг солдата то тут, то там стали вспыхивать фонтанчики от пуль.

— Всем! — хрипло кричал капитан по рации. — Прикрывать наблюдателя! Вести беглый огонь! Огонь!

Он повторял это сорванным голосом раз за разом, хотя очереди и так не стихали.

Когда фонтанчики вспыхивали слишком близко от Ойте, ротный невольно зажмуривался и медлил открывать глаза: больше всего на свете он боялся, что в следующее мгновенье увидит среди камней безжизненное тело солдата. Но всякий раз, замерев на чуток, чтобы переждать опасность, зеленая ящерка оживала и оказывалась еще на метр впереди, и еще на метр, и еще...

— Доползи, — шептал Фоменко, считая эти метры так, будто сам отмерял их своим сжавшимся в комок животом.

И он дополз.

Укрывшись в спасительной воронке, Ойте сразу же вышел на связь, а чуть позже начал передавать, куда бить гранатометам.

...Комбат вызвал ротного по рации, когда Фоменко уже снова собирался поднимать людей в атаку.

— Уходим, — приказал майор Николаев.

Комбат был прав: солнце садилось, а на ночной бой у них уже не хватило бы сил.

— Уходим! — прокричали, приняв приказ ротного, командиры взводов.

— Уходим! — пронеслось по солдатской цепочке.

В затопивших землю сумерках кишлак был уже почти не виден.

— Рота отходит, возвращайся, — переключившись на частоту Ойте и поглаживая рукой рацию, словно живую, сказал Фоменко.

Все, кто были рядом, слышали это: и связист командира роты ефрейтор Путеев, пытавшийся рукавом куртки стереть со лба корку засохшей грязи, и замполит, который лежал, уткнувшись головой в приклад автомата, но, конечно же, не спал, а мог только мечтать об этом...

28

Последние, многократно выверенные и уточненные сведения о потерях поступили на командно-наблюдательный пункт полка в первом часу ночи.

Убитые и раненые были во всех батальонах.

Пропавший без вести — только в первом.

Рапорт с подробным изложением обстоятельств исчезновения рядового Ойте, составленный капитаном Фоменко, лежал перед командиром полка.

«...Получил приказ вернуться, но приказа не выполнил...» Щурясь, полковник Тодоров сидел за своим рабочим столом в кунге штабного ЗИЛа и уже в который раз пытался разглядеть за косыми, сползающими в угол листа строчками то, чего так и не сумел отыскать в них самих.

Он потянулся рукой к телефону, стоящему на краю стола, снял трубку и резко бросил.

— Николаева — ко мне!

...Командир первого батальона майор Николаев с длинной нескладной фигурой и скуластым лицом стоял перед Тодоровым навытяжку, испуганно вращая глазами.

Скрестив руки на груди, командир полка откинулся на спинку стула.

— Ну, что там стряслось у Фоменко? Как пропал человек? Докладывай!

Николаев пожал плечами.

— Как-то странно все вышло, товарищ полковник...

Тодоров шлепнул ладонью по столу.

— Не тяни!

Николаев торопливо зачастил:

— Чтобы засечь огневые точки «духов», Фоменко высылал вперед наблюдателя... Когда я дал команду отходить, ротный приказал наблюдателю возвращаться. А тот не вернулся. Никто не знает, почему... Было уже темно. Рисковать людьми, чтобы вести поиск, мы не стали...

Тодоров почесал затылок.

— На связь выходить с ним пробовали?

Николаев вздохнул:

— Пробовали. Глухо...

— Ты-то сам как думаешь? — Тодоров буравил Николаева глазами. — Убит?

Николаев поморщился:

— Главное, чтобы не перебежал...

Брови командира полка удивленно взметнулись кверху.

— Он что, мусульманин?

Николаев отрицательно помотал головой.

— Никак нет, но... Вы сами знаете — это без разницы. Вон, в соседней дивизии к «духам» хохол переметнулся.

— Этого нам только не хватало! — удрученно протянул Тодоров. — ЧП на всю армию, блин...

Он снова хлопнул ладонью по столу.

— Будем надеяться, что все-таки погиб. Мертвые сраму не имут...

Тодоров вскинул голову.

— Кто хоть такой? Давно в Афгане?

— Никак нет. Из молодого пополнения...

29

Ранним утром полковые саперы прочесывали дорогу, которая проходила мимо кишлака, выжженного дотла еще год назад.

Лейтенант и двое солдат медленно двигались по дороге, время от времени останавливаясь и тыкая щупами в подозрительные бугорки и впадины. Иногда они пускали в ход миноискатели.

Пока все было «чисто».

Один из саперов — щуплый и курносый рядовой Точилин — держал на поводке большую восточно-европейскую овчарку.

Обугленные развалины кишлака, в котором не было — да и не могло быть — ни души, жутко чернели в предрассветных сумерках, и, косясь на них, Точилин боязливо поеживался. Чтобы перебороть страх, он часто оборачивался и бросал взгляд на маячащие за спиной передние бэтээры колонны, которой саперы расчищали путь.

Собака негромко заскулила и кинулась к обочине дороги. Точилин, едва удерживая псину, поневоле потащился следом за ней.

Собака остановилась у лежащего на земле грязного, набитого чем-то бесформенного мешка, покрытого бурыми пятнами.

Точилин тоже замер на месте.

Он повернул голову к лейтенанту, склонившемуся над каким-то подозрительным бугорком.

— Товарищ лейтенант! Тут мешок...

Не глядя в его сторону, лейтенант, занятый своим делом, махнул рукой.

— Так посмотри! Только осторожно.

Точилин опасливо приблизился к мешку, нагнулся, отвернул край горловины и тут же с округлившимися от страха глазами отпрыгнул назад, споткнулся и упал на спину.

Овчарка жутко завыла.

Простирая трясущуюся руку к мешку, Точилин вскрикнул:

— Товарищ лейтенант! Там... Там...

Лейтенант распрямился и повернулся к солдату, тревожно посмотрев сначала на него, а потом на мешок.

Елозя задом по земле, Точилин отползал от мешка все дальше и дальше.

— Там человек... Мертвый... И голова отдельно...

30

В кабинете секретаря парткома полка шумно работал кондиционер.

Поташов сидел за своим рабочим столом. Чепига стоял перед секретарем парткома, опустив голову и переминаясь с ноги на ногу.

Поташов, пожевав губами, вздохнул.

— Значит, двое у Фоменко погибли, а третий попал в руки к «духам»?

Чепига, не поднимая головы, тихо ответил:

— Так точно. Они ему сначала отрезали нос и уши. А потом... Отделили от туловища голову... Сложили все это в мешок и бросили на обочине дороги... Полковые саперы обнаружили, сегодня утром.

— Кто его опознал, этого... рядового Ойте?

— Замполит роты.

Секретарь парткома поморщился.

— М-м-да... Когда будешь отправлять домой... То, что осталось от этого солдата... В сопроводительных документах напиши, чтобы на месте не вздумали вскрывать гроб, понял? Пусть военком проследит...

Чепига кивнул.

— Есть.

Поташов махнул рукой.

— Иди, занимайся.

Чепига снова кивнул, развернулся и направился к выходу из кабинета.

Вспомнив о чем-то, Поташов вскинул голову и бросил ему вслед:

— Да! Вот еще что не забудь!

Чепига остановился и обернулся.

Секретарь парткома улыбнулся.

— Я разговаривал по телефону с Тодоровым... Он хочет поставить начальником штаба третьего батальона Фоменко. Можешь заготовить представление.

31

Фоменко и Чепига стояли и курили недалеко от штаба полка.

Оба были мрачнее тучи.

Фоменко грустно говорил:

— Я, когда не увидел Женю у КПП, сразу почуял неладное... Он же встречал меня каждый раз, когда мы возвращались с войны.

Чепига вздохнул:

— Корытова сразу отправили в окружной госпиталь — в Ташкент.

— Хоть бы все обошлось...

— Будем надеяться... — спохватившись, Чепига полез рукой в карман куртки и достал из него спичечный коробок с адресом, продиктованным ему Корытовым. Он протянул коробок Фоменко.

— Вот, Евгений Иванович просил передать... Адрес его матери.

Капитан взял коробок и поднес к глазам.

— Разборчиво написано? — поинтересовался Чепига.

Фоменко кивнул.

— Да. Шатура... Чкалова, три...

Чепига едва заметно улыбнулся.

— Ну, а вас я могу поздравить.

Фоменко поднял голову.

— С чем?

— Тодоров подписал представление. О вашем назначении начальником штаба третьего батальона. Я уже отправил представление в Кабул. Думаю, со дня на день командарм подпишет приказ...

32

Полночь давно миновала.

Фоменко сидел в своей комнате на кровати, уставившись в одну точку. Перед ним, на табурете, стояла распечатанная бутылка водки и граненый стакан.

Фоменко налил полный стакан и поднес к губам. Поморщился, передернул плечами и поставил стакан обратно на табурет, продолжая сжимать его в своих крепких пальцах.

Он зажмурил глаза и помотал головой из стороны в сторону.

Его пальцы сжимали стакан все сильнее и сильнее.

Стакан со звоном лопнул...

Фоменко открыл глаза и равнодушно посмотрел на правую руку, сжимающую в кулаке осколки стекла.

Из кулака в лужу водки на табурете стекала струйка крови.

33

Фоменко долго не решался постучать, а когда, наконец, занес руку, дверь распахнулась сама, и перед ним возник пьяный, пахнущий чесноком и дешевым одеколоном лейтенант Маничев.

Упершись в ротного, черные и скользкие, как маслины, глазки Маничева испуганно заморгали. Смущенно крякнув, лейтенант вжал голову в плечи и, стараясь не задеть капитана, осторожно протиснулся между ним и дверным косяком, а затем, готовый ко всему, ежесекундно оглядываясь и проклиная переставшие слушаться ноги, понес свое обмякшее тело по коридору. С каждым шагом он нес его все быстрее и быстрее, а перед самым выходом перешел на бег и со вздохом облегчения нырнул в темноту.

Ротный вошел в комнату.

Аннушка сидела у окна спиной к двери и расчесывала волосы. Заслышав его шаги, она обернулась и смерила Фоменко холодным, равнодушным взглядом.

— Я ждала, что придешь. Вот уже неделю, как вы приехали с «боевых».

— Я слышал, но не мог поверить, — сказал он.

— Придется.

— Я и теперь не могу поверить...

— Почему? — Аннушка хохотнула. — Когда я летела сюда грузовым самолетом «Ташкент-Кабул», пьяный прапорщик, развалившийся на скамейке напротив, ткнул в мою сторону пальцем и сказал: «Еще одна б...дь»? — Она пожала плечами. — Такой хотел видеть меня здесь каждый.

— Не каждый.

— Да я хотела этого сама, Валера.

— Неправда!

— Я ненавидела себя за это. Но я хотела. Чтобы через два года вернуться домой и уже больше никогда не вспоминать о том кромешном аде, в котором я провела всю жизнь.

Аннушка смотрела куда-то мимо него.

— Я хотела забыть проклятую комнату в коммуналке, где мы ютились с больной мамой и младшим братом, — она стала загибать пальцы. — Забыть свое единственное пальто, которое еще можно было надеть, но которое я уже боялась сдавать в химчистку, потому что оно могло расползтись по швам...

— Если бы я был тогда рядом...

— Тебя не было. И я решила поехать сюда...

Фоменко затаил дыхание.

— И когда мы были нужны друг другу... Неужели ты и тогда... была готова с любым?

— Ты появился и удержал меня. Рядом с тобой я даже не смела думать, что ко мне может прикоснуться кто-то еще... Если бы ты пришел

той ночью, когда я едва не проломила Тодорову башку... — Аннушка всплеснула руками. — Боже! Я была последней дурой, когда верила, что ты придешь.

— Я не мог.

— Раб не посмел приближаться к рабыне, прогневившей хозяина, — она презрительно скривила губы.

— Ты не дождалась меня... — он медлил, словно еще надеялся на чудо. — Ты пошла к Тодорову?

— Конечно, — Аннушка передернула плечами. — Чтобы он не выпер меня в Союз... А полчаса назад в моей постели был Маничев, — Аннушка зевнула. — Вон, расплатился ящиком тушенки... Теперь ко мне может прийти любой, — продолжала она ровным бесстрастным голосом. — Как к Элке.

Аннушка снова повернулась к нему спиной и запустила в волосы гребень.

— А я пришел, потому что не мог оставаться в своей комнате один, — глухо произнес Фоменко. — Мне стало страшно...

— Тебе? Ты же храбрый офицер.

— В бою так страшно никогда не было.

Фоменко вздохнул:

— Я понял, что заплатил за майорские погоны слишком высокую цену.

Аннушка настороженно вскинула голову.

— О чем ты?

— Скорее, о ком... — тихо произнес Фоменко. — О солдате, которого я послал к кишлаку... Все слышали, как я приказал ему возвращаться. Но никто не заметил... Перед тем, как сказать это, я выключил рацию... Все думали, что он слышит меня. А он не слышал... Он покорно лежал там, где ему было приказано лежать. Он не сдвинулся с места, пока к нему не подобрались «духи»...

Аннушка поднялась.

— Ты бросил кого-то из своих людей? И ты должен был сделать это, чтобы получить майора? Но почему?!

Фоменко махнул рукой.

— Долго рассказывать... Да и незачем.

Аннушка покачала головой.

— Боже, теперь я понимаю... Почему тебе стало страшно... Я слышала где-то или читала... Кто-то сказал: «...есть вещи и хуже войны... Предательство хуже».

Фоменко медленно двинулся к двери.

— Прощай, — произнес он уже у порога.

34

Конец августа выдался жарким. Все окна в квартире были распахнуты настежь.

Корытов сидел в старом продавленном кресле и слушал «Маяк».

Страшась своей беспомощности, он почти не выходил на улицу. Зная, что мать и сама слаба глазами, очень редко просил ее читать вслух газеты. Поэтому к обшарпанному, ворчливо потрескивающему радиопомехами приемнику Рокфеллер относился как к живому и близкому существу, которое не только соглашалось по первому его желанию хоть целыми часами рассказывать о погрузившемся в кромеш-

ный мрак мире, но и заставляло порой с бьющимся от волнения сердцем замирать, если в эфир прорывалось даже самое короткое сообщение *оттуда*.

Писем от Фоменко не было уже четвертый месяц...

Каждый день, цепляясь за лестничные перила, Корытов спускался на первый этаж, на ощупь открывал почтовый ящик, висящий на стене у выхода из подъезда, и извлекал из него «Красную Звезду». Он медленно и тщательно ощупывал газету, а затем, опасаясь, что письмо могло проскользнуть мимо пальцев, опускался на колени и долго шарил руками по грязному, заплеванному полу.

35

Корытов сидел на скамейке у подъезда своей пятиэтажной «хрущевки», подставив лицо ласковому вечернему солнцу. Глаз его не было видно за стеклами дымчатых очков.

Во дворе, шумно перекрикиваясь, играли дети.

Неожиданно Корытов услышал, как детский голос у него за спиной громко произнес:

— Квартира номер двенадцать? Это во-о-н в том подъезде.

А взрослый ответил:

— Спасибо, мальчик.

Этот голос Корытов узнал бы из тысячи... Да что из тысячи! Такого больше не было ни у кого.

Корытов уже слышал звуки приближающихся к нему шагов. Дрожа от волнения, он поднялся со скамейки...

...К Корытову, широко улыбаясь, подошел Чепига в повседневной офицерской форме. Он остановился и раскинул для объятий руки.

— Здравствуйте, Евгений Иванович!

Корытов шагнул ему навстречу.

— Витя!

Они обнялись.

Глаза Чепиги лучились от счастья. Отстранившись от Корытова, он радостно хохотнул.

— Я же говорил, что зрение восстановится!

Корытов грустно улыбнулся:

— Нет, Витя. Я по-прежнему ни черта не вижу... Узнал тебя по голосу, когда ты разговаривал с мальчишкой.

Глаза Чепиги сразу потухли.

Оба присели на скамейку.

Сквозь комок, подступивший к горлу, Корытов тихо произнес:

— Спасибо, что не пожалел времени в отпуске... Навестил старого друга.

— Я не в отпуске, Евгений Иванович, — Чепига сделал паузу. — Сопровождал груз «двести» в Московскую область. А до вашего городка было рукой подать...

Корытов вскинул голову.

— Ты передавал Фоменко мой адрес?

— Конечно.

Корытов вздохнул:

— А он мне до сих пор так и не написал...

Спохватившись, Корытов добавил:

— Ты не думай, я не в обиде. У него на письма, наверное, и времени нет... Как он там? Назначили начальником штаба батальона?

Чепига кивнул:

— Назначили.

— И майора получил?

— Получил...

Корытов радостно всплеснул руками.

— Слава богу! Он так этого хотел. Вот приедет ко мне в гости...

Чепига отрицательно помотал головой.

— Евгений Иванович, он не приедет...

Корытов изумленно вскинул брови.

— Почему?

Чепига долго молчал, собираясь с духом.

— Месяц назад две роты его батальона сопровождали агитотряд у кишлака Момандхейль...

36

От дороги до густых зарослей «зеленки» было не больше ста метров.

Вдалеке виднелся афганский кишлак, в сторону которого и двигалась по дороге, проходящей мимо «зеленки», колонна бэтээров.

Один из них был переоборудован под звуковещательную станцию: рядом с люком машины торчал большой репродуктор.

На броне этого бэтээра, по бокам от репродуктора, сидели Фоменко и командир агитотряда старший лейтенант Моисеенко.

На погонах Фоменко блестели новенькие майорские звездочки.

За спинами офицеров дремал, опустив голову и прикрыв глаза, фельдшер агитотряда прапорщик Андрусевич — русоволосый, крепко сбитый белорус с аккуратными усами почти до самого подбородка.

Фоменко повернулся к Моисеенко и улыбнулся:

— Ну что? Едем агитировать дехкан за советскую власть?

Моисеенко криво усмехнулся и махнул рукой.

— Да им наша агитация — до одного места.

Он кивнул на репродуктор:

— Вы что думаете, я по этому «матюгальнику» длинные речи толкаю? Скажу пару слов, а потом запускаю музыку.

Фоменко понимающе кивнул. Он бросил на Моисеенко любопытный взгляд.

— Где учил язык? В военном институте иностранных языков?

— На восточном факультете Ленинградского универа.

Фоменко оживился:

— Так ты «двухгодичник»?

— Да. У меня срок службы кончается осенью. А потом... — командир агитотряда мечтательно вздохнул. — Потом — домой.

Фоменко хитро прищурился:

— В армии остаться не хочешь?

Моисеенко поморщился:

— Да вы что? В этом «дурдоме»? Не-е-е...

Спохватившись, он покраснел и смущенно покосился на Фоменко.

— Хотя кому-то, может, и нравится...

Фоменко сделал вид, что не принял сказанного старлеем на свой счет.

— А чего сегодня твой агитотряд сопровождают две роты? Я слышал, всегда хватало одной.

— Раньше ездили с одной. А теперь нельзя, — глаза Моисеенко стали серьезными. — Недавно наши убили брата полевого командира, который действует в этом районе. Он мстит...

— Ясно... Ну, а в самом кишлаке вас как встречают?

Моисеенко хохотнул и широко расставил в стороны руки:

— Вот так!

— Шутишь? — недоверчиво протянул майор.

— Почему? — Моисеенко кивнул на бэтээры за своей спиной. — Я же к ним с пустыми руками не езжу. У меня там полтонны риса, сорок ящиков тушенки и сотня одеял... Да они меня ждут, как отца родного!

Фоменко улыбнулся:

— Тогда понятно. Небось, заранее выстраиваются в очередь?

— В две, — уточнил Моисеенко. — В одну — за продуктами и шмотками, а в другую — к фельдшеру. Я же с собой еще и фельдшера вожу. — Он полуобернулся к Андрусевичу. — Вон, Францевича.

Андрусевич, услышав свое отчество, открыл глаза.

Командир агитотряда ухмыльнулся:

— Он им, правда, от всех болезней дает одну и ту же таблетку. Но они-то этого не знают!

Андрусевич ухмыльнулся в ответ.

Из «зеленки» прогремела автоматная очередь.

Голова Андрусевича дернулась, и прапорщик медленно повалился набок. Из-под его пробитой пулей кепки на лбу выступила кровь...

По броне бэтээра защелкали пули.

Фоменко спрыгнул на землю и громко крикнул:

— К бою!

Заняв оборону вдоль дороги, солдаты и офицеры вели ответный огонь по «зеленке».

Моисеенко, вжавшись в придорожную пыль, стрелял из АКСа.

Он повернул голову к Фоменко и с удивлением посмотрел на майора, который лежал метрах в трех от него.

Фоменко, привстав, напряженно всматривался в заросли, из которых гремели очереди.

Несколько пуль вспороли землю рядом с ним, но майор даже не подумал пригнуться. В его широко раскрытых глазах зияла пустота, а на губах играла безумная улыбка.

Фоменко прошептал:

— Их совсем мало... Скоро они уйдут...

Рядом с ним и Моисеенко вспыхнуло сразу несколько фонтанчиков от пуль. Командир агитотряда со страхом вжал голову в землю. Недоуменно косясь на Фоменко, он крикнул:

— Товарищ майор! Что вы делаете? Ложитесь!

Фоменко словно не слышал его. Он снова прошептал:

— Скоро они уйдут...

Крепко сжимая в руках автомат, майор медленно поднялся в полный рост.

Моисеенко, прижавшись щекой к земле, смотрел на Фоменко, как на сумасшедшего.

Приладив у бедра автомат, майор сделал шаг в сторону «зеленки».

Мосеенко истошно завопил:

— Товарищ майор! Куда вы?!

Выпустив из автомата короткую очередь, Фоменко сделал еще один шаг в сторону «зеленки», и еще...

Стреляя короткими очередями, он шел все быстрее и быстрее.

Моисеенко снова крикнул ему вслед:

— Товарищ майор!

Пуля сбила с головы Фоменко кепку, но он, даже не обратив на это внимания, продолжал упрямо двигаться вперед.

Еще одна пуля попала ему в правую ногу — чуть ниже колена. Застонав, Фоменко споткнулся и упал. Но через несколько секунд, превозмогая боль, снова встал. Сильно припадая на раненую ногу, Фоменко упрямо двигался к зарослям «зеленки».

Опять выпустил из автомата короткую очередь.

В ответ из «зеленки» прогремела длинная.

Пуля попала Фоменко в голову, и он со всего маху рухнул на землю...

37

Корытов откинулся на спинку скамейки. По его щекам текли слезы.

Смахнув их тыльной стороной ладони, Корытов откашлялся и спросил:

— Зачем он это сделал, Витя?

Чепига пожал плечами:

— Не знаю, Евгений Иванович... Никто не знает.

— Он не мог разлюбить жизнь... Его мечта сбылась. Валерке было ради кого жить.

— Его сын не знает, как все произошло. Я рассказал Андрею, что его отец... — Чепига запнулся, подбирая слова. — В общем, что он погиб в бою, как герой... Я сопровождал гроб с телом Фоменко в его родной город.

— Андрей похож на отца?

— Очень. И очень им гордится. Он собирается поступать в то же военное училище, которое закончил Фоменко...

Чепига положил на плечо Корытова руку.

— О том, что у его отца был друг, я Андрею тоже рассказал. Он хочет встретиться с вами. Сказал, что обязательно приедет в гости. Адрес я ему оставил...

— Я сам поеду к Андрею, — решительно произнес Корытов. — Мы должны побывать на могиле его отца. Вместе...

38

Аэровокзал провинциального российского города с самого утра был набит битком.

Среди пассажиров прибывшего рейса, постукивая палочкой по бетонным плитам пола, к выходу из терминала пробирался Корытов.

У выхода, в толпе встречающих стоял в новенькой парадной форме и первокурсник военного училища Андрей Фоменко.

Увидев в дверном проеме Корытова, Андрей сразу узнал его, широко заулыбался и бросился ему навстречу.

Когда Андрей оказался в паре шагов от Корытова, тот, почувствовав его приближение, замер на месте.

Андрей тоже остановился.

Корытов уверенно произнес:

— Андрей?

— Я, Евгений Иванович. Здравствуйте.

— Здравствуй.

Они обнялись.

Отстранившись, Корытов улыбнулся и прикоснулся пальцами к его погонам.

— Я хоть и не вижу, но уверен... Форма сидит на тебе так же, как на отце, — словно ты в ней родился.

39

В глубине городского кладбища стоял скромный гранитный обелиск с овальным портретом Фоменко, увенчанный пятиконечной звездой.

Положив к подножью памятника цветы, Корытов и Андрей с полминуты стояли молча.

Затем оба опустились на скамейку рядом с могилой.

Корытов достал из внутреннего кармана пиджака тощенькую пачку фотографий и протянул Андрею.

— Это я привез тебе. Возьми.

Андрей бережно принял из его рук снимки и тут же начал разглядывать их.

На одной фотографии Фоменко был запечатлен вместе с Корытовым.

Андрей повернулся к нему.

— Здесь есть фотка, где он с вами...

Корытов оживился и улыбнулся.

— Там мы стоим в обнимку? Я — в тельняшке, а сбоку у меня болтается большу-у-ущая кобура?

Андрей, тоже заулыбавшись, кивнул.

— Ага.

Он закатал рукав кителя. На запястье руки тускло блеснули старенькие часы с потертым кожаным ремешком.

— Чепига тоже привез мне кое-что на память об отце. Его часы.

Корытов покачал головой.

— Знаю... Командирские, со светящимся циферблатом. Стекло треснуто в двух местах...

— Да, они.

— Часам досталось, когда его бэтээр перевернулся и едва не рухнул в пропасть. В Панджшерском ущелье...

Изменившись в лице, Андрей жестко сузил глаза.

— Я бы тоже хотел попасть туда...

— Зачем? — Корытов горько усмехнулся. — Чтобы отомстить?

— Да.

Корытов положил на плечо Андрея свою руку.

— Не надо, Андрей. Воздавать у нас права нет. Никому и ни за что... А туда ты уже не попадешь, — он облегченно вздохнул. — Войска будут скоро выводить. — Корытов тряхнул головой. — И слава богу!

40

Передние бэтээры колонны, хвост которой терялся на другом берегу реки, уже съехали с моста через Аму-Дарью и двинулись по дороге, вдоль которой стояли сотни людей.

Люди махали руками, радостно улыбаясь и забрасывая машины цветами. Над толпой встречающих алели транспаранты: «Интернациональный долг выполнили с честью!», «С возвращением домой!»

Недалеко от дороги, в стороне от встречающих колонну людей, переминался с ноги на ногу корреспондент Центрального телевидения Лущинский в белоснежной рубашке с приспущенным по случаю жары галстуком. Он держал в руке микрофон, готовясь начать репортаж.

Молодой оператор с большой телекамерой на плече уже замер напротив него, нетерпеливо ожидая команды.

Лущинский пригладил ежик седых волос, поправил галстук, откашлялся и бросил оператору:

— Ну что, готов?

Оператор кивнул.

— Да.

Корреспондент махнул рукой.

— Тогда поехали!

Расправив плечи, Лущинский громким и хорошо поставленным голосом произносил в камеру текст, который написал еще в Москве и, пока летел в самолете, выучил назубок:

— Сегодня, согласно решению Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и Советского Правительства, начался вывод Ограниченного контингента наших войск с территории Республики Афганистан.

Полуобернувшись к колонне, передние бэтээры которой уже появились за его спиной, Лущинский уверенно продолжал:

— Мы видим колонну воинской части, которой командует полковник Тодоров... Она первой пересекла линию государственной границы и оказалась на родной земле. Воинов-интернационалистов, с честью выполнивших свой долг, встречают жители приграничного Термеза...

В люке передней машины колонны стоял полковник Тодоров. Широко улыбаясь, он прижимал одной рукой к груди огромную охапку цветов, а другую держал у козырька кепки, отдавая встречающим честь.

За его спиной на броне восседал Поташов. Гордо расправив плечи, он смотрел куда-то вдаль.

Один за другим мимо людей ехали на бэтээрах майор Николаев, капитан Чепига, старший лейтенант Маничев, прапорщик Венславович...

В колонне двигалась и машина, на которой сидели, прижавшись друг к дружке, переодетые в военную форму без знаков различия Эллочка и Аннушка.

Эллочка кокетливо вертела головой из стороны в сторону и жеманно поводила плечами, наслаждаясь вниманием такого большого числа людей.

А Аннушка, сгорбившись и уткнув подбородок в колени, даже не смотрела по сторонам. На ее щеках блестели слезинки.

Она запустила руку за воротник куртки, достала нательный крестик и поцеловала его...

Борт еще одного бэтээра облепили солдаты-саперы. Опершись о плечи друзей, привстав и вытянув худую шею, рядовой Точилин взволнованно и напряженно шарил глазами по толпе. Он явно искал в ней кого-то.

У дороги стояла женщина в черном платье и черном платке. Она вглядывалась в лица солдат, каждый из которых годился ей в сыновья.

Она получила «похоронку» на сына еще год назад. Но гроба с его телом в деревню под Курском так и не привезли. Никто — ни в районном военкомате, ни в областном, ни даже в Москве, куда она ездила дважды, — так и не смог объяснить, почему. Разные люди — в погонах и без погон — пряча глаза, обещали выяснить. И просили ее ждать.

Пока она ждала, ее мальчик был для нее живым...

...Точилин радостно вскрикнул, спрыгнул с брони на землю и, сломя голову понесся в сторону, где маячила эта женщина.

Но бежал он не к ней.

Рядом с женщиной в черном стояла еще одна — в красивом, нарядном платье.

Она охнула, всплеснула руками и, отделившись от толпы, кинулась навстречу Точилину.

Солдат летел к ней, как на крыльях, и, махая руками в воздухе, кричал:

— Мама!

Мать и сын бросились в объятия друг к другу.

Мать покрывала поцелуями его лоб, губы, щеки и шею и торопливо ощупывала худенькие плечи солдата, словно не веря, что сжимает в своих объятиях сына.

Женщина в черном стояла всего в нескольких шагах от них.

В ее глазах еще теплилась надежда...



Поэтическая мозаика



ВАЛЕНТИНА ГИРУТЬ-РУСАКЕВИЧ

* * *

Листвой осенней годы шелестят
И отлетают в ласковую Вечность.
А чувства остывать все не хотят,
Но вот пришла расплата за беспечность.

А я все наше лето вспоминаю:
И солнца луч, и нежность неземную.
И горевать ли? — я уже не знаю,
Пока пишу, пока еще живу я...

И если сердце чья-то боль тревожит,
Последняя все ж песня не пропета.
Да, отгорело лето, но, быть может,
Еще меня согреет бабье лето.

* * *

С тобой непросто, хуже — без тебя.
Мне душу одиночество тревожит,
И сердце разрывается, любя,
И нашу встречу отложить не может.

Так холодно, хоть август на дворе.
Изранена душа, и не однажды.
Согрей хоть словом, чтоб и в октябре
Им утолять томительную жажду.

С тобою праздник даже в будний день,
А без тебя все праздники — как будни.

И коль судьба несет разлуки тень,
То как мне жить на свете многотрудном?..

Маяк окна зажгу я, не спеша,
У ночи попрошу для нас союза.
Открыта дверь. Распахнута душа.
Входи,
поэзии живительная Муза!

Там, в детстве

Там реки еще полноводные,
Там пышно цветут сады.
Мне птицей лететь быстролетною
Туда, где мои следы
На полевой тропинке,
Что убегает в рожь.
Хочется мне по старинке
Детство окликнуть все ж.
Может, оно услышит,
Может, вернет весну,
Аиста, что на крыше,
Летнюю тишину,
Рыжую осень, зимы,
Дивный пейзаж в окне...

Жалко, что те картины
Видятся лишь во сне.



АННА МИКЛАШЕВИЧ

* * *

А стихи рождаются, как дети:
С нежною, открытою душой.
Их начало — не на этом свете,
А на небе, чистом и большом.

Этот — словно полнится тревогой,
Этот — о несбывшемся скорбит,
Этот — так и просится в дорогу,
Этот — чувства, мысли бередит.

Этот — с неуемною мечтою,
Этот — о возвышенной любви,
Что сметает горы пред собою,
Полыхает пламенем в крови...

Запоет (или заплачет) ветер —
И проснется этот мир большой...
А стихи рождаются, как дети:
С нежною, открытою душой.

* * *

Пусть для тебя я буду недотрогою,
Девчонкою с каштановыми косами...
Как будто рожь, что зреет за дорогою,
Любовь моя колышется меж росами.

И мы когда-то жили поцелуями,
Встречали ночи радостно-напевные,
И наши чувства растекались струями...
Ты звал меня своею королевною.

Хотя ветра когда-то нас сосватали,
Бокалы счастья — не со мною выпиты.
И ты с другой... Но разве виноваты мы,
Что наши дни суровой нитью вышиты...

А сны-мечты — широкою дорогою,
Как будто по костру ногами босыми...
Пусть для тебя я буду недотрогою,
Девчонкою с каштановыми косами...

* * *

...А все еще будет: когда-то мы вспомним
И пение птиц, и березок молчанье.
У времени, судеб, у Бога отмолим
Надежду на наше с тобою свиданье.

А все еще будет. Когда-то мы вспомним
Чудесные дни под любви небосводом.
У времени, судеб, у Бога отмолим
Надежду на нашу с тобою свободу.

А все еще будет... Когда-то мы вспомним
И встреч, и разлук то счастливое бремя.
У времени, судеб, у Бога отмолим
Надежду на нашу с тобою Поэму.

А все еще будет... Когда-то мы вспомним
Вечерний туман и зарю озорную.
У времени, судеб, у Бога отмолим
Надежду на нашу Любовь Неземную.

А все еще будет...



АЛЕКСАНДР БЫКОВ

В родных местах Максима Танка

Я пришел поклониться местам,
Где безбрежило Танково лето.
Вновь встречают меня два креста
На последнем приюте Поэта.

Монотонно дождинки шуршат,
Птиц не слышно — лишь ветер колючий.
А Поэта все светит душа,
Пробивается даже сквозь тучи.

Урожайно встречают сады,
Несмотря на природы конфузы,
Но и там, за порогом беды,
Песняру невозможно без Музы...

Я пришел поклониться местам,
Где безбрежило Танково лето...
Провожают меня два креста,
Те, что сон охраняют Поэта...

Камни

Не забудь свое поле вспахать —
Поле жизни, с ухабами.
Время камни уже собирать,
Если руки не слабые.

Не ленись милой номер набрать
Ты из города шумного.
Время камни пришло собирать,
Коль не сеял разумного.

А сомнений насупится рать,
Не сдавайся пока еще.
Время камни пришло собирать,
И молиться, и каяться.

Не забудь руку друга пожать.
Там, на небе, зачтется, услышится,
И, даст Бог, еще что-то напишется...
Время камни придет собирать.

Перевод с белорусского Миколы ШАБОВИЧА.



Здесь земля такая

Беседа главного редактора журнала «Нёман» Алеся Бадака с Председателем Минского областного исполнительного комитета Борисом Васильевичем Батурой

— Борис Васильевич, наш разговор хочу начать с вопроса, который волнует меня и, думаю, многих писателей. Бумажную книгу сегодня все чаще заменяет электронная. Журналы перестают выписывать — просматривают в интернете. Как вы относитесь к этим веяниям времени? Зная о вашей большой загруженности, все же спрошу: остается ли у вас время на периодику?

— От веяний времени никуда не уйти. Тиражи печатных изданий падают во всем мире, наша страна не исключение. Интернет стал частью нашей обыденной жизни и продолжает вытеснять с рынка традиционные СМИ. Было бы наивно надеяться на то, что человек, имея возможность найти во всемирной паутине любое издание, побежит тратить деньги на газеты, журналы, книги. Думаю, все, кто причастен к выпуску печатных изданий, должны быть готовы к тому, что эта индустрия в недалеком будущем сдаст свои позиции. Но в этом нет никакой катастрофы. Просто нужно принять правила игры и начать активнее внедрять электронные технологии. Здесь, конечно, возникает проблема, касающаяся защиты интеллектуальной собственности от пиратских публикаций. На ее решение, на мой взгляд, и нужно направить усилия. Тогда каждое издание, каждый писатель и журналист смогут получать вознаграждение за свой труд, опубликованный в интернет-сети. Таким образом, творческому процессу, по большому счету, ничего не угрожает. Другое дело, что люди, особенно молодежь, вообще стали намного меньше читать. Поэтому сегодня проблема уже не в том, в каком виде (электронном или печатном) человек знакомится с литературой, а в том, чтобы окончательно не потерять читателя как такового, прежде всего школьников и молодежь.

Но, на мой взгляд, каким бы всепоглощающим ни был интернет, вряд ли книги когда-либо окончательно исчезнут. Многие ни за что не променяют удовольствие насладиться литературой, держа в руках именно книгу, а не ноутбук или планшет. Вряд ли умные и заботливые родители перестанут читать детям сказки и рассматривать вместе с малышами картинки в книгах.

Нахожу ли я время читать периодику? Тут лукавить нечего. До литературных журналов руки не доходят, а вот газеты читаю регулярно. Это часть моей работы: из газет нередко узнаешь то, что не узнаешь из докладов подчиненных.

— Для литературы традиционны поиски героя нашего времени. А каким он видится вам? Где бы вы предложили искать героев современным писателям?

— Там же, где его искали классики — в народе. Ведь природа человека не меняется. Всегда были и будут жадность, ложь, несправедливость, трусость, равнодушие, пошлость, чванство и прочие малопривлекательные порождения человеческой натуры. А герой — это тот, кто посвящает свою жизнь чему-то светлому, стремится сделать добро другим людям. Разве в нашем обществе таких не найти? Что, если нет ни войны, ни революции, так и писать не о чем и не о ком? Думаю, дело не в отсутствии героя нашего времени, а в неспособности его разглядеть и, самое главное, представить.

— Давайте обратимся, так сказать, к прозе жизни. Известно, что эффективное управление регионом во многом зависит от реализации стратегически важных проектов. На какие инвестиционные проекты делает ставку сегодня Минская область? Что для вас, как руководителя области, является приоритетом в этой сфере? И, если можно, расскажите о нескольких проектах, наиболее интересных и значимых с вашей точки зрения.



Председатель Минского областного исполнительного комитета Борис Васильевич Батура.

— Наиболее масштабным совместным проектом не только для Минской области, но в целом для Беларуси, является строительство Китайско-Белорусского индустриального парка. Его концепция предполагает создание фактически целого города с производственными, жилыми, административными объектами. Основным элементом для обеспечения инвестиционной привлекательности такого образования (помимо специального правового режима) является готовая инфраструктура, а также система управления.

27 августа 2012 года учреждена Управляющая компания парка — Китайско-Белорусское СЗАО «Компания по развитию индустриального парка». Сюда входят китайская инжиниринговая компания САМСЕ, которой принадлежит 60 % акций, Минский облисполком (30 %) и ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» (10 %).

Китайскими акционерами подготовлена концепция генерального плана парка, которая по заказу совместной компании адаптирована к белорусскому законодательству. Совет Министров утвердил генеральный план в июне этого года. Первый этап строительства парка — две площадки: северная (промышленно-логистическая) и южная (административно-жилая). Сейчас ведется поэтапное проектирование магистральной транспортной и инженерной инфраструктуры северной площадки.

Одновременно проводится работа по привлечению инвесторов. Уже около 15 потенциальных инвесторов изъявили желание работать на территории индустриального парка. В качестве перспективных проектов рассматриваются инновационные проекты в области электроники, точного машиностроения, фармации и др.

Создан интернет-сайт индустриального парка, подготовлены презентационные ролики, брошюры на английском, русском, китайском языках, проводятся презентации на различных площадках Беларуси, Китая и других стран.

Учитывая широкие возможности рынка Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана, а также соседних европейских стран, удобное географическое расположение парка, стабильный и гарантированный благоприятный инвестиционный климат и, кроме того, белорусский рынок труда, который представляет дисциплинированные и квалифицированные кадры, перспективы развития индустриального парка весьма значительные.

Китайские и другие зарубежные компании найдут в Беларуси надежную платформу для вывода своей продукции на 170-миллионный рынок стран

Успешные инвестиционные проекты Минской области

• Организация производства мебели в Борисове иностранным ООО «СВУДС экспорт», где уже работает 200 человек, а к моменту завершения проекта численность работающих составит 300 человек. Предприятие будет полностью ориентировано на рынок дальнего зарубежья.

• Строительство в Минском районе комплекса по производству технических жидкостей, моющих средств промышленного и бытового назначения СООО «М-Стандарт». В результате создано 38 новых рабочих мест.

• Модернизация и увеличение существующих мощностей сушильного производства ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Создано 7 высокопроизводительных рабочих мест.

• Организация ОДО «Белавтозапчасть» производства трубы стальной холоднотянутой хонингованной и развитие производства гидроцилиндров в Жодино. Создано 114 рабочих мест.

• Ввод в действие механозаготовительного цеха для организации производства вилочных погрузчиков и электротележек ЗАО «Амкодор-Уникаб» в Молодечненском районе. Создано 11 высокопроизводительных рабочих мест.

• Производство насосов-дозаторов ЗАО «ПМИ Групп» на территории ОАО «Дзержинский мотороремонтный завод». Создано 19 высокопроизводительных рабочих мест.

• Производство хлебобулочных изделий иностранным предприятием «Продовольственная мануфактура» в Минском районе. В настоящее время среднесписочная численность работников предприятия составляет около 90 человек.

• Производство рулонной флексоупаковки обществом «МастерФлекс» в Минском районе (импортозамещающая продукция). В производстве заняты около 50 человек.

• ООО «Белор-Дизайн» начинает производство декоративной косметики в городском поселке Радошковичи Молодечненского района. Численность работающих составит 110 человек.

Таможенного союза на беспошлинной основе, а также смогут значительно сократить временные и транспортные издержки при выходе на рынок стран Евросоюза.

Еще один значимый не только для Минщины, но и для республики проект по созданию производства железнодорожного и городского пассажирского электрического транспорта. Он реализуется совместно Управляющей компанией холдинга «Белкоммунмаш» и компанией «Stadler Rail AG» (Швейцарская Конфедерация). Основная цель этого инвестиционного проекта — организация на территории Республики Беларусь производства железнодорожного городского и пассажирского электрического транспорта. В городском поселке Фаниполь Дзержинского района сейчас идет строительство нового современного завода, первая очередь которого должна быть возведена к 2014 году.

Есть и другие проекты, на реализацию которых привлекаются значительные объемы инвестиций. Например, «Минскэнерго» планирует направить порядка 800 млрд. рублей на реконструкцию котельного цеха № 3 и строительство парогазовой установки Жодинской ТЭЦ в Борисове. «БелАЗ» планирует направить инвестиции на реализацию проекта по созданию мощностей и увеличение объема производства и реализации карьерных самосвалов грузоподъемностью 450 тонн. Продолжается инвестиционный проект по созданию производства твердых лекарственных форм на Борисовском заводе медицинских препаратов. Расширение производственной базы по производству алюминиевых профилей на территории Мин-

ского района осуществляет ООО «Алюминтехно». Строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству панелей для секционных ворот производит ООО «Алютех Воротные системы».

Хочу подчеркнуть, что реализация стратегически важных инвестиционных проектов, направленных на преимущественное вложение средств в модернизацию действующего производства и создание новых высокотехнологичных производств, позволит нам повысить конкурентоспособность отечественной экономики.

— Борис Васильевич, вы неоднократно подчеркивали важность дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в Минской области. И насколько я знаю, вы поставили задачу: к 2015 году они должны приносить в бюджет 50 % поступлений от налогоплательщиков. Бесспорно, планка поднята высоко, поэтому хотелось бы знать, как идет этот процесс, какие меры поддержки и помощи оказываются предпринимателям?

— В области реализуется Программа государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Минской области на 2013—2015 годы, которой предусмотрена государственная финансовая поддержка субъектов малого бизнеса на сумму 43,5 млрд. рублей. За полгода действия программы она представлена 9 субъектам малого предпринимательства и для реализации их инвестиционных проектов уже направлено в общей сложности 8 млрд. рублей.

Отмечу, что в прошлом году завершена реализация Программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Минской области на 2010—2012 годы. В рамках программы оказана государственная финансовая поддержка 39 субъектам малого предпринимательства. Если говорить в цифрах, то это примерно 15 млрд. рублей, которые позволили создать более 370 новых рабочих мест.

Приведу несколько конкретных примеров. Так, обществу с ограниченной ответственностью «Березино продукт» оказана финансовая поддержка в виде льготных кредитов (1,6 млрд. рублей) для строительства цеха по производству заменителя цельного молока. В результате предприятие увеличило объемы производства продукции на 77,1 миллиарда рублей и получило прибыль в размере 13,6 миллиардов рублей, а сумма уплаченных налогов, поступивших в госказну, составила 2,7 миллиарда рублей.

Унитарному предприятию «Пластизделие» (Узденский район) предоставлена поддержка в виде субсидий и льготного кредита (1,5 млрд. рублей), что позволило приобрести новейшее оборудование для производства ковриков из полиэтиленового модуля. Объемы выпускаемой продукции увеличились, и по итогам прошлого года получена прибыль в размере 1 млрд. рублей.

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности» в 2012 и в первом полугодии 2013 года льготами и преференциями воспользовались более двух тысяч субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в населенных пунктах области с численностью населения до 50 тысяч человек.

Для того, чтобы количество предпринимателей и, соответственно, поступлений от них в бюджет, а также для организации новых производств товаров (работ, услуг) собственного производства в 2013 году росло, в регионах области планируется оборудовать производственной инфраструктурой промышленные площадки. Например, строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к промышленной площадке в агрогородке Гатово общей площадью порядка 120 га.

На мой взгляд, предоставляемые льготы, преференции, иные виды поддержки бизнеса позволят предприятиям-производителям обновить основные фонды, модернизировать производства, и, как следствие, увеличить объем выпуска продукции, повысить ее качество, сделав ее более конкурен-



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручает Б. В. Батуре орден «Славы и Чести».

тоспособной на внутреннем и внешнем рынках. Появится больше предпринимателей, они будут приносить больше денег в бюджет области.

— Ваш стиль управления кабинетным никак не назовешь. Например, приемы граждан, которые вы часто проводите дважды в месяц вместо регламентированного одного, причем, обычно совмещая выезды в районы с посещением предприятий. С какими вопросами чаще всего приходят к вам люди? Как решаются их проблемы? Можно ли как-то оценить эффективность этой работы?

— Тематика заявлений и жалоб за последние годы не изменилась. Большинство вопросов традиционно касаются работы жилищно-коммунального хозяйства. Часто граждане недовольны сроками проведения капитального ремонта и тепловой реабилитации жилых домов, благоустройством придомовых территорий и населенных пунктов. В этом году в связи с дождливой погодой чаще обращаются с вопросами о подтоплении домов и участков.

Не все проблемы решены по водоснабжению. Жители городских кварталов частной застройки и маленьких деревень настаивают на прокладке водопроводов за бюджетные средства. Мы оказываем, при возможности, помощь, но при этом иногда предлагаем людям проявлять инициативу и создавать потребительские кооперативы для прокладки к их домам водопроводов. (Примечание: газопроводы только через кооперативы! 70 % — государство, 30% — граждане).

Застройщики новых районов индивидуальной застройки обращаются по вопросам строительства инфраструктуры, это в основном касается Минского, Смолевичского, Дзержинского и Солигорского районов. В нынешнем году выделены средства на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры (в первую очередь — дорог и линий электропередачи) в населенных пунктах Минского района.

Среди обращений по жилищным вопросам значительное место занимают заявления граждан по проблемам, возникшим в ходе строительства ЖСПК и кредитования строительства, улучшения жилищных условий. Многодетные семьи и те, кто остался без попечения родителей, часто обращаются с просьбой о решении их жилищных проблем во внеочередном порядке. Мы внима-

тельны к каждому заявителю, но вместе с тем предлагаем действовать самим активнее, проявлять инициативу, брать земельные участки и строить дома.

В последнее время увеличилось число обращений по вопросам приватизации или приобретения жилья, принадлежащего сельскохозяйственным организациям. Указом Президента Республики Беларусь от 17 июня 2011 года № 253 определено, что сельскохозяйственными организациями могут быть проданы дома, построенные с привлечением средств государственной поддержки. Однако граждане не всегда соглашаются с решением высшего органа управления хозяйственного общества или собственника имущества частного унитарного предприятия, которым чаще всего устанавливается обязательный срок работы гражданина, желающего приватизировать жилье на предприятии. Много нареканий вызывает и высокая оценочная стоимость жилых домов.

Регулярно обращаются ко мне в ходе приемов представители юридических лиц, которые обращаются с просьбой о продлении сроков инвестиционных договоров и выделении дополнительных земельных участков для расширения производства. Ни одно обращение не остается без внимания и, в соответствии с законодательством, принимаем решения.

Работа с обращениями граждан в облисполкоме и в регионах области строится на системной основе. В подтверждение сказанному — уменьшение числа повторных обращений, значительное уменьшение проблем в масштабе населенного пункта.

Сегодня поступающие обращения, в основном, касаются желания людей создать комфортные условия для быта и повысить уровень жизни. Но и здесь человек должен приложить собственные усилия для создания таких условий для себя и своей семьи. По этому поводу очень хорошо сказал Максим Горький: «Когда человеку лежать на одном боку неудобно — он переворачивается на другой, а когда ему жить неудобно — он только жалуется. А ты сделай усилие: перевернись!».

— У уроженца Минщины поэта Максима Танка есть замечательное стихотворение о том, как три мужика долго ходили по свету в поисках счастья, устали, прилегли отдохнуть. Услышали необыкновенную музыку, но не могли понять, откуда она звучит, пока один из них не приложил ухо к земле: «Браткі! Тут зямля такая!» «Зямля такая», действительно, славится не только достижениями в труде, но и своей культурой...

— Да, Минщина — воистину уникальный край. На протяжении нескольких столетий славу земли минской приумножали представители известных родов Радзивиллов, Сапегов, Тышкевичей, Огинских, Прушинских, Ваньковичей, Ельских, Чапских. К истокам культуры Минщины восходит неотъемлемый символ Беларуси — слуцкие пояса. С Минщиной связаны имена и судьбы многих выдающихся деятелей — просветителя и гуманиста Сымона Будного, композиторов Станислава Монюшко и Михала Клеофаса Огинского, мастеров поэтического слова Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Танка и многих других.

Минщина богата памятниками. Сегодня в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь включен 661 материальный недвижимый объект региона. Мы по праву называем Несвиж городом-музеем, в котором на каждом шагу нас встречают чудом сохранившиеся памятники архитектуры разных эпох. Несвижский дворцово-парковый комплекс включен в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Также на территории Минской области находятся известные памятники архитектуры и истории, к примеру, бывший костел при монастыре доминиканцев в Клецке, комплекс бывшего монастыря бернардинцев в Будславе Мядельского района, дворцово-парковые ансамбли в деревне Станьково Дзержинского района и деревне Прилуки Минского района, связанные с графским родом Чапских, костел Святого Иосифа и дворцово-парковый ансамбль в Воложине, связанные с княжеским родом Тышкевичей.

Минщина известна мемориальными комплексами «Хатынь», «Курган Славы», «Дальва», «Дзержиново», «Линия Сталина», памятным местом, связанным с событиями войны 1812 года, в деревне Студенка Борисовского района (знаменитая переправа наполеоновской армии через реку Березину).

Статус историко-культурной ценности имеют 5 объектов нематериального культурного наследия: колядные обряды «Цари» деревни Семежево Копыльского района и «Тянуть Коляду на дуб» деревни Новины Березинского района, коллективы «Глыбокія крыніцы» деревни Закальное, «Паваляхі» деревни Обчин, «Журавушка» деревни Яминск Любанского района, обряд «Щедрец» деревни Рог Солигорского района и традиция закладного ткачества деревни Семежево Копыльского района. Уникальный обряд «Цари» включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня на территории области функционируют 23 государственных музея областного и районного подчинения. На Минщине эффективно возрождаются и развиваются такие самобытные ремесла, как ткачество, вышивка, гончарство, бондарство, лозоплетение, соломоплетение, резьба по дереву, вытинанка и другие. Сегодня здесь плодотворно работают около четырех тысяч народных мастеров — они представляют более 40 направлений декоративно-прикладного искусства. Неотъемлемой частью культурной жизни региона стали такие праздники-конкурсы как «Гліняны звон», «Саламяныя дзівосы», «Матчыны кросны», «Папяровыя карункі», «Беларуская лялька», «Сонечная цеплыня дрэва» и другие. 21 сентября мы презентовали новый масштабный творческий проект — областной праздник «Слуцкія паясы», который должен стать самым ярким праздником традиционного искусства на Минщине.

Ежегодно мы проводим более 20 культурных мероприятий областного и республиканского значения. Среди наиболее ярких и масштабных — Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно. На протяжении многих лет истинных ценителей классической музыки собирают республиканские праздники музыки и искусств в Заславле и Несвиже. Еще один творческий проект с участием заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра Беларуси — областной праздник искусств «Палескія сустрэчы» — прошел в октябре в Любанском районе. «Палескія сустрэчы» представили творчество лауреатов специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, лауреатов и дипломантов международных и республиканских конкурсов.

С 2010 года Несвиж стал местом проведения «Вечеров Большого театра в замке Радзивиллов». В числе новых фестивальных мероприятий — областной праздник «Нясвіжскі фэст», который успешно прошел в 2012 году, объединив народную музыку, фольклор и декоративно-прикладное искусство. Также область известна масштабными культурными форумами: это областные фестивали театрального творчества «Чароўны куфэрак» и «Бярэзінская рампа», хорового искусства «Пеўчае поле», хореографического искусства «Карагод сяброў». Областной фестиваль джазовой и эстрадной музыки «JAZZ-TIME» является единственным в стране детским джазовым фестивалем-конкурсом, вышедшим на международный уровень и сумевшим пригласить к сотрудничеству джазовые школы из России и Швеции. Всю жанровую палитру народного искусства объединяет ежегодный областной фестиваль народного творчества «Напеў зямлі маёй», который проводится с 2001 года. В этом году он посвящен 75-летию со дня рождения народного артиста Советского Союза, председателя Белорусского союза композиторов, уроженца Минщины Игоря Михайловича Лученка.

Все эти творческие конкурсы, фестивали практически по всем жанрам искусства направлены на то, чтобы в каждом регионе Минщины культурная жизнь была яркой и насыщенной.



Открытие комплекса «Боровлянская средняя школа — детский сад».

— В следующем году Заславль станет столицей Дня белорусской письменности. Можно ли уже сегодня сказать о планах по поводу подготовки к этому празднику?

— Меняя города и адреса, этот праздник несет свою высокую духовность и свой глубинный смысл, способствует сохранению богатого наследия прошлого, национальной культуры, возвышению родного слова. В разные годы столицами праздника становились центры белорусского просвещения, которые расположены в Минской области — это Несвиж, Заславль и Борисов.

В следующем году День белорусской письменности во второй раз пройдет в древнем Заславле. Мы имеем значительный опыт проведения различных праздников искусства и культуры в наших городах и районных центрах. Тем не менее, мы осознаем всю полноту ответственности, возложенную на нас в связи с предстоящим Днем белорусской письменности в Заславле в 2014 году. Смысл всей подготовительной работы к празднику заключается в том, чтобы он сполна послужил делу духовного единения, расширению просветительской деятельности и подарил всем незабываемые встречи с учеными, литераторами, издателями, мастерами искусства и представителями духовенства.

Уже сегодня в этом направлении задействованы усилия всех заинтересованных служб и ведомств. Определяются объемы работ по восстановлению исторического облика города. Планируется провести реконструкцию историко-культурного музея-заповедника «Заславль», который сегодня представляет сложную систему объектов и охранных территорий. Здесь находятся 113 га старинной части города и такие памятники истории и архитектуры, как городищи «Замэчак» и «Вал» с бывшим кальвинским собором. Это один из интереснейших историко-культурных комплексов республики.

Будут внесены некоторые коррективы в генеральный план развития города. В ходе подготовки города к областным дожинкам в 2014 году благоустроят многие важные социально-культурные объекты и территории.

Конечно же, в нынешних экономических условиях будет непросто осуществить задуманное, но, объединив усилия и возможности всех, мы постараемся, чтобы наш древний Заславль предстал в день этого праздника во всей красе и стал еще более известным и популярным.

ТАТЬЯНА ЛАЗОВСКАЯ

Туристическими маршрутами Минщины

Нарочанской жемчужине — достойную оправу

Где отдохнуть: на дорогих зарубежных курортах или дома, в Беларуси? Соотечественники все чаще отдают предпочтение родным местам, например, таким как Нарочь. В ближайшей перспективе Нарочанский край сможет конкурировать с известнейшими мировыми курортами. Во всяком случае, такая задача поставлена Государственной программой развития Нарочанской курортной зоны, которая реализуется с 2011 года. Но для этого, безусловно, отечественной жемчужине необходима соответствующая оправа. В регионе активно работают над созданием инфраструктуры, комплекса оздоровительных, культурно-развлекательных, туристических услуг. В последнее время здесь появилось много интересных, привлекательных и познавательных для отдыхающих объектов.

На территории Национального парка «Нарочанский» между озерами Мястро и Нарочь на 16 гектарах раскинулся единственный в республике дендрологический сад. Территория массива разделена на несколько ботанико-географических зон (Европа, Дальний Восток, Средняя Азия, Крым, Кавказ, Америка), где представлена растительность этих регионов — всего около 400 видов. Здесь же расположен и Музей леса. Его экспозиция разделена на шесть частей, которые представляют основные породы деревьев, что растут в белорусских лесах.

Как отметил губернатор Минской области Борис Батура, в центральном регионе созданы все предпосылки для развития агротуризма. Только в прошлом году в области появились 73 новые агроусадьбы, которые приняли 85 тысяч человек. Всего же на Минщине зарегистрировано 412 субъектов агроэкотуризма, которые принесли более 18 млрд. рублей выручки. Например, в Мядельском районе образцом организации отдыха для приезжих можно назвать не одну агроусадьбу. Например, агроусадьба «Панскі маёнтак». По словам ее хозяина Геннадия Бойко, ее строению свыше 120 лет. Ранее оно принадлежало помещику, который хранил там зерно, затем — местному колхозу. Хозяева купили это здание недорого и до сих пор его усовершенствуют, благоустраивают территорию двора. Хотя, на первый взгляд, здесь есть все необходимое для полноценного отдыха: красивый сад, водопад, мини-зоопарк с павлинами, прекрасное питание, музей народного быта. Одновременно усадьба может принять до 50 человек.

Особой популярностью пользуются среди белорусов и зарубежных гостей Нарочанские здравницы, которые с каждым годом предлагают все больше новых услуг, укрепляют материально-техническую базу. Например, в санаторно-оздоровительном комплексе «Приозерный» планируется строительство пяти новых коттеджей гостиничного типа, автостоянки, обустройство зоны отдыха с фонтанами и садово-парковым ансамблем. В прошлом году здесь отдохнули и оздоровились 11 894 человека, в том числе 6 500 иностранцев. Сегодня 60 % санаториев региона загружены на 100 %. В аналогичном периоде 2012-го показатель был на уров-

не 85 %. Как отметил Борис Батура, надо стремиться в ближайшее время достичь 90—95 % заполняемости здравниц.

В соответствии с поручением Главы государства на прилегающих к санаторно-курортным учреждениям области территориям построено 75 домиков гостиничного типа с подключением их к существующей инфраструктуре, что позволило сделать пребывание в здравницах более комфортным. Основные мероприятия Госпрограммы по реконструкции действующих санаториев планируется реализовать к концу 2013 года. Они предусматривают, прежде всего, расширение комплекса услуг, и как итог — более эффективное оздоровление и лечение, максимальное использование природного потенциала Нарочанского края. А значит, и значительный рост доходов и рентабельности.

В реализацию Госпрограммы инвестировано более 1 трлн. рублей. В 2012 году в 2,3 раза больше оказано санаторно-оздоровительных услуг в сравнении с предыдущим годом и более чем в два раза — туристско-экскурсионных, культурных услуг. Экспорт же услуг в целом увеличился на 525 и составил 13,4 млн. долларов США при прогнозе 9,5 млн. Отдохнули в Нарочанских здравницах 75,5 тысяч человек.

Следует сказать, что на Нарочи активно реализуются инвестиционные проекты. В частности, завершено строительство туристической деревни вблизи населенного пункта Абрамы, дома охотника и рыболова в Наносах, налажено производство по переработке и консервированию рыбы и рыбных продуктов. На озере Великие Швакшты строится база туризма и отдыха, в деревне Наносы возводится этнокультурный туристический агрокомплекс, на шоссе Купа-Занарочь-Брусы — корчма «Нарочанская уха», где будут готовить фирменные блюда. В регионе разработаны новые туристические маршруты: «Архитектура Нарочанского края», «Мядельщина в огне войны», водный маршрут на байдарках «По глади Нарочанских озер».

Туризм в центральном регионе развивается по трем направлениям: отдых и оздоровление, агроэкотуризм, посещение достопримечательностей. Все это положительно сказывается на развитии экономики, строительства, гостиничного и сельского хозяйства, розничной торговли, новых производств.



Жемчужина Беларуси — озеро Нарочь.

В Мядельском районе есть все предпосылки для выпуска экологически чистой продукции. В последствии она может стать брендом края, поскольку он расположен в природоохранной зоне, где запрещено применение гербицидов и пестицидов. Продукция, которую здесь производят фермеры, общественные хозяйства, действительно качественная и экологически чистая.

Тем не менее, в туристической сфере Минщины есть еще и нерешенные проблемы. Прежде всего, требует усовершенствования система информированности о рынке туристических услуг. Однако и здесь происходят перемены.

В области насчитывается 54 гостиницы. Вместе с тем, не все из них предлагают качественный уровень обслуживания и проживания для туристов. Но работа над ошибками ведется. Над получением сертификата соответствия категории «три звезды» работают в пяти райцентрах: Солигорске, Слуцке, Воложине, Вилейке и Узде. К концу нынешнего года завершится реконструкция гостиницы на 100 мест в Мяделе.

Создан туристический портал Нарочанского края (www.myadel-tourism.by), где размещены интерактивные карты туробъектов, объектов придорожного сервиса, автостоянок, здравниц, памятных мест региона. Предусмотрена также переадресация на сайты всех санаториев, сайт хорошо иллюстрирован.

Следует также отметить, в области зарегистрирована четверть объектов торговли и общественного питания от общего числа в стране. В прошлом году введено в эксплуатацию 34 объекта, в нынешнем появятся 4 современных комплекса с широким спектром услуг. К концу 2015-го будет построено еще 69. Продолжается установка терминалов для расчета пластиковыми карточками, расширяется ассортимент и повышается качество товаров. На 120 объектах меню предлагается на белорусском, русском и английском языках, а на 116 организована продажа сувенирной и печатной продукции.

В 2014 году Минск, да и вся Беларусь готовятся к Чемпионату мира по хоккею. Минщина также не останется в стороне. Возможно, многие зарубежные гости пожелают ознакомиться с достопримечательностями области, в том числе посетить и Нарочь. Здесь готовы встретить самых требовательных к комфорту туристов. Почерпнуть всю необходимую информацию они смогут в туристско-информационных центрах Мядельского, Воложинского, Логойского, Вилейского районов и города Несвижа при дворцово-парковом комплексе. А в скором времени, возможно, заработает и областной туристско-информационный центр, где будут аккумулироваться все сведения об отдыхе, туризме, культурно-развлекательных программах. Такой вопрос прорабатывается.

Слуцкому поясу — гимн

Как известно, Слуцк — родина поясов, которые принесли городу, Минской области и Беларуси мировую известность. Шедевры находятся во многих странах мира: России, Украине, Франции, Польше, Литве, Германии и даже Соединенных Штатах Америки. В Беларуси сохранилось только пять оригинальных поясов, вытканных именно в Слуцке, а также шесть, изготовленных по образцу слуцких в мастерских других городов. Уникальные произведения прикладного искусства имеют в своих коллекциях Минский

областной краеведческий музей (г. Молодечно), Национальный исторический музей Республики Беларусь, Литературный музей Максима Богдановича, Музей древнебелорусской культуры Института искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы Национальной академии наук Беларуси и Гродненский государственный историко-археологический музей.



Скульптура «Ткач» работы С. Л. Гумилевского.

— Для жителей района, как и республики в целом, слуцкие пояса не только предмет декоративно-прикладного искусства, это наша национальная гордость. К сожалению, в Слуцке нет ни одного целого пояса. В музее хранится только пять фрагментов и фото слуцкого пояса из Российского этнографического музея, который передали сюда еще в советские времена. Он экспонировался в течение 15 лет, но в 2003-м его забрали обратно. — Как только мы узнали, что частный коллекционер из Минска собирается продать раритеты, не могли упустить возможность их купить, — рассказывает директор Слуцкого краеведческого музея Наталья Серик. — В итоге переговоров он согласился продать два пояса именно Слуцку. Сейчас продолжается сбор средств на приобретение национальных символов. Люди активно откликнулись на обращение, и мы им очень благодарны за понимание и поддержку.

Перечислять деньги можно на счет: 3604000000562 в филиале 615 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 808, УНП 690305921, получатель платежа ГУ «Слуцкий краеведческий музей».

О слуцких поясах, их истории Наталья Серик знает все или почти все.

— Наталья Георгиевна, интересно, почему простой человек не мог носить такую красоту? — обращаюсь к своей собеседнице. — Возможно, действовали какие-то ограничения на законодательном уровне?

— В те времена купить слуцкие пояса могли только очень зажиточные и богатые люди, шляхта, поскольку стоили они очень дорого — от 50 до 100 дукатов. Их носили как дополнение к дорогому костюму — кунтушу. В нашем музее есть интересный снимок, сделанный в Варшаве: шляхтич в кунтуше, поверху которого повязан слуцкий пояс. Так что слуцкие пояса были в моде и в Речи Посполитой. Ежегодно фабрика выпускала около 200 изделий. Это немного, если учесть, что при том же Яне Маджарском тут работало 28 станков и 60 рабочих, — отвечает она.

В известном стихотворении Максима Богдановича говорится о нелегкой судьбе слуцких ткачих. Но исторические факты свидетельствуют о том, что на фабрике трудились только мужчины. Есть даже легенда: если руки женщины дотронутся до пояса, то он полиняет. Но Наталья Георгиевна считает, что это всего лишь легенда. Вначале для работы на фабрике пригласили



Областной праздник ремесел «Слуцкія паясы».

известных мастеров из Турции и Персии. Но через некоторое время князь направил местных молодых рабочих Гадовского, Хаетского в Станислав для обучения (в ту пору Станислав славился производством поясов). Именно оттуда было завезено оборудование для фабрики — несколько ткацких станков. Позже на фабрику пришли местные мастера. До наших дней дошли их имена: Иосиф Барсук, Михаил Баранцевич, Лойка, Канчило и другие. А мужчины занимались изготовлением поясов потому, что их производство было тяжелым: золотые, серебряные нити прокатывали на специальных станках, поэтому пояса называли литыми. И женщине такой труд был просто не по силам.

К слуцким поясам в последнее время возрастает интерес, как в обществе, так и среди специалистов. По инициативе Главы государства в Слуцке реализуется уникальный проект по возрождению производства поясов. Значительно преобразится и сама территория фабрики художественных изделий «Слуцкие пояса». Планируется объединить близлежащие дома, зону реки, производственные здания в единый комплекс, которые украсят скульптура «Ткач» и памятный знак слуцкому поясу. Эти символы утверждены на заседании Минского областного художественного экспертного совета по монументальному и монументально-декоративному искусству. На конкурс было представлено 20 работ. Но лучшими признаны творения скульптора, члена Белорусского союза художников Сергея Гумилевского. Сергей Гумилевский — сын известного скульптора Льва Гумилевского, который создал бюст Николая Радзивилла (Сиротки), Янки Купалы в Минске и другие. Среди совместных работ — памятники Кириллу Туровскому в Гомеле, Дунину-Марцинкевичу в Бобруйске. Творческий тандем Гумилевских стал лауреатом премии Союзного государства за памятник Янке Купале в Москве. Сергей Гумилевский создал памятник Максиму Богдановичу в Ялте. И вот в очередной раз мастера воодушевили мотивы стихов поэта, творчеством которого он увлекается давно. В центре композиции, которая по форме представляет лиру, автор поместил цветок — символ молодости,

а с двух сторон пояса — связь времен: прошлого и настоящего. Композицию, исполненную в бронзе, высотой, примерно, около 4 метров, установят на гранитном постаменте.

Рост «Ткача» выше двух метров. Складки пояса, который он бережно держит в руках, ниспадают, струятся, что подчеркивает новую волну истории. Такое впечатление, что он только что закончил работу и вышел к людям, чтобы полюбоваться творением своих рук и показать его изящество.

Ансамбль станет своеобразным гимном слуцкому поясу и людям его сотворившим, еще больше украсит город и привлечет сюда больше туристов.

Городу-памятнику — хорошую инфраструктуру

Несвиж часто называют городом-памятником. Например, история костела Божьего Тела неразрывно связана с историей города и рода князей Радзивиллов. Автор проекта — монах-зодчий Джованни Мария Бернардони — ученик знаменитых итальянских архитекторов Порто и Веньолы, построивших в Риме главный храм иезуитов Иль-Джезу (Во имя Христа). В подвальных помещениях костела находится усыпальница князей Радзивиллов. Последнее захоронение произошло здесь 8 июня 2000 года, когда урна с прахом умершего в Лондоне Антония Николая Радзивилла была привезена в Несвиж и установлена в крипте фарного костела.

В 1596 году, спустя 10 лет после получения Несвижем Магдебурского права, тут была построена ратуша, также по проекту Бернардони. Во время Северной войны ратуша сгорела и отстроена только в 1752-м. После пожара в 1836 году башня уменьшилась с 6 до 4 этажей. После реставрации, которая длилась с 1997 по 2004 год, она приобрела первозданный вид. Сейчас ее высота 27 метров. На 20-метровой высоте установлены часы с 4-мя циферблатами, мелодией и боем.

Недалеко от городской ратуши расположен комплекс зданий бывшего монастыря бенедектинок. В 1988 году во время ремонта в подвале костела был обнаружен медный чан, где хранились стеклянные, посеребряные, серебряные и фарфоровые изделия. В настоящее время клад хранится в Несвижском историко-краеведческом музее.

Слуцкие ворота — это единственные из 5 городских ворот, сохранившихся до наших дней. Только через них можно было попасть в город, окруженный валами, стеной, заполненным водой рвом. На первом этаже сооружения располагалась комната стражников. Они проверяли каждого, кто въезжал в город, и брали пошлину. На втором этаже находилась каплица с алтарем Богоматери. Дважды, в 70-х годах прошлого века и в 2006—2007 гг., ворота реставрировались. Во время проведения работ были обнаружены и восстановлены два замурованных окна и камин.

Замковая башня — старейшая сохранившаяся постройка в стиле барокко, памятник оборонного искусства. Отлитый в 1915 году в Варшаве бронзовый колокол до сих пор по праздникам собирает католических прихожан в костел на молитву.

На юго-западе от Несвижа находится удивительно прекрасное место. В XVI веке здесь созданы дендрофлора и система искусственных водных сооружений, которые поражали гостей своей ухоженностью. Этот комплекс получил название «Альба» — в переводе с итальянского «белый», «чистый». Сегодня этот памятник паркового искусства нуждается в восстановлении.

Но, бесспорно, настоящей вершиной зодчества, образцом изящества и великолепия является дворец Радзивиллов. В последнее время интерес к родовому гнезду магнатов значительно возрос. Едва ли не каждый белорус считает за честь здесь побывать. Например, только в прошлом году его посетили порядка 500 тысяч человек. Безусловно, он может принять и больше посетителей. Но проблема в том, что, как правило, туристы приезжают в пятницу, субботу, воскресенье. А внутри помещений может находиться одновременно около 500 человек — «перегрузка» небезопасна как для людей, так и экспонатов.

На помощь экскурсоводам, штат которых, кстати, оптимизируется, приходит техника. Закуплено 185 аудиогидов с текстом на трех языках: белорусском, русском и английском. Для того, чтобы частично разгрузить музей, разработан экскурсионный маршрут по замковым валам с посещением подземных коммуникаций, планируется оснастить здесь площадку с артиллерийскими пушками, провести реконструкцию бастиона. Работают сотрудники музея и над экспозицией, посвященной легендам Несвижа. Это и Черная панна Несвижскога замка, и Скарбчык Радзивиллов, предполагается и проект по созданию детского музея. Планов, как говорится, громадье. И все это ради того, чтобы привлечь как можно больше туристов.

Замечу, что Несвижский музей первым среди белорусских музеев заработал более 8 млрд. рублей на услугах и аренде. Например, здесь сдают в аренду 2 гостиницы, 2 ресторана, кафе, производственно-технические помещения. В двух магазинах, что находятся в замке, довольно успешно продаются сувениры с логотипом и символикой музея-заповедника. Вложенные в реставрацию колоссальные средства работают и приносят свою отдачу. Много внимания уделяется и рекламе, пропаганде бренда «Несвижский дворец», есть современный интерактивный сайт, где можно заказать билеты, заключено свыше 560 договоров на экскурсионное обслуживание.

— Наша задача — создать самую широкую инфраструктуру, поскольку мы самая крупная структура, способная генерировать новые идеи и осу-



Несвижский замок.

ществлять их, — считает директор Национального историко-культурного музея-заповедника Сергей Климов. — Необходимо создать для туристов такие условия, чтобы они оставались здесь надолго. Дело не в количестве посетителей, а в том, сколько денег они оставят в регионе. Музей-заповедник «завязан» в региональную экономику, это градообразующий объект. Он всегда был им: Радзивиллы вначале возвели замок, а уже затем реконструировали и строили город.

Местные власти, безусловно, делают немало для привлечения туристов. К развитию инфраструктуры привлекают частный бизнес. Только в прошлом году в райцентре введено в эксплуатацию три кафе и один ресторан на 1,7 тыс. посадочных мест. В нынешнем году примут посетителей 4 гостиницы на 200 мест. Но, как отметил на заседании Миноблисполкома губернатор Борис Батура, в развитие туристической отрасли надо активнее привлекать инвестиции, в том числе и иностранные. «Если нет инвестора, то надо самим уметь зарабатывать», — отметил глава области.

Фото Константина ДРОБОВА, Евгения ПЕСЕЦКОГО.





ГЕРМАН ГЕССЕ

Две новеллы

Герман Гессе (1877—1962), нобелевский лауреат по литературе 1946 года, в письме знакомому редактору в 1909 году писал: «Меня радует, что Вам нравятся мои стихи. Они и для меня являются самыми любимыми; и пусть глупая публика следит более за моими романами, для меня каждое хорошее стихотворение все-таки дороже трех романов». Не исключено, что и свои короткие ранние рассказы Гессе ценил не меньше романов, большинство из которых он сам считал развлекательной литературой для «глупой публики». Возможно, это преувеличение знаменитого автора. Его ранние новеллы остаются менее известными широкому читателю. Предлагаем некоторые из них, где отразились основные — восточные, мистические — мотивы будущей большой прозы писателя.

Вячеслав КУПРИЯНОВ

Поэт

Матильде Шварценбах посвящается

Говорят, что у китайского поэта Хань Фука уже в юности было необычное, страстное желание изучать и совершенствоваться во всем, что касалось поэтического искусства. Когда он жил на родине, у Желтой реки, с одобрения родителей, которые нежно его любили, и по собственному горячему желанию он был обручен с девушкой из хорошей семьи. Хань Фуку вскоре должно было исполниться двадцать лет, он был красивым юношей, скромным, с приятными манерами, сведущим в науках и, несмотря на свою молодость, уже снискавшим некоторыми прекрасными стихами известность среди литераторов своей страны. Не будучи богатым, он надеялся получить приличное состояние, которое должно было приумножить приданое невесты. А так как эта невеста была весьма хороша собой и добродетельна, казалось, что юношу ожидает полное счастье. Однако он не был вполне доволен, потому что его сердце было исполнено тщеславного желания стать совершенным поэтом.

Однажды вечером, когда на реке начался праздник фонариков, Хань Фук прогуливался в одиночестве на другом берегу. Он прислонился к дереву, наклоненному над водой, и смотрел на тысячи плывущих отраженных в реке дрожащих огоньков, видел на плотах и лодках мужчин, женщин, юных девушек, которые приветствовали друг друга и были ослепительны в своих праздничных нарядах подобно ярким цветам, он слышал тихий плеск освещенной воды, исполнение певиц, переборы цитр и сладкие звуки флейт, и надо всем этим он видел синеву ночи, нависшую, словно купол храма. У юноши сильнее забилось сердце, когда он с волнением созерцал всю эту красоту. И как бы ни тянуло его сейчас на другой берег, чтобы вместе с невестой и друзьями наслаждаться праздником, он все

же больше желал сейчас оставаться в одиночестве, воспринимать все как тонкий ценитель и отразить все увиденное в совершенном стихотворении: синеву ночи и игру огней на воде, радость гостей праздника и тоску одинокого созерцателя, прислонившегося к дереву у реки. Он чувствовал, что на всех праздниках и при всеобщем веселье этого мира ему никогда не будет безоглядно хорошо и весело, чувствовал, что он всегда будет одиноким и в какой-то мере чужим, сторонним наблюдателем. Ему казалось, что его душа создана таким образом, что он призван понимать красоту земли и тайные чаяния людей. От этого ему стало грустно, он задумался и в мыслях пришел к тому, что он только тогда познает настоящее счастье и полное удовлетворение, когда ему удастся отразить в стихах этот мир настолько совершенно, что он зазвучит в них и будет запечатлен во всей своей красоте.

Хань Фук не помнил, был ли он в забытьи или бодрствовал, когда вдруг услышал легкий шорох и увидел стоящего возле дерева незнакомца — исполненного достоинства пожилого человека в фиолетовом одеянии. Хань Фук поприветствовал его как положено приветствовать старших и достойных. Незнакомец улыбнулся и произнес стихи, в которых все то, что только что перечувствовал молодой человек, было выражено столь совершенно и прекрасно и по всем правилам высокой поэзии, что юноша замер от изумления.

«О, кто ты? Ты, кто смог увидеть мою душу и произнести стихи более прекрасные чем все, которые я когда-либо слышал от всех моих учителей?» — воскликнул он и низко поклонился.

Незнакомец еще раз улыбнулся улыбкой совершенного и сказал: «Если хочешь стать поэтом, иди за мной. Ты найдешь мою хижину у истока большой реки в горах северо-запада. Меня зовут Мастер совершенного слова».

С этим пожилой человек вступил в узкую тень дерева и тотчас в ней исчез. Хань Фук, напрасно пытавшийся его отыскать и не нашедший даже следов, остался в полной уверенности, что все это было лишь наваждением, вызванным его усталостью. Он поспешил на другой берег и смешался с праздником. Однако среди разговоров и игры флейт он все еще слышал таинственный голос незнакомца, который, казалось, унес с собой его душу. И Хань Фук сидел теперь отчужденно, с мечтательным взором среди людей, веселье которых его раздражало.

Через несколько дней отец Хань Фука хотел созвать друзей и родственников, чтобы назначить день свадьбы. Но сын вдруг воспротивился и сказал: «Прости, отец, если я нарушаю послушание, которое подобает сыну. Но ты знаешь, как велико мое желание выразить себя в искусстве поэзии. И хотя многие из моих друзей хвалят мои стихи, я все же хорошо понимаю, что я еще только начинающий и стою на первой ступени. Поэтому прошу тебя, разреши мне на какое-то время уйти и в уединении предаться учению, потому что, мне кажется, если я теперь получу жену и дом в управление, это отвлечет меня от совершенствования в искусстве. Но пока я молод и у меня нет особых обязанностей, я хотел бы какое-то время пожить один ради моего искусства поэзии, от которого я ожидаю радости и славы».

Эта речь привела отца в замешательство, и он сказал: «Это искусство для тебя превыше всего, если ты ради него хочешь отложить даже свадьбу. Или, может, что-то произошло между тобой и твоей невестой, так скажи мне, и я помогу тебе помириться с ней или найду другую».

Но сын заверил, что он любит свою невесту не меньше, чем вчера или когда-либо и что между ними не было и тени ссоры. И тут он рассказал отцу о том, что вчера, во время праздника фонариков, ему было видение мастера, учеником которого он хотел бы стать.

«Хорошо, — сказал отец, — я даю тебе год. В это время ты можешь идти за своим видением, которое, быть может, послано тебе от Бога».

«Это может быть и два года, — сказал Хань Фук, помедлив. — Кто может это знать?»

Отец отпустил его и был опечален; а юноша написал своей невесте письмо, попрощался и отправился в путь.

Он очень долго шел, наконец достиг истока реки и нашел одиноко стоящую бамбуковую хижину, перед которой на плетеной циновке сидел пожилой человек, которого он видел на берегу реки под деревом. Тот сидел и играл на лютне, и когда он увидел почтительно приближающегося гостя, он не поднялся и не поприветствовал его, но только улыбнулся и продолжал пальцами нежно перебирать струны, и волшебная музыка плыла, как серебряное облако над долиной, так что юноша застыл и дивился, и в сладком изумлении забыл обо всем на свете, пока Мастер совершенного слова не отложил свою маленькую лютню и не ушел в хижину. Хань Фук последовал за ним с почтением и остался, став его слугой и учеником.

Прошел месяц, и он увидел, что все песни, которые он сочинил до этого, достойны презрения, и стер их из своей памяти. Через несколько месяцев он стер из памяти и те песни, которым научился дома у своих учителей. Мастер с ним почти не говорил, он только молча учил его искусству игры на лютне, пока все существо ученика не прониклось музыкой.

Однажды Хань Фук сочинил маленькое стихотворение, в котором описал полет двух птиц в осеннем небе, и которое ему самому понравилось. Он не осмеливался показать его Мастеру, но как-то вечером, недалеко от хижины, чтобы Мастер мог его услышать, спел его. Но тот не сказал ни слова. Он только тихо играл на лютне. Когда опустились сумерки, вдруг поднялся сильный ветер, хотя стояла середина лета, и в помрачневшем небе пролетели две цапли в страстной жажде скитаний, и все это было настолько прекраснее и совершеннее стихотворения ученика, что тот опечалился и замолчал, почувствовав себя бессильным. Старик поступал так всякий раз, и когда прошел год, Хань Фук уже изучил игру на лютне почти в совершенстве, но искусство поэзии все более казалось ему трудным и возвышенным.

Когда прошло два года, юноша затосковал по дому и по родным, по родине и по своей невесте, и он попросил Мастера отпустить его.

Мастер улыбнулся и кивнул. «Ты свободен, — сказал он, — и можешь идти, куда хочешь. Ты можешь вернуться, ты можешь остаться там, как тебе заблагорассудится».

Ученик отправился в путь и шел без отдыха, пока однажды ранним утром не достиг родного берега и через выгнутый мост не увидел родные места. Он пробрался украдкой в отцовский сад и услышал из окна спальни дыхание спящего отца, потом он взобрался на грушу в саду своей невесты и увидел, как она расчесывает волосы в своей комнате. И когда он сравнил все, что увидел, с картинами, которые рисовал в своем воображении, тоскуя по родине, он понял, что ему все же предназначено стать поэтом. Он понял, что в мечтах поэта живут красота и вдохновение, которых напрасно искать в действительности. Он спустился с дерева и покинул сад, перешел мост и вернулся в высокую горную долину. Там сидел по-прежнему старый Мастер перед своей хижиной на скромной циновке и перебирал пальцами струны лютни. Вместо приветствия он произнес два стихотворения о счастье искусства, от глубины и благозвучия которых глаза юноши наполнились слезами.

Снова Хань Фук остался у Мастера совершенного слова, который теперь, когда юноша уже овладел игрой на лютне, стал обучать его игре на цитре. Месяц за месяцем пролетали, как снег на западном ветру. Еще

дважды его охватывала тоска по дому. Один раз он тайком решил уйти среди ночи, но едва достиг конца долины, как ночной вечер пробежал по струнам цитры, которая висела на дверях хижины, и эти звуки полетели за ним вслед и позвали его вернуться, и он не смог воспротивиться этому зову. В другой же раз ему приснилось, что он сажает молодое дерево в своем саду, его жена стоит рядом, а его дети поливают дерево вином и молоком. Когда он проснулся, свет месяца озарял его комнату, он поднялся растерянно и увидел рядом спящего Мастера, его седая борода слегка вздрагивала; тут его охватила страшная ненависть к Мастеру, который, как ему казалось, разрушил его жизнь и обманул его будущее. Ему захотелось броситься на него и убить. Тут старик открыл глаза и улыбнулся кроткой, печальной улыбкой, которая обезоружила ученика.

«Помни, Хань Фук, — сказал старик тихо, — ты свободен, ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится. Ты можешь вернуться на родину и сажать деревья, ты можешь меня ненавидеть и убить, от этого мало что изменится».

«Ах, как я могу тебя ненавидеть! — воскликнул поэт в большом волнении. — Это то же самое, как если бы я возненавидел само небо!»

Он остался и стал учиться игре на цитре, потом на флейте, позже, с подсказками Мастера, стал сочинять стихи. Он медленно постигал это таинственное искусство — говорить будто простое и понятное, но так, чтобы при этом в душе слушателя веяло подобно ветру на глади воды. Он описывал восход солнца, как оно медлит на кромке гор, и беззвучное снование рыб, когда они, как тени, проплывают под водой, или колыхание молодой ивы на весеннем ветру. И когда кто-то это слышал, то это было не только солнце и игра рыб, и шелест ивы, но, казалось, что небо и весь мир каждый раз в это мгновение звучали вместе в совершенной музыке, и каждый слушатель при этом думал с радостью или болью о том, что он любил или ненавидел: ребенок об игре, юноша о возлюбленной, старик о смерти.

Хань Фук не знал, сколько лет он провел у Мастера у истока большой реки; порой ему казалось, что он только вчера вечером пришел в эту долину и был встречен игрой старика на лютне, ему казалось, что позади него осыпались, исчезли, словно сновиденье, все эпохи и времена человечества.

Однажды утром он проснулся в хижине один, и сколько он ни искал и ни звал Мастера, того нигде не было. После ночи, показалось, что вдруг наступила осень, жестокий ветер сотрясал старую хижину, и над горным хребтом пролетали большие стаи перелетных птиц, хотя их время еще не пришло.

Тогда Хань Фук взял маленькую лютню и спустился на землю своей родины, где его встречали люди и обращались к нему с приветствием, какое подобает пожилым и почтенным, и когда он пришел в свой родной город, то там уже умерли и его отец, и невеста, и родственники; другие люди жили в его доме. А вечером на реке был праздник фонариков, и поэт Хань Фук стоял на темном берегу, прислонившись к стволу старого дерева, и когда он стал играть на своей маленькой лютне, вздыхали женщины и смотрели зачарованно и растерянно в ночь, молодые девушки звали играющего на лютне, которого не видели, и громко кричали, что никто из них никогда не слышал такой музыки. Хань Фук улыбался. Он смотрел на воду, где проплывали отражения тысячи светильников; и так же, как он не мог отличить отражения светильников от них самих, так же он не находил в своей душе отличие этого праздника от того первого, когда он здесь стоял юношей и услышал слова незнакомого Мастера.

1913 г.

Мечта о флейте

«Вот, — сказал отец и протянул мне маленькую костяную флейту, — возьми ее и не забывай своего старого отца, когда будешь своей игрой радовать людей в далеких странах. Сейчас тебе самое время повидать мир и чему-то научиться. Я заказал эту флейту для тебя, потому что ты не любишь ничего делать и только поешь. Но помни еще и о том, что ты должен исполнять только красивые и достойные любви песни, иначе жаль будет того дара, которым тебя наделил Господь».

Мой дорогой отец плохо разбирался в музыке, он был ученым; он думал, что мне достаточно только дуть в красивую флейту, и сразу же все получится. Я не хотел его разочаровывать, поэтому поблагодарил, взял флейту и попрощался.

Наша долина была мне хорошо знакома вплоть до большой мельницы; а дальше начинался неведомый мир, и он мне очень нравился. Какая-то уставшая в полете пчела села на мой рукав, я понес ее с собой, чтобы потом, на первой же остановке, у меня уже был вестник, с которым можно послать привет на родину.

Луга и леса расстилались передо мной, река весело текла рядом; я видел, что незнакомый мир мало отличается от родных мест. Цветы и деревья, колосья пшеницы и кусты орешника разговаривали со мной, я подпевал их песням, и они понимали меня, совсем как дома; к тому же проснулась моя пчела, она медленно заползла мне на плечо, взлетела и, дважды облетев вокруг меня со своим глубоким сладким гуденьем, направилась точно назад, в сторону родины.

Вдруг из леса вышла юная девушка, она несла корзину в руке, на ее белокурой головке была широкая соломенная шляпка.

«Здравствуй, — сказал я ей, — куда ты идешь?»

«Я несу жнецам обед, — ответила она и мы пошли рядом. — А ты куда собрался?»

«Я иду в мир, меня отправил отец. Он считает, что я должен играть для людей на флейте. Но я не очень-то умею, я еще должен этому научиться».

«Так, так. А что ты все-таки умеешь делать? Что-то же умеешь?»

«Толком ничего. Я умею петь песни».

«А какие песни?»

«Разные песни, утренние и вечерние, о деревьях, о зверях, о цветах. Вот сейчас, например, я могу спеть прекрасную песню о юной девушке, которая вышла из леса и несет жнецам обед».

«Ты можешь спеть такую песню? Тогда спой!»

«Да, но как тебя зовут?»

«Бригита».

И тут я спел песню о прекрасной Бригите в соломенной шляпке, о том, что лежало у нее в корзине, и как цветы смотрели ей вслед, и как синие ветра от садовой изгороди тянулись за ней, и обо всем, что этого касалось.

Она внимательно слушала и затем сказала, что это прекрасно. И когда я ей сказал, что голоден, она открыла свою корзинку и протянула мне кусок хлеба. Я откусил немного и хотел идти, она же сказала: «Нельзя есть на ходу. Сначала одно, потом другое».

Мы присели на траву, я ел хлеб, а она обняла загорелыми руками свои колени и смотрела на меня.

«Ты можешь еще что-нибудь спеть для меня?» — спросила она, когда я поел.

«Да. О чем я же спеть?»

«О девушке, у которой милый уехал далеко, и она теперь печальна».

«Нет, не могу. Потому что я не знаю, что это такое, и нельзя быть в такой печали. Я должен петь красивые и достойные любви песни, так сказал мне отец. Я спою тебе про кукушку или про мотылька».

«А про любовь ты совсем ничего не знаешь?» — спросила она.

«Про любовь? О да, это же самое прекрасное».

И тут я запел о луче солнца, который любит красные цветы мака, и как он с ними играет и наполняется радостью. И о подруге зяблика, как она его ждет, а когда он появляется, она вдруг пугается и улетает. Потом пел о девушке с карими глазами и о юноше, который пришел сюда и поет, и за это получил хлеб в подарок; но теперь он больше не хочет хлеба, он ждет от нее поцелуя и хочет смотреть в ее карие глаза, и он так долго поет и не умолкает, пока она не улыбается и не закрывает его уста своими.

Тогда Бригита наклонилась и закрыла мои уста своими, закрыла глаза и открыла их снова, и я смотрел в близкие золотисто-карие звезды, в которых отражался сам и еще несколько белых луговых цветов.

«Как прекрасен мир! — сказал я. — Мой отец был прав. Я помогу тебе занести корзину для твоих жнецов».

Я взял ее корзину, и мы пошли. Звуки ее шагов совпадали с моими, ее радость сливалась с моей, и лес шептал нежно и свежо с горного склона; никогда я еще не путешествовал с таким удовольствием. Я все время пел, пока меня не заставило замолчать ощущение полноты жизни; было слишком много всего, что говорило в горах и в травах, в кронах деревьев у реки и в кустах.

Тогда я подумал: если бы я сумел все эти тысячи песен мира понять и спеть, песни трав и цветов, людей и облаков, и всего, от лиственного леса до хвойного, всех зверей, песни далеких гор и морей, всех звезд и лун, и если бы все это вместе зазвучало и запело во мне — я стал бы богом, и каждая новая песня становилась бы новой звездой на небе.

И пока я так размышлял, и поэтому стал тихим и изумленным, так как мне никогда раньше ничего подобного не приходило в голову, Бригита остановила меня.

«Теперь я пойду вверх, — сказала она, — там наши люди в поле. А ты, куда ты теперь? Пойдешь со мной?»

«Нет, я не могу. Я должен идти в мир. Большое спасибо за хлеб, Бригита, и за поцелуй; я буду тебя вспоминать».

Она взяла корзину с едой, и ее глаза в полумраке леса еще раз устремились на меня, ее губы коснулись моих, и ее поцелуй был так мил и приятен, что я от блаженства едва мог сдержать слезы. Тогда я поспешно попрощался и зашагал вниз по дороге.

Девушка медленно поднималась в гору под нависающей сенью буков, на опушке леса она остановилась и, оглянувшись, посмотрела в мою сторону, и когда я кивнул ей и помахал шляпой над головой, она слегка поклонилась и исчезла, словно видение.

Я же пошел дальше, погрузившись в думы, пока тропинка не свернула в сторону.

Вскоре я увидел мельницу, за ней на воде стоял корабль, в котором сидел человек. Казалось, что он только и ждал меня, потому что как только я снял шляпу и ступил на его корабль, мы тут же тронулись с места и поплыли вниз по реке. Я сидел в середине корабля, а человек — позади меня, за штурвалом, и когда я спросил его, куда мы плывем, он обернулся и посмотрел на меня полуприкрытыми серыми глазами.

«Куда ты хочешь, — сказал он приглушенным голосом. — Вниз по реке, к морю, или к большим городам, у тебя есть выбор. Это все принадлежит мне».

«Все принадлежит тебе? Значит, ты король?»

«Может быть, — сказал он. — А ты поэт, как мне кажется? Тогда спой песню про плаванье!»

Я собрался с духом, потому что чувствовал страх перед чужим серьезным человеком, наш корабль плыл быстро и бесшумно вниз по реке. Я запел о реке, которая несет корабль и отражает солнце, и у скалистых берегов журчит еще громче, где радостно завершает свой путь.

Лицо мужчины словно застыло, и когда я закончил петь, он тихо кивнул, словно завороженный. И тут же он, к моему удивлению, начал петь сам, он тоже пел о плавании по реке через долины, и его песня была лучше и сильнее моей, но звучала она совсем по-другому.

Река, как он ее воспевал, стекала с гор бурным потоком, мрачная и дикая; в гневе чувствовала она себя стесненной мельницами и связанной мостами, она ненавидела все корабли, которые ей приходилось нести, и в своих волнах и в зеленых водорослях она с улыбкой баюкала белые тела утопленников.

Все это мне совсем не нравилось, и в то же время звучало так прекрасно и таинственно, что я потрясенно молчал. Если и в самом деле все так, как пел своим приглушенным голосом этот старый, искусный и умный певец, тогда все мои песни — просто глупость и детские игры. Значит, мир в своей основе вовсе не добр и светел, как сердце Бога, но темен и мучителен, зол и мрачен, и если леса шумят, то вовсе не от удовольствия, а от муки.

Мы плыли дальше, и тени становились длиннее, и каждый раз, когда я начинал петь, моя песня звучала менее светло, и мой голос становился все тише, и каждый раз откликался незнакомый певец свой песней, которая представляла мир все таинственнее и больнее, а меня делала более скованным и печальным.

У меня заболела душа, и я пожалел, что не остался на берегу среди цветов или с прекрасной Бригитой, и, чтобы утешиться в приближающихся сумерках, я громко запел под красным солнцем заката песню о Бригите и ее поцелуях.

Тут сгустилась тьма, и я умолк, а человек за штурвалом запел; он тоже пел о любви и о любовной страсти, о карих и синих очах, о красных влажных губах, и это было прекрасно и захватывающе, то, что он страстно пел над темной рекой, но в его песне любовь была темна и боязлива, она становилась смертельной тайной, которую люди искали, блуждая в своей нужде и тоске, нанося себе раны, и в которой они мучили и убивали друг друга.

Я слушал и становился таким уставшим и угнетенным, как будто годы был в пути и сталкивался только с бедой и нуждой. Я чувствовал, что от незнакомца идет тихий, холодный поток печали и страха и западает мне в самое сердце.

«Так значит, вовсе не жизнь самое высокое и прекрасное, — воскликнул я наконец в горести, — а именно смерть! Тогда прошу тебя, печальный король, спой мне песню о смерти!»

И человек у руля запел песню о смерти, и пел он прекраснее, чем я слышал когда-либо. Но и смерть не была самым прекрасным и высоким, и она не была у него утешением. Смерть была жизнью, и жизнь была смертью, и они были поглощены одна другой в вечной бешеной любовной схватке, и она была последней и стала смыслом жизни, и оттуда исходило сияние, которое еще пыталось славить любое страдание, и оттуда исходила тень, которая затмевала всю красоту и всякое желание и все окутывала мраком.

Я слушал, и все во мне умолкло, во мне уже не осталось воли, кроме воли этого незнакомца. Он смотрел на меня тихо и с какой-то печальной

добротой, и его серые глаза были полны боли и красоты этого мира. Он улыбался мне, и я собрался с духом и попросил его в страхе: «Ах, я прошу тебя повернуть! Мне страшно здесь в ночи, и я хотел бы вернуться назад и пойти туда, где я бы мог найти Бригиту, или придти домой к моему отцу».

Человек поднялся и обратился к ночи, его фонарь ярко осветил его худое и жесткое лицо. «Назад пути нет, — сказал он тихо и серьезно, — надо идти только вперед, если хочешь познать мир. И от девушки с карими глазами ты уже получил самое лучшее и прекрасное, и чем дальше ты от нее уйдешь, тем оно будет лучше и прекраснее. А теперь плыви дальше, куда ты хочешь, я уступаю тебе место у руля!»

Я был смертельно угнетен и все же понимал, что он прав. С глубокой тоской я подумал о Бригите и о моей родине, и обо всем, что было близким, понятным, моим, и что я уже потерял. Но теперь я был готов занять место незнакомца и взяться за руль корабля. Да будет так.

Тогда я молча поднялся и пошел за штурвал, и незнакомец тоже молча пошел мне навстречу. Когда мы поравнялись, он посмотрел мне прямо в лицо и передал свой фонарь.

Но когда я встал за руль и поставил рядом фонарь, я был уже один на корабле. Я понял это в глубоком оцепенении, этот человек исчез, но я не испугался, я предчувствовал это. Мне казалось, что это было прекрасное путешествие, а Бригита, и мой отец, и родина были всего лишь сновидением, и что я уже стар и удручен, и плыву уже очень давно по этой ночной реке.

Я знал, что мне не следует звать этого человека, и понимание этой истины проняло меня зимней стужей.

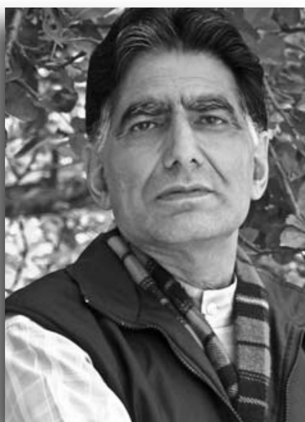
И чтобы удостовериться в этом, я наклонился через борт и поднял фонарь — из черной зеркальной глади воды на меня смотрело жесткое и серьезное лицо с серыми глазами, старое, всезнающее лицо, и это был я.

И поскольку не было пути назад, я плыл дальше по темной воде сквозь ночь.

1913 г.

Перевод с немецкого Вячеслава КУПРИЯНОВА.





С. Р. ХАРНОТ

Безмолвные друзья

Рассказ

Странные привычки были у Чунни.

Его родители и дед имели немало проблем с ним. Он был единственным ребенком у родителей. Его глупые выходки доставляли беспокойство не только семье, но и всей округе. По этой же причине он не смог закончить образование. Когда он был во втором классе, один из мальчиков принес в школу рогатку и начал стрелять по птицам. Чунни сильно избил мальчика и выбил ему глаз его же рогаткой. Пришлось его наказать и даже выгнать из школы. Деревенские дети после этого случая не хотели с ним играть. Несколько дней он ходил неприкаянный, в одиночестве. Но вот постепенно в нем стала крепнуть страсть к животным и птицам. Страсть ко временам года. Страсть к облакам. Страсть к деревьям и кустам. Страсть к горам и дождю. Страсть к бабочкам. Каждый оттенок красок природы он вобрал в себя.

Ему исполнилось девять лет. Но по странной одежде, которую он носил, было трудно определить его возраст. Его родители вряд ли когда-нибудь покупали ему новую одежду. Да и необходимости особой в этом теперь не было. Деревенские иногда давали ему донашивать что-нибудь. Поэтому на нем никогда не было ничего своего. Он вечно носил рубахи с широченным воротником, с поношенной жилеткой сверху, и старые потертые джинсы. На плече у него всегда была котомка. Его длинные волосы вечно беспорядочно падали на глаза, совершенно закрывали уши. На круглом лице выделялся острый подбородок и слегка вздернутый нос. Верхняя губа его имела трещину справа, поэтому два передних зуба выдавались наружу, отчего многие жители деревни стали называть его «трещинка». На его губах всегда играла легкая улыбка, как отсвет всего того, что переполняло его душу. В карманах его одежды постоянно что-нибудь да лежало: в одном соль, в другом кусочек черствого хлеба, рисовые зерна, в третьем сливы. На ногах его никогда не бывало одинаковой обуви. Если на одной был шлепанец, то на другой — сандалий.

После того, как его выгнали из школы, Чунни несколько дней сидел дома. Затем его домашние стали поручать ему пасти скот. Постепенно и соседи стали доверять ему своих животных. По прошествии года он уже хорошенько поднаторел в этом деле. Да и ему самому это очень нравилось.

Некоторые животные в деревне были столь дурны, что как только их отвязывали от шеста, начинали бодаться и гоняться за пастухом. И удивительно, но с Чунни такого ни разу не случалось. Даже самые бодливые коровы, завидев Чунни, становились податливыми, будто он был их приемным детенышем. И не только это. В глазах самых злобных и агрессивных собак деревни, которых из страха держали на привязи, при появлении Чунни вспыхивала нежность. Кого бы он ни подозвал любовно, будь то вол, коза, овца, собака или даже кошка, все спешили к нему. И он разговаривал с ними. Его семья держала двух волов, три

коровы и несколько коз и овец. И им-то он точно стал родным. Если корова отказывалась доиться, мать звала Чунни, и стоило ему только подойти к стойлу, как она молча начинала давать молоко. Такие моменты очень удивляли родных Чунни. И стар, и мал в деревне теперь не позволяли себе ни дома, ни в поле бить или гонять животных при Чунни. Если он видел что-то подобное, он мог выкинуть что угодно. Дошло до того, что никто не смел даже поругать свою собаку.

На каждое дерево во дворе своего дома Чунни подвесил маленькие глиняные горшочки. Всюду, где он пас скот, он подвешивал на ветки деревьев что-нибудь, что потом наполнял водой. И рано или поздно птицы начинали пить оттуда. Он сам приносил воду из под крана или из реки и наполнял горшочки. На крыше он всегда разбрасывал хлебные крошки, рис или ячмень. Он ходил по домам и жители деревни давали ему остатки вчерашней еды. Поначалу никто не понимал его привычек. Но постепенно вся деревня полюбила эти его странности.

Мало того, когда он вместе со своими животными уходил в лес, то и другие животные присоединялись к ним. Даже ненавидящие друг друга животные, которые начинали бросаться один на другого при каждом удобном случае, прекращали всякие склоки, едва завидев Чунни. А когда его любимцы мирно паслись, он начинал бегать за бабочками. И бабочки сами собирались вокруг него в пестрый хоровод, будто он был не Чунни, а какой-нибудь цветник. Несколько раз люди видели рядом с ним спокойно гуляющих оленей и резвящихся зайцев. И никто не мог объяснить, какой такой магией обладал этот мальчик. Никто.

Семья Чунни была бедна. Они конечно получили от правительства, хотя и с огромным трудом, земельный надел в пять бигхов[1], но после строительства цементного завода, над этой землей начали сгущаться тучи. Землю эту стали причислять к заводской. Одновременно компания начала скупать земли и других землевладельцев. Поначалу развернулось жесткое сопротивление, но постепенно страсти утихли. Причиной тому были некоторые председатели панчаятов и землевладельцы, которые втихаря заключили договоры с компанией и извлекли из своих маленьких участков десятки миллионов рупий. Для компании совсем не сложно было платить такие деньги, потому что под этим предлогом она начала подбираться к деревням панчаятов. Для крестьян, у которых имелись небольшие участки, и которые не имели никаких крупных источников дохода, противостояние компании было равносильно противостоянию свечи солнцу. Потому они тоже были вынуждены продавать свои земли. Были даже такие, кто продавал землю отца или деда. Это были посредники. Прежде они работали, но после продажи земли у них не осталось даже места, где они могли бы приклонить голову. Не то чтобы им заплатили мало денег, наоборот, но они, сами того не подозревая, попали в сети компании и землевладельцев. Продажа земель целиком была на ответственности посредников. Они выручили неплохие деньги и за собственные земли, а вместе с тем, получили от компании и приличные комиссионные с продаж земель тех, кого уговорили на это предприятие.

Те, кто оказался поумнее, смогли за вырученные деньги построить новые дома и купить землю где-нибудь в другом месте. Но оказались среди них и такие, кто быстро все промотал, играя в азартные игры, или просто пропил. В автобусах они постоянно устраивали потасовки, чем доставляли немало беспокойства другим пассажирам, в магазинах они дебоширили, дома били жен и детей. Они нигде не работали и целыми днями протирали штаны, напиваясь и играя в карты на веранде чьего-

[1] Бигха — земельная мера равная 0,25 га.

нибудь дома или какой-нибудь лавки. Незаметно изменилась атмосфера в деревнях, связавшихся с заводом. Некоторые, рассчитывавшие подняться на вырученные деньги, в считанные дни остались голыми. Представители компании вовлекали их в разного рода соблазны. Дав им от лица компании большие ссуды, они купили для них грузовики. Не имея достаточного опыта в ведении бизнеса, бедолаги не могли даже покрыть эти ссуды. Да и грузовики эти в основном состояли из старых и поддержанных деталей, отчего они глохли через каждые несколько ходок. И затем их ремонт проходил в оговоренных компанией мастерских. На плату водителям и кондукторам уходило много денег, что приносило хозяевам одни убытки. Таким образом, очень многие быстро обанкротились. Зато компания с каждым днем все более процветала.

За компанией стояло правительство. За компанией стояли министры. За компанией стояли высокопоставленные чиновники. Потому, если где-то и возникали недовольные разговоры, то они тут же пресекались на корню. Местные полицейские управления были куплены. Руководители и секретари были куплены. Инспекторы были куплены. Начальники полиции были куплены. Даже судья принадлежал компании.

Те крестьяне, которые не захотели продать свою землю, тоже не вылезали из проблем. В карьерах, откуда добывали известняк для цемента, постоянно гремели взрывы. Несколько домов были серьезно повреждены, а некоторые вовсе уничтожены. В качестве компенсации крестьяне не получили и половины их стоимости. Люди не могли спокойно спать по ночам, не могли нормально работать в поле днем. Иногда, когда днем гремели взрывы, им приходилось останавливать вспашку и выпрягать волов из ярма. Женщины, жавшие траву, вынуждены были возвращаться домой с пустыми руками. В школах останавливались занятия.

Власти не уставали твердить, что большинство рабочих на цементном заводе местные. В действительности же, никто из местных не занимал ни одну серьезную должность. Те, кто там даже и работал, были лишь рабочими в карьерах.

Компания показала себя с новой стороны. Сделала большие пожертвования в панчаяты, оплатила свадебные расходы нескольким семьям, построила школу, проложила водопроводы и установила водонапорные колонки. Компания строила гостиницы, ремонтировала храмы, устраивала религиозные праздники. Другими словами, она делала все, что помогало ей иметь репутацию реформиста и праведника. Она даже спонсировала крупные культурные мероприятия в городах. А на День защиты окружающей среды она проявила еще большую активность. Были потрачены десятки миллионов рупий. А все потому, что руководители компании помнили, как еще до строительства завода весь штат беспокоил вред, который он мог бы нанести окружающей среде. Несколько лет им никак не удавалось получить разрешение на строительство, но так или иначе завод был построен. Поэтому-то они с особым рвением отмечали этот день и брали на себя все расходы по проведению праздничных мероприятий. Компания заказывала тысячи желто-зеленых маек и шапок и раздавала их вместе с подарками детям.

Было секретом, что в районе, где был построен завод, стало совершенно невозможно жить из-за пыли и песка. Урожаи на полях были уже не такими как раньше, дома и подворья буквально смешивались с пылью. Днем заводские печи молчали, но после полуночи начинали извергать дым, и к пяти часам утра небо бывало затянуто черными облаками. Люди поглупее считали это просто облаками. Ну а те, кто понимали, что это за облака, ничего не могли поделать.

Чуть ниже завода протекала горная речка, полноводная двенадцать месяцев в году. Она питала водой несколько домов панчаятов, а также

несколько сотен бигхов земли. Большинство огородов располагались как раз на ее берегах. Но мало-помалу исчезла и река. Пуская людям пыль в глаза, компания вызвала эксперта, и он вынес резолюцию о естественном пересыхании. И что оставалось простым людям, кроме как поверить эксперту? Правда же состояла в том, что из-за постоянных взрывов русло реки сильно осело, а ее течение повернули к тоннелю, пролагаемому для доставки известняка к заводу. Вода в ней изменилась, хотя и была все еще пригодной к употреблению.

Карьеры, в которых добывали известняк, находились достаточно далеко от завода. И для того, чтобы его туда доставлять, был необходим тоннель. С началом строительства тоннеля компания получила много головной боли. Среди рабочих, участвующих в его строительстве, не было ни одного местного. Однажды под обломками погибло несколько человек, но дело быстро замяли. Чиновники компании так чисто избавились от тел, что никто так ничего и не узнал. Для удачного возобновления работ один астролог посоветовал совершить большое жертвоприношение. В жертву необходимо было принести пять живых созданий: ребенка, козла, петуха, буйвола и павлина. Никто открыто об этом не говорил, но один рабочий в сильном подпитии проболтался. Самое трудное для компании было найти ребенка. Чиновники готовы были заплатить любые деньги. Об этом они сообщили своему доверенному пандиту Манираму, заплатив ему при этом десятки тысяч рупий.

Компания приглашала Пандита Манирама на все религиозные мероприятия, которые устраивала. И хорошо ему платила. Он стал самым доверенным ее человеком. Прямо на глазах вырос его новый двухэтажный дом, а у его старшего сына появились две легковые машины и грузовик. Любой, в чьем бы доме он ни появился, буквально за ночь поднимался на недосягаемые высоты, как будто бы сам Господь Бог вел его. Много разговоров ходило о его связях с представителями компании.

Несколько дней Пандит раздумывал, что же ему делать? Его невестка была вдовой, и у нее был четырехлетний сын. И он придумал план. Прежде всего, он пустил слух, что в деревню забрался леопард, известный как похититель детей. Слух расползся очень быстро. Если кто-то, возвращаясь с попойки, видел шакала, тут же заявлял, что это был тот самый леопард. Под этим прикрытием, вступив в сговор с чиновниками компании, Пандит украл сына своей вдовствующей невестки и, обливаясь слезами, поведал о том, как леопард утащил мальчика прямо из его рук. Этот случай прогремел на весь штат. Газеты в течение нескольких недель обсуждали эту ужасную новость, добавляя все новые и новые подробности. Ну а потом, в присутствии судьи, вдову утешили и вручили от лица компании десять тысяч рупий компенсации. Теперь ни у кого не было сомнений в том, как пропал ребенок.

Примерно через неделю после того как из семьи Пандита исчез ребенок, сотрудники компании заманили и Чунни. Они не могли не обратить на него внимания, так как целыми днями он один пас своих животных. Эта задача была поручена одному доверенному посреднику в деревне, чтобы никто ничего не заподозрил. Он убедил Чунни, что ему нужно поприсутствовать на одном богослужении, и что после этого ему дадут много денег, но только он не должен никому об этом рассказывать. Уговаривать его пришлось долго. Утром, как только он отправился в лес со своей паствой, человек позвал его с собой. Он подарил ему новую одежду, хорошенько его умыл, а затем закрыл его в какой-то темной комнате. Чунни был там не один. С ним были павлин, курица и кошка. Он удивился, увидев их. А они, увидев его, забеспокоились и стали проситься наружу. Все это показалось ему странным. В углу он заметил два меча, на которых можно было видеть

старые следы крови. К нему была привязана коробочка синдура[1] и красный ритуальный шнурок. Чунни забеспокоился. Он решил бежать и освободить животных.

Поздно вечером, когда за ними пришли, ни Чунни, ни животных в комнате не было. Чиновников охватила паника. Они кинулись в погоню, но мальчик очень хорошо знал лесные тропы и сумел скрыться. Ту ночь он провел в пещере. Деревня была далеко от его укрытия, добраться до нее он не смог даже к вечеру следующего дня. К тому же он боялся, что люди из компании снова схватят его.

Новость об исчезновении Чунни распространилась по округе как пожар. Когда ни он, ни животные не вернулись по домам, его домашние вместе с другими жителями деревни отправились на их поиски. Когда же пришли на место, где он обычно пас скот, к своему удивлению обнаружили, что все животные сбились в одном месте. Но Чунни там не было. Животных погнали в деревню, а поиски Чунни продолжались всю ночь, но его и след пропал. Самые разные опасения беспокоили его домашних и соседей.

Еще засветло в деревню прибыл чиновник компании и еще несколько служащих. Они попытались утешить домашних Чунни и отправили нескольких своих людей в лес и вокруг деревни, в основном для того, чтобы первыми найти его. Они также были уверены, что если даже опоздают и он все расскажет, то ему все равно никто не поверит. Ни у кого не возникло сомнений в искренности сострадания, выраженного ими родным мальчика. Едва солнце показалось над лесом, люди из компании вместе с деревенскими, наконец, обнаружили его. Он был очень напуган, но при виде односельчан и родных смелость вернулась к нему. Чиновники компании первыми стали расспрашивать его о тайне его исчезновения. Но он, конечно, узнал их в лицо и из-за смертельного страха не мог ничего рассказать. Даже отцу и деду он ничего не сказал.

После этого случая Чунни сильно изменился. Даже находясь дома, он дрожал от страха. Любой мог прочитать ужас в его глазах. Он останавливал на улице деревенских детей и предупреждал, чтобы они держались подальше от людей из компании. А потом и взрослых стал убеждать, чтобы они внимательно присматривали за своими детьми, курами и кошками, иначе люди из компании схватят их. Иногда он начинал бормотать что-то об опасности, угрожающей павлину, чьи крики доносились из леса. Но эти разговоры лишь вызывали улыбки и смех у окружающих.

То, что происходило с отцом Чунни, тоже было странным. Весь его урожай погиб. Его участок находился как раз ниже карьеров, и щебень с них постоянно попадал на него. Он стучал во все двери, но никто не хотел ему помочь. Взяв бумаги на землю, он отправился к патвари[2]. И каково же было его удивление, когда там он узнал, что эта земля ему даже не принадлежит и до сих пор он занимал ее незаконно. Он попытался возражать, но патвари ничего не хотел слышать. Он написал жалобу начальнику округа, но и оттуда пришла лишь отписка. Он обратился в суд, но и это не дало результатов.

На самом же деле, правда состояла в том, что эта земля, то есть участок отца Чунни, была для компании золотой жилой. Руководство компании, сговорившись с патвари, приписали эту землю к кооперативной. Патвари просто изменил все бумаги. И патвари, и начальник округа, и судья — все прилично заработали на этом деле.

---

[1] Синдур — порошок красного цвета, используемый при различных обрядах в индуизме.

[2] Патвари — представитель деревенской администрации. Писарь, который ведет кадастр общинной земли.

Для семьи Чунни это было равносильно смерти. Они не представляли, что им теперь делать. Кроме того, и Чунни доставлял немало хлопот.

Загадка его исчезновения так и оставалась неразгаданной. Разговоры его казались странными. А теперь он еще и потерял свой пиджак. Завтра еще что-нибудь потеряет, кто знает. Однажды он потерял козла. В тот день пришлось устроить ему сильную взбучку. Весь день козел пасся с другими животными, а вечером пропал неизвестно куда. Он сам искал козла до ночи, но так ни с чем и вернулся домой. Отец и кое-кто из соседей тоже искали животное, но так и не нашли. В конце концов, решили, что должно быть его сожрал тигр. На следующий день кто-то сказал, что его украли два человека из компании, и должно быть они его зарезали и съели.

На этом дело не кончилось. В деревне пропали еще несколько козлят. Дошло до того, что прямо с дворов стали пропадать куры. Подозрение падало на людей из компании, но никто не смел и рта раскрыть против них.

Лес, в который Чунни гонял своих подопечных, был довольно большим. В одном месте там раскинулись сосновые заросли. Не меньше тысячи деревьев. Власти объявили их заповедной зоной. Там запрещено было использовать любые орудия труда, как то топор или пила, хотя животных там пасти не возбранялось. Однако и они, согласно бумагам, оказались причисленными к кооперативным землям. Люди конечно пытались спорить, репортеры долго освещали это дело в средствах массовой информации. Но результаты оказались неутешительными. Там были залежи известняка, который нужен был компании. И вот потихоньку эти деревья начали вырубать.

Весть о вырубке первых семисот деревьев потрясла всю деревню. Для этих людей это был не просто лес, это была тень предков. Там паслись животные, женщины собирали там травы, туда пряталось солнце на закате. Крики павлинов далеко разносились из этого леса. Этот лес был домом как для людей, так и для животных и птиц. Он был источником пропитания. Он был пристанищем. А для Чунни он был раем.

Чунни ужасно беспокоила вырубка деревьев. Несколько дней он наблюдал за тем, как патвари вместе с несколькими сотрудниками компании ходили в этот лес, обдирали кору с деревьев и ставили на стволах номера черными чернилами. Однажды он спросил у одного мужчины:

— А что вы пишете на деревьях?

Вместо ответа мужчина напустился на него с криком:

— Отстань! И больше не приходи сюда со своими глупыми животными. Этот лес теперь принадлежит компании. Скоро весь вырубят.

Сказав это, он снова принялся сдирать кору с дерева, а другой человек поставил на нем номер. Чунни все это очень не нравилось. У него прибавилось забот. В пять часов, когда работники заканчивали работу, его работа только начиналась. Он ходил от дерева к дереву, поднимал кусочки оторванной коры и прилаживал их снова к стволам, там где были написаны номера. Работал он так чисто, что на следующий день никто не мог сказать, какой номер на каком дереве был написан. Но в один прекрасный день в компании узнали, что это его рук дело. Пожаловались родителям, и ему было раз и навсегда запрещено ходить в этот лес.

Чунни обожал эти сосны. Целыми днями он мог сидеть в их тени, Иногда он отрывал побеги и кормил животных. На его глазах птицы строили гнезда на их ветвях и выращивали в них своих птенцов. Он наблюдал, как мать издалека приносила еду для своих детей, а дети начинали неистово щебетать при звуке ее крыльев. Из гнезда высовывались голодные клювики, и мама по очереди клала в них что-нибудь

вкусное. Затем она накрывала их своими теплыми крыльями и они мирно засыпали. И Чунни на цыпочках уходил, чтобы шорох шагов не потревожил их сон.

Несколько раз он видел и логова животных. В одном месте была маленькая пещера. Там своих детенышей укрывала олениха. Чунни иногда ходил к этой пещере. Пару раз оленята были одни. Услышав его шаги, они вздрагивали в испуге. Он заговаривал с ними, и они притихали. Затем откуда-то появлялась олениха, заходила в пещеру и начинала кормить малышей молоком. Было удивительно, что присутствие Чунни ей совершенно не мешало. Кроме того, даже собаки, которые всегда крутились рядом с Чунни, никогда на них не лаяли.

Чунни слышал, что когда закончат помечать деревья, все их начнут вырубать. Он отчаянно просил помощи то одного, то другого. Отец пытался усмирить его:

— Что ты ерундой занимаешься? Слушай, Чунни, не мешай этим людям. Это очень опасные люди. Они на все способны. Мы люди маленькие, что мы можем сделать? Так что просто занимайся своим делом.

Чунни слушал в одно ухо, но все слова отца тут же вылетали из другого. Утром, ведя своих подопечных животных на выпас в долину, или вечером, возвращаясь домой, он продолжал потихоньку ускользать в эти сосновые заросли и прилаживать оторванную кору к деревьям. И людям из компании ничего не оставалось, как проделывать работу заново, что ужасно их злило. Чунни видел, что птицы уже не вили гнезда в этом лесу, животные все реже заходили туда. Не один раз он находил на земле скинутые и разбитые гнезда, а также мертвых птиц и даже птенцов. Чунни потерял покой. Он не мог ни есть, ни пить. Он целыми днями наблюдал за этим лесом, сидя на каком-нибудь холме. Животным теперь приходилось искать пропитание в открытых ущельях, птицам негде было вить гнезда. Многие из них стали жертвами взрывов.

И вот однажды, когда Чунни вернулся с пастбища, на нем не было старого дедовского пиджака. Он сказал, что оставил его в лесу. Но и на следующий день он пришел без него. Родные по очереди пытались выяснить у него, в чем тут дело, но так и не заставили его признаться. Его отец пошил этот пиджак четыре года назад у одного заезжего портного. Он был из шерсти их собственной овцы. Сколько труда стоило настричь достаточно шерсти. Целый год она лежала у ткачей не ссученная. Четыре года дед Чунни носил этот пиджак. Когда он стал совсем грязный, мать Чунни постирала его с золой и орехом, но он хоть и отстирался, сильно растянулся и стал совсем длинным. И Чунни стал иногда надевать его в лес.

Родные Чунни не могли слишком уж злиться на него. Он был единственным ребенком в семье. Но все-таки они расспрашивали его. А он либо придумывал какую-нибудь отговорку и убегал во двор, либо просто молчал. На той же неделе пропал пиджак соседа Будхрама. Еще через неделю пропажа случилась у дядюшки Матху. Затем кузнец Телирам куда-то подевал и свой пиджак. Вся деревня была поглощена тайной исчезновения пиджаков. Люди сбились с ног в поисках. Кое-кто даже потихоньку провел обыск среди рабочих компании, но так ничего и не нашел. Самым непонятным было то, что кроме пиджаков ничего больше не пропадало.

Как-то раз на рассвете Чунни выгонял своих животных. Там же были и остальные животные деревни. Теперь вся деревня доверяла ему свой скот.

Деревенские тетушки называли его своим Кишаном или Канхайей[1], а девочки, превращаясь в гопи[2], становились его дорогими спутницами. Это было еще и потому, что женская половина деревни не могла тратить много времени на присмотр за скотом. И в лице Чунни они нашли отлич-

ного помощника. Слухи о мальчике, который один пасет весь скот деревни, и который удивительно сильно любит животных, дошли даже до СМИ. Некоторые газеты напечатали о нем довольно большие статьи.

Чунни сам заходил в хлева и забирал животных. И вот, в тот день он, вместе со всеми своими любимцами вышел на дорогу. Там были коровы, волы, овцы, козы, собаки — все. Это не был какой-то особенный день. Но Чунни знал, что именно сегодня компания должна отправить в сосновые заросли несколько грузовиков, и именно сегодня там должна начаться вырубка деревьев. Именно поэтому он с самого утра стоял на дороге. Деревенские узнали об этом только тогда, когда семичасовой автобус, следующий в деревню, вынужден был остановиться и не мог прибыть вовремя. Водитель ничего не знал о Чунни и сначала попытался прогнать его с дороги. Дело чуть не дошло до драки. Но увидев рядом с ребенком собак, водитель молча вернулся в свой автобус. Стали собираться зрители. Отец Чунни накричал на сына, но это ни к чему не привело. Кое-кто попытался увести своих животных, но все они как один не пожелали возвращаться домой и продолжали медленно двигаться вперед по дороге. Мать Чунни, сложив в мольбе руки, кричала:

— Чунни! Сыночек мой! Что все это такое? Зачем ты перекрыл дорогу? Детка, отведи животных в долину, не мешай движению. Послушай меня! Не то эти люди вызовут полицию. Смотри, явятся люди из компании...

И вот впервые Чунни нарушил молчание. Он закричал что было сил:

— Нет, мама! Никуда я отсюда не уйду! Ты не знаешь, они сегодня собираются вырубать мой лес! Смотри, вон уже их грузовики едут!

Все посмотрели туда, где показались грузовики. Картина, представшая их взорам, потрясла и очень обеспокоила.

В открытых грузовиках стояли рабочие. И каждый держал в руках топор или пилу. Сегодня нужно было вырубить лес. Люди поняли в чем причина такого поведения Чунни. Но они так же понимали, что против топоров ни они, ни любое животное не смогут ничего поделать. И все таки вся деревня была там. И это была большая толпа. Но даже вся эта толпа была совершенно беспомощна по сравнению с Чунни и его животными. За грузовиками показались сине-желтые машины. Встретив препятствие, полиция была готова применить силу. Сперва толпу просто разгоняли. Затем в ход пошли дубинки. Ну, а когда полиция подняла ружья, толпа в панике начала разбегаться. Отец и дед Чунни тоже убежали вместе с остальными. Несколько мгновений звук ружейных выстрелов гнал их прочь. А перед полицией остались Чунни, его животные и его голосящая мать. Не увидев никакого эффекта, полиция и служащие компании обрушили на них всю свою силу. А они продолжали двигаться вперед. Мать Чунни причитала. Неизвестно, откуда пришелся удар, одна из дубинок угодила ей в голову. Она упала без чувств. Кто-то ударил дубинкой Чунни. Несколько мгновений он еще продолжал идти за своими безмолвными друзьями, а потом потерял сознание. Несколько животных также получили серьезные травмы, некоторые погибли. И даже несмотря на это было очень сложно противостоять всем этим животным. Случившееся стало известно далеко за пределами деревни. Теперь люди стали понимать, в чем была причина такого смелого противостояния Чунни. Очень скоро людские потоки хлынули к деревне.

Чунни с матерью в тот же день были доставлены в больницу без сознания. Оба были между жизнью и смертью. При виде погибших и постра-

[1] Кишан и канхайя — одни из имен Кришны, индуистского Бога пастушка.

[2] Гопи — девушки-пастушки, подруги детства и спутницы Кришны, среди них была и его жена Раддха.

давших коров и волов в людях вспыхнула ярость. Теперь это уже было убийство коров, и тут уж ни компания, ни даже власти не могли сдержать людской гнев. Дело приняло совершенно новый поворот. Весь штат охватила волна протестов.

Ни одно животное не вернулось в хлев после этого инцидента: ни коровы, ни овцы, ни козы, ни даже собаки. Они остались пастись по склонам и долинам. Собаки поднимали лай, едва завидев кого-нибудь из компании. Птицы безрадостно переговаривались на ветвях деревьев. В поисках воды они подлетали к горшочкам, что подвешивал для них Чунни, но там уже ничего не было. Обычно шумный и радостный лес теперь был тих. Лишь обезумевшие волки выли по ночам. Стаи ворон с криками кружили над огородами и полями, словно осыпая проклятьями компанию, чьи люди устроили недавние бесчинства.

Разыскивая своих животных, жители деревни однажды набрели на родник, рядом с которым те часто паслись под присмотром Чунни. Там, у подножия холма они увидели странную картину. Тут и там на кустах висели пропавшие пиджаки. И почти в каждом их кармане было свито гнездо. Услышав людей, из нескольких карманов выпорхнули с громким щебетом птицы. Наверное боялись, уж не из компании ли пришли разрушить снова их гнезда. Несколько подросших птенцов высовывали из карманов свои маленькие клювики.

Перевод с хинди Алеси МАКОВСКОЙ.



АЛЕКСАНДР КАРСКИЙ

*Академик Карский**

XX век начинается

Проект нового университетского Устава

Ректором Варшавского университета в начале XX века был известный специалист по сравнительному языковедению, профессор Григорий Константинович Ульянов, деканом историко-филологического факультета — доктор славянских наречий профессор Платон Андреевич Кулаковский, 14 февраля 1901 года сменивший на этом посту А. И. Смирнова. П. А. Кулаковский должен был также исполнять должность Ректора в случаях болезни или отсутствия последнего. Вообще в начале XX века наблюдается тенденция выдвижения на ведущие административные должности в Варшавском университете филологов. Кстати, Попечителем Варшавского Учебного округа до середины декабря 1901 года был также недавний университетский профессор — историк, доктор Римской словесности Г. Э. Зенгер. Именным Высочайшим Указом (17 декабря) он был назначен Товарищем Министра народного просвещения.

После убийства в начале 1901 года тайного советника Николая Павловича Боголепова (скончался 2 марта от огнестрельного ранения, нанесенного 14 февраля отчисленным из Московского университета студентом П. В. Карповичем) Министерство Народного Просвещения возглавил бывший военный министр, член Государственного совета, генерал-адъютант П. С. Ванновский. Знаменательно, что одним из первых своих приказов (№ 3 от 2 апреля) он ввел еще одну должность своего заместителя, на которую тут же был назначен начальник Главного Тюремного Управления, тайный советник И. В. Мещанинов. И вот такой состав Министерства предпринял попытку провести реорганизацию высших учебных заведений...

В Высочайшем рескрипте от 25 марта возвещались следующие задачи и цели реформы: «...коренной пересмотр и исправление нашего учебного строя, обновление и устроительство русской школы и внесение в дело воспитания русского юношества разума и сердечного о нем попечения...» Новый министр народного просвещения приступил к выполнению задания по-военному энергично. Уже в конце апреля во все университеты Империи были разосланы письма с предложением высказать свои соображения о желательных изменениях в уставах и штатах. При этом к министерскому предложению прилагался список из 19 вопросов, многие из которых были сформулированы так, что вселяли определенные надежды, например:

«1) Как должны быть поставлены должности ректора и деканов? В частности, какие неудобства представляет ректор по назначению Правительства и какие преимущества может иметь ректор, избираемый профессорскою коллегией?

...4) В каком размере должно быть увеличено штатное содержание профессоров, при котором они, не обременяя себя посторонними университету занятиями,

* Продолжение. Начало в № 9, 10 2010 г., № 8, 12 2011 г., № 3 2012 г., № 3 2013 г. Публикуется в авторской редакции.

получили бы возможность отдавать свое время и силы научным и преподавательским трудам и не только читать лекции, но и деятельно вести практические занятия со студентами?

...10) Какие меры могли бы привлечь студентов к более усердным занятиям и поднять уровень получаемого ими университетского образования?

...15) Не следует ли допустить студенческие организации и собрания студентов для обсуждения студенческих дел?..»

Послание нового министра с будоражащими вопросами зачитывалось на внеочередном заседании Совета Варшавского университета 2 мая 1901г. Для подготовки ответов было решено использовать только что, в конце апреля, созданную комиссию для выработки новых правил для студентов, в которую входило по 3 человека от каждого факультета (от историко-филологического, кроме декана П. А. Кулаковского, профессоры Е. Ф. Карский и Н. Н. Любович). Впрочем, комиссию эту увеличили, введя в нее, после голосования, еще 4 профессоров (от историко-филологического факультета — И. П. Филевича).

Как был воспринят министерский запрос? Об этом ясно говорит вскользь оброненная Е. Ф. Карским фраза: *«Третьего дня и нам предложили обсудить университетский устав на основе самоуправления. Остальное все по старому»* (из письма А. И. Соболевскому от 4 мая 1901 г.).

Следует заметить, что профессор Е. Ф. Карский и без того был загружен сверх всякой меры: с начала 1898 академического года он выполнял обязанности факультетского секретаря, с 21 мая 1900 года состоял членом Редакционной комиссии по изданию «Варшавских Университетских Известий» и книг ученого содержания. Только по истечении трех лет, 1 сентября 1901 года, Е. Ф. Карский наконец снимет с себя секретарские обязанности. Но как раз на тот сентябрь пришелся пик работы комиссии по подготовке ответов на министерские вопросы, вызванные предполагавшимся изменением уставов и штатов. Были жаркие дискуссии. Не обошлось, конечно, и без конфузов. В печать просочились сведения о постановлении комиссии столичного университета, сам министр узнал о нем только из газет, что, естественно, вызвало неудовольствие на самых верхах. Последовало грозное обращение к комиссиям: ничего не публиковать без особого разрешения!

Интересно, что предложения, выработанные комиссией Варшавского университета и рассмотренные Советом, все-таки были напечатаны отдельной брошюрой. Какие-либо выходные данные на ней отсутствуют. Благодаря этой брошюре можно составить представление, в каких жарких спорах выкристаллизовывалось представление об основах университетского самоуправления. Неоднократно многие профессора высказывали по разным вопросам свое особое мнение, впрочем, фамилия Е. Ф. Карского встречается лишь однажды, следовательно, в основном его мнение совпадало с возобладавшим в комиссии и в Совете.

По первому вопросу, о выборности Ректора, в брошюре читаем: «Ректор и деканы должны быть избираемы на 3 года, первый — Советом, вторые — факультетами, из профессоров ординарных и экстраординарных». При обсуждении этого вопроса разнобой был необычайно велик, особое мнение высказали 13 человек.

Больше единодушия оказалось в вопросе об увеличении окладов: предлагалось повысить содержание ординарным профессорам вдвое — до 6000 рублей, а экстраординарным — до 4500 рублей. Впрочем, это было похоже на несбыточные мечты.

На вопрос о мерах для повышения уровня университетского образования все факультеты, естественно, заявили о необходимости увеличить число преподавателей. Что касается студенческих организаций, то большинство профессоров проявило благородную широту взглядов:

«Совет считает желательным допустить следующие виды студенческих организаций:

1. Обще-студенческие организации, обнимающие всех студентов как таковых: курсовые. Факультетские и обще-университетские собрания с выборными во главе представителями курсов — старостами.

2. Организации взаимопомощи — кассы, столовые. Читальни, дешевые квартиры и пр.

3. Кружки в целях товарищеского общения на почве самообразования и саморазвития.

...Совет считает возможным допустить студенческий товарищеский суд чести... Совет высказал пожелание, чтобы было допущено образование студенческих организаций и другого рода, а именно — кружков в целях товарищеского общения, которые бы стояли вне ведения университета».

Особое мнение профессора Е. Ф. Карского отмечено только в вопросе о научном цензе лиц, которых можно допускать к приват-доцентуре. Он присоединился к мнению профессора В. П. Амалицкого, который признавал право на приват-доцентуру только за теми, кто уже приобрел ученую степень: «допущение в пр.-доценты лиц, не приобревших ученой степени вредно для них самих».

На декабрьском заседании Совета было рассмотрено предложенное комиссией новое штатное расписание, а также приблизительная смета на содержание университета. Если до сих пор бюджет университета составлял около 450 тысяч рублей, то теперь, по прикидкам, на одно только жалованье профессорам и служащим потребовалось бы 760 тысяч, а общие расходы перевалили бы за 940 тысяч. Вряд ли такие предложения Министерство Народного Просвещения приняло бы к исполнению.

Обращает на себя внимание близость двух дат: 5 декабря Совет рассматривает предложения комиссии по штату и бюджету, а за день до этого, 4 декабря, в химической аудитории происходит сумбурная сходка студентов. Думается, университет тогда был полон всяческих слухов, воздух был буквально наэлектризован. Требования молодежи неясны, известно только, что студенты «нарушили обычный порядок университетской жизни, воспрепятствовав профессору Беваду прочесть положенную по расписанию лекцию, и оказали неподчинение университетскому начальству».

Волнение, вероятно, охватило, главным образом, естественное отделение физико-математического факультета. На историко-филологическом факультете, особенно на славяно-русском отделении, где училось всего несколько человек, похоже, обстановка была спокойней.

Замыслы и планы начала 1902 года

Получив поздравление А. А. Шахматова, профессор Е. Ф. Карский немедленно ответил: *«Хотя я и не знаю, кто предложил меня в члены-корреспонденты Отделения р. яз. и сл., но я убежден, что в оказанной мне чести Вы принимали горячее участие. Поэтому считаю долгом выразить Вам мою искреннюю благодарность за внимание к моим посильным трудам и за всегдашнее благосклонное ко мне отношение. Я готов всячески содействовать предприятиям Отделения, особенно в области, которую Вы наметили. Я уже послал в Рум. муз. запрос — могут ли выслать в библиотеку нашего университета Листки Ундольского для фототипических снимков...»* (из недатированного письма; несомненно — начало января 1902 г.). Интересно, что черновик этого ответа набросан прямо на письме академика.

Из приведенного текста становится ясно: критическое замечание П. К. Симони, что в «Очерке славянской кирилловской палеографии» отсутствует упоминание о В. М. Ундолском, послужило для Е. Ф. Карского толчком к исследованию наследия этого выдающегося русского палеографа XIX столетия, и в этом начинании его поддержал академик А. А. Шахматов. Рассматриваемое послание

вообще крайне любопытно, так как в нем сообщается программа работ не только на ближайшее время, но и на отдаленную перспективу:

«Что касается белорусского словаря, то на этот предмет я держусь такого взгляда: этот словарь должен быть непременно научный; он должен заключать в себе слова современных белорусских говоров и старого западнорусского наречия; кроме того, при словах иностранных должно быть указано их происхождение.

Имея в виду такие цели, я решил приступить к словарю несколько издалека: сначала точно определить белорусскую территорию и составить этнографич. карту (это уже мною сделано, остается только кое-что проверить лично, что я и постараюсь исполнить наступающим летом); затем коснуться древнейших обитателей Белоруссии и тех влияний, которые сказались на белорусском наречии; влияний на белорусскую народность в период литовско-польского государства. Дальше придется привести в известность все произведения с особенностями белор. наречия (вся библиография по изучению белорусского наречия). Белорусские говоры. Исторический очерк белорусского наречия — фонетика и морфология (отчасти переиздание известных моих работ). Белорусский словарь. Особенности словообразования в белорусском синтаксисе».

Здесь в сжатой форме дается план будущего главного труда ученого — «Белорусов». Для полного осуществления многотомного издания потребуется долгих двадцать лет. Впереди ждут тяжелые испытания: войны, революции, разруха, голод. Но ученый не отступит, и задуманное с таким размахом в начале 1902 года, несмотря ни на что, все-таки будет доведено до последней точки!

Однако кроме долгосрочных планов была еще и повседневная текучка. В январе, после каникул, новый член-корреспондент Академии Наук, ординарный профессор Е. Ф. Карский продолжил чтение лекций: студентам 1 и 2 курсов, сводно, грамматику древне-церковно-славянского языка (2 часа в неделю), а студентам 3 и 4 курсов славяно-русского отделения историю русского языка (2 часа в неделю) и русскую народную словесность (1 час). С теми же старшекурсниками 1 час в неделю проводились практические занятия по древнему церковно-славянскому синтаксису (сравнительно с современным русским).

В это же время, в начале года, Е. Ф. Карский готовит повторное издание атласа с фотоснимками старинных текстов. Ведь еще в прошлом апреле, вскоре после выхода альбома, он делился с А. И. Соболевским: *«Выпущенные мною «Образцы славянского кирилловского письма», по-видимому, пришлись по вкусу учащимся: пущенные в продажу 60 экз. разошлись в течении месяца и еще получено требований экземпляров на 50. Думаю в этом месяце выпустить 2-е издание...»* (из письма от 9 апреля 1901 г.). Однако по какой-то причине переиздание тогда было отложено. О состоянии дел в начале 1902 года лучше всего говорит письмо М. Н. Сперанскому, профессору Нежинского Историко-Филологического Института, которое приведу полностью:

21 янв. 1902 г., Пенкная, 39.

Многоуважаемый Михаил Несторович!

Возвращая при сем (заказной бандеролью) Ваши снимки, приношу сердечную благодарность за них. Насколько позволили средства, я воспользовался ими, и экземпляр 2-го издания «Образцов» через месяц преподнесу Вам. Очень благодарен Вам за сочувственный отзыв о моей палеографии в Архиве Ягича.

Весь Ваш Е. Карский.

Следовательно, второе издание альбома иллюстраций вышло во второй половине февраля. Заслуживает внимания упоминание о рецензии в издававшемся в Берлине на немецком языке журнале «Archiv für Slavische Philologie». Действительно, в книге 2 тома XXIII (1901 г.) обнаружен обстоятельный разбор «Очерка славянской кирилловской палеографии», который ранее не упоминался в списке работ о Е. Ф. Карском. Таким образом, можно утверждать, что уже в самом начале XX века это имя стало хорошо известно ведущим европейским славистам (тут

следует напомнить, что первые рецензии на работы Е. Ф. Карского появились в том же журнале еще в 1896 году).

В январе 1902 года большую активность и деловитость проявил Е. Р. Романов, редактировавший тогда неофициальный отдел «Могилевских Губернских Ведомостей». 6 января он поздравил Евфимия Федоровича с избранием в члены-корреспонденты и Ломоносовской премией; вслед за тем, в конце января, в его отделе публикуется очень важная работа ученого «К вопросу об этнографической карте белорусского племени», причем сразу же отпечатано несколько десятков оттисков и часть из них разослана по редакциям губернских и епархиальных газет Северо-Западного края для перепечатки; эта же статья включена была еще и в III выпуск «Могилевской Старины». Об этом Е. Р. Романов 5 февраля сообщил Е. Ф. Карскому в открытом письме при отсылке 30 оттисков.

Отправляя один из оттисков статьи А. А. Шахматову, Е. Ф. Карский продолжал делиться с академиком своими планами: *«Я решил сначала напечатать этот очерк в разных губернских ведомостях белорусского района: авось кто-либо предложит поправки или дополнения в указанных мною границах. Летом я лично решительно намерен посетить крайние восточные и южные области Белоруссии. Конечно, много мест не объеду, так как не могу отпустить для этого большой суммы денег, просить же у Университета или Академии о пособии я несколько стесняюсь, так как в этом же году я получил премию в 500 р.»* (из письма от 11 февраля 1902 г.). Вот когда, оказывается, была задумана поездка по границам белорусских земель! Однако и не мудрено, что ее пришлось перенести: уж больно насыщенным другими серьезнейшими делами оказался 1902 год. Из того же письма становится известно, что уже начат всеобъемлющий труд, посвященный белорусскому языку и народной словесности (готово приблизительно на 5 печатных листов), что предпринимаются шаги к формированию творческого коллектива, способного составить научный белорусский словарь, для чего ведется переписка с такими признанными специалистами, как Никифоровский. Романов...

Составление словаря белорусского языка в начале 1902 года представлялось Е. Ф. Карскому делом ближайшего будущего. Оптимизмом полны и письма той поры Е. Р. Романова. Он предлагал приступить к делу уже летом, советуя привлечь к сотрудничеству Сапунова, Стукалича, Пщелко. Но осознававшаяся Е. Ф. Карским необходимость сперва подготовить основательную научную базу, привела к тому, что основные свои усилия он сосредоточит на создании многотомного капитального труда «Белорусы». А работа над словарем все откладывалась и откладывалась... Да и круг словарников так и не сложился: у всех было полно своих собственных дел и забот.

Листки Ундольского

В начале февраля Е. Ф. Карскому показалось, что необходимость в его исследовании старинных манускриптов из архива В. М. Ундольского отпала сама собой. Дело в том, что в Варшаве в то время полным ходом шла подготовка к печати сборника, посвященного заслуженному профессору Ф. Ф. Фортунатову (академику с 1898 года), по случаю тридцатилетия его научной и преподавательской деятельности в Московском университете. Все хлопоты по изданию взял на себя А. И. Смирнов, желавший перед уходом на пенсию отличиться крупным проектом; статьи стекались в редакцию «Русского Филологического Вестника». Конечно, профессор Е. Ф. Карский имел возможность предварительно познакомиться с присланным материалом. И вот он увидел, что работа профессора В. Н. Щепкина посвящена заинтересовавшим его рукописям.

В создавшейся ситуации Е. Ф. Карский повел себя очень достойно, в соответствии с высокими канонами научной этики. Он сообщает академику А. А. Шах-

матову о поступившей статье, назвав ее прекрасной, заметив только, что недостает иллюстраций и полного текста сохранившихся листков. В связи с этим он предлагает использовать имеющиеся у него две страницы снимков (клише). Эту же статью В. Н. Щепкина, с приложением полного текста и фотоснимков, ученый рекомендует напечатать и в очередном выпуске «Памятников старославянского языка», где предполагалось поместить его собственное исследование. При этом он спокойно замечает: *«Издать Листки Ундольского мне не суждено»* (из письма от 11 февраля 1902 г.).

А. А. Шахматов взялся разобраться в этом вопросе и немедленно связался с В. Н. Щепкиным. Ситуация прояснилась в начале марта, о чем академик тут же и сообщил в Варшаву: *«Щепкин просил Вам передать, что не находил бы необходимым присоединять Ваших снимков к его статье. «Моя заметка, — пишет он, — не более как очень специальное дополнение к тому исследованию, которого вправе ожидать от Е. Ф. Карского Отделение. Я принципиально не исчерпываю памятник с точки зрения языка и останавливаюсь главным образом на вопросах глаголической орнаментики»... Итак, мы ждем издания Унд. листков от Вас»* (из письма от 6 марта 1902 г.).

В те же дни и сам Вячеслав Николаевич Щепкин разъяснил свою позицию в письме к Е. Ф. Карскому: *«Алексей Александрович Шахматов сообщил мне о вопросе, возникшем у Вас по поводу издания Отрывков Ундольского. Я писал мою статью для Фортунатовского Сборника в той надежде, что она никоим образом не затруднит издания памятника... Работа по изданию Савиной книги так поглощает меня в настоящее время, что я не могу думать ни о каком другом издании. Это конечно не исключает готовности моей просмотреть одну корректуру Вашего издания по оригиналу, если Румянцевский Музей — вопреки двукратным настояниям моим — не решится выслать оригинал в Варшаву»* (из письма от 7 марта 1902 г.).

Теперь Е. Ф. Карский мог спокойно приниматься за работу. Но статья «Листки Ундольского, отрывок кирилловского евангелия XI века» была завершена только к середине осени, видимо, из-за возникших трудностей с получением древней рукописи. Сохранилось письмо на имя А. А. Шахматова, из которого видно, что законченное исследование было направлено в Отделение русского языка и словесности 8 октября. Опубликовано же оно будет в 1904 году.

Что касается профессора В. Н. Щепкина, то он проявил высочайшую требовательность при правке корректуры своей сложной для печатников статьи. А. И. Смирнов писал А. А. Шахматову: *«Щепкин не удовлетворился набором и желает, чтобы буквы и знаки были такие, как в рукописи, а в наборе сделаны приблизительные. Если делать новые буквы и знаки, то дело затянется на неопределенное время...»* (из письма от 3 мая 1902 г.). С огромными трудностями работа над сборником к осени была завершена. Редактор с радостью и облегчением сообщает тому же академику: *«Извещаю Вас, что печатанье Сборника окончено, портреты получены, цензурное разрешение есть, и сам Сборник отдан теперь для брошюровки. В понедельник все будет готово... Сборник вышел большой, в 45 листов или 720 страниц»* (из письма от 20 сентября 1902 г.).

Сборник, действительно, получился очень солидный. Под одной обложкой оказались работы 33 крупнейших филологов, в том числе и зарубежных: из Вены, Парижа, Христиании, Белграда, Праги, Берлина, Бонна. Широко были представлены и научные центры Российской Империи: Санкт-Петербург, Москва, Варшава, Казань, Юрьев, Харьков, Одесса, Гельсингфорс. В блестящем ряду имен значатся и профессора В. Н. Щепкин и Е. Ф. Карский. Работа первого — «Листки Ундольского», — не претендуя на полноту разбора древних рукописей, тем не менее является ценным вкладом в их изучение. Работа второго — «К вопросу о влиянии литовского и латышского языков на белорусское наречие», — несомненно, очень важное и актуальное исследование, находящееся в русле волновавшей тогда ученого проблемы границ белорусского языка. Статья эта была

закончена и передана в Сборник в начале апреля, и тогда же Е. Ф. Карский на очередном заседании историко-филологического отделения Общества истории, филологии и права при Варшавском университете прочитал основанный на ее материале доклад.

Общество истории, филологии и права

В Варшаве еще в конце XIX века появились научно-практические объединения: Общество врачей и Общество естествоиспытателей. На рубеже веков подошло время и гуманитариев. Устав Общества истории, филологии и права при Императорском Варшавском университете был утвержден Министром народного просвещения Н. П. Боголеповым 24 ноября 1900 года, за три месяца до трагической гибели. Вероятно, вопрос о необходимости создания такого Общества впервые был затронут во время посещения тайным советником Н. П. Боголеповым Варшавского университета и его встречи с профессорами 1 декабря 1898 года, о чем промелькнуло сообщение в местной прессе.

Согласно Уставу, Общество создавалось для разработки общих и специальных научных вопросов, в том числе и по местной истории, археологии, этнологии (§ 1). Состояло оно из двух отделений: историко-филологического и юридического (§ 3). Действительными членами могли быть, разумеется, профессора и преподаватели университета, а также и других высших и средних учебных заведений, кроме того, вообще все лица, имеющие дипломы о высшем образовании или приметные научные публикации, да и просто известные педагогической или юридической практикой (§ 8 а, б). Устав Общества предусматривал не только чтение и обсуждение научных рефератов, но и открытие собственного научного издания, причем свободного от предварительной цензуры (§ 38). Были и другие преимущества: можно было наладить контакт с аналогичными обществами как внутри Империи, так и за границей, получить доступ к архивам старых дел при местных правительственных учреждениях, предоставлялась возможность устраивать платные публичные лекции (§ 2).

И еще один пункт, думается, появился не без участия профессора Е. Ф. Карского, участвовавшего в обсуждении проекта Устава на правах одного из учредителей. Общество могло: «...5. Снаряжать ученые экскурсии для изучения местных древностей, для собирания и приобретения рукописных актов старого времени, также памятников народного творчества (песен, былин, пословиц и проч.), сохраняющихся в отдельных местностях, — для изучения местных говоров и наречий (русских, польских и литовских), для собирания на месте разных предметов и материалов по местной археологии, этнографии, обычному праву и пр., с выдачей членам общества, командируемым в экскурсии, открытых листов от имени совета общества для беспрепятственного посещения мест, где находятся предметы научных разысканий»(§ 2).

Целый год после принятия Устава шла подготовительная работа, собрания носили организационный характер. Первым председателем Общества стал профессор Ф. И. Леонтович, его товарищем (заместителем) — профессор Н. Н. Любович. На одном из собраний профессор Е. Ф. Карский был избран председателем историко-филологического отделения.

Наконец, в воскресенье, 30 сентября 1901 года, на торжественном заседании в стенах Варшавского университета было объявлено о начале научной деятельности Общества истории, филологии и права. После приветственных слов Н. Н. Любовича выступил председатель историко-филологического отделения. В своей речи он коснулся тех задач, которые, по его мнению, должны лечь в основу предстоящей работы. В частности, Е. Ф. Карский сказал: «...***первая*** и самая необходимая ***задача*** нашего общества — описание рукописей, грамот и актов, имеющихся в варшавских, а затем и в соседних книгохранилищах, сначала тех

из них, которые писаны кириллицей, а потом и других... ***второю*** нашей ***задачей*** может быть исследование тех произведений русской словесности и отчасти ученой литературы прежнего времени, на которых сказывается или может быть предполагаемо западное влияние. Очень близка к отмеченным двум ***задачам*** и ***третья*** — исследование тех эпох русской истории и жизни вообще, которые имеют непосредственное отношение к западной Европе и Польше». Далее оратор указывает на открывающиеся теперь новые возможности в научном поиске — изучение древних юридических памятников с помощью последних достижений филологии, в частности палеографии, и наоборот, проведение исторических и филологических исследований с привлечением юридических дисциплин.

Затем Е. Ф. Карский коснулся занимавшей его в последнее время проблемы установления границ белорусского, малорусского и польского языков. Исследование быта, народной поэзии, языка, норм права населения пограничных районов и составление на строго научных основах этнографической карты — все это также представляется ученому важнейшим направлением деятельности Общества. Упомянул он и о необходимости установить посредством раскопок особенности быта доисторических обитателей привисленских земель.

Наконец, еще одной задачей Общества, памятуя о том, что большинство его членов — преподаватели высших и средних учебных заведений, выступавший назвал разработку различных педагогических вопросов, особенно актуальных ввиду намечавшейся реформы школы.

Первое рабочее заседание историко-филологического отделения под председательством профессора Е. Ф. Карского состоялось 20 октября 1901 г., в субботу. Присутствовало 28 человек. Заслушаны были доклады П. А. Заболотского и С. Н. Браиловского, председатель отделения выступал в прениях.

И в дальнейшем заседания отделения происходили в основном по субботам. В 1901 году их было еще два: 10 ноября и 1 декабря.

В начале 1902 года, в воскресенье, 27 января, состоялось годичное собрание Общества, с отчетами и решением разных общих вопросов. А 21 февраля, в 50-летнюю годовщину кончины Н. В. Гоголя, прошло совместное заседание Общества и Совета университета, посвященное памяти великого писателя.

Из заседаний историко-филологического отделения в начале 1902 года следует выделить следующие:

7 апреля — Е. Ф. Карский читает доклад «К вопросу о влиянии литовского и латышского языков на белорусское наречие». Как уже сообщалось, статья эта затем была передана А. И. Смирнову для напечатания в Сборнике в честь академика Ф. Ф. Фортунатова;

23 апреля — председатель отделения Е. Ф. Карский выступает с кратким вступительным словом на заседании, посвященном памяти поэта В. А. Жуковского в связи с 50-летием со дня его кончины;

23 мая — известный сказитель И. Т. Рябинин пропел три былины и один духовный стих.

Успех последнего мероприятия был огромен. В протоколе заседания лаконично записано: «...присутствовало очень много членов Общества. Наплыв слушателей объясняется целью, с которою было назначено заседание...». Сохранилось и название былин, пропетых сказителем: «Об Илье Муромце и Соловье-разбойнике», «О Волге и Микуле Селяниновиче», «О Добрыне и Змее». А духовный стих был о Вознесении Господнем и нищей братии.

Редактирование III тома «Материалов» П. В. Шейна

В напряженные планы на 1902 год вклинилось неотложное дело: необходимо было срочно завершить издание III тома «Материалов для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края» покойного П. В. Шейна.

Нельзя сказать, что для Е. Ф. Карского эта задача стала полной неожиданностью. Положение дел с прерванным набором III тома было ему хорошо известно, ведь он по просьбе собирателя еще в 1899 году регулярно вычитывал гранки и исправлял допущенные типографией оплошности. Фактически Е. Ф. Карский добровольно принял на себя редакторские обязанности во время длительной болезни П. В. Шейна. Об этом свидетельствует переписка.

В начале весны 1899 года П. В. Шейн жалуется Е. Ф. Карскому в письме из клиники профессора Бехтерева: *«Вот уже второй месяц, как из типографии не присылают корректуры — ни белорусского, ни русского сборника. Первый остановился на 28-м листе, а последний на 49-м»* (из письма от 3 марта 1899). Последовавшие в том же месяце еще два письма, к сожалению, не сохранились, но зато имеется ответ Е .Ф. Карского, вносящий полную ясность: *«По поводу Ваших писем от 25 и 30 марта спешу ответить следующее. Корректуру 2-х листов Бел. Сб. я получил, прочел и уже давно отправил к Вам в клинику»* (из письма от 6 апреля 1899 г.). Тот час же из клиники было направлено еще одно послание: *«Весьма Вам благодарен за прокорректированный Вами лист, который я получил в свое время. Теперь, вместе с этим письмом отправляю к Вам следующий полулист для исправления. Он заключает в себе сборничек свадебных, Вами записанных песен, давным давно предоставленный Вами в мое распоряжение. Вместе с гранками посылаю и Ваш оригинал: м. б. Вы сделаете кое-какое примечаньице»* (из письма от 9 апреля 1899 г.).

Вот когда в руках Евфимия Феодоровича оказались давние записи, сделанные им некогда в Березовце и Еремичах! Не вошедшие в подборку песен, опубликованную в «Русском Филологическом Вестнике», они в 1887 году были отправлены П. В. Шейну, но опоздали к очередному тому «Материалов» — и оказались отложенными на долгих двенадцать лет! И все-таки эти 26 свадебных песен дойдут до читателей — и сноски к ним, поясняющие отдельные слова, будут сделаны уже маститым профессором!

В том же письме от 9 апреля собиратель поделился своими огорчениями: *«Вы немало будете удивлены строками великорусского свадебного причета, которые нахально торчат пред началом Ваших песен. Представьте же мое горе, мое негодование, когда я получил несколько гранок смеси великорусских текстов с белорусскими. Это значит, что блюстители типографского дела в академич. типографии свалили и смешали в одну кучу оригиналы моих двух разнокалиберных сборников»*. Е. Ф. Карский тогда еще не подозревал, что разбираться со всем этим в конце концов придется ему. По какой-то причине набор книги был приостановлен. П. В. Шейн сообщал: *«III т. «Материалов» лежит пока без движения, он остановился на 30-м листе»* (из письма от 7 октября 1899 г.). В конце того же месяца Е. Ф. Карский, выражая сожаление по поводу задержки с выходом сборника «Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках легендах и т. п.», с грустью замечает: *«Жаль, что и белорусский не печатается: хорошо бы XIX столетие закончить Вашим сборником»* (из письма от 31 октября 1899 г.). Этому, однако, не суждено было осуществиться. 14 августа 1900 года собиратель умер.

Осенью того же года в Отделении русского языка и словесности Академии Наук, на заседании 30 сентября, поднят был вопрос о незавершенных изданиях. Вот выдержка из протокола: *«XXII. Академик А. А. Шахматов внес в Отделение первую ежемесячную ведомость о ходе набора и печатания разных изданий Отделения и обратил внимание на положение следующих изданий, предназначавшихся для включения в сборник Отделения: ...5) П. В. Шейн. «Материалы для изучения быта и языка русского населения Северозападного края», Т.III, Отд. I. Отпечатано 30 листов, 2¾ листа в наборе»*. Как видим, ничего не изменилось, все те же 30 листов!

Пройдет еще более года, судьба III тома «Материалов» по прежнему будет неопределенной. Видимо, это беспокоило Е. Ф. Карского, и в начале 1902 года

в письме к академику А. И. Соболевскому он делится своими планами: *«На католическую Пасху (с 10 по 23 марта) собираюсь в Петербург позаняться в библиотеках, главным образом, библиографией по белорусской этнографии и диалектологии. Кроме того, мне бы хотелось предложить Отделению под моей редакцией выпустить неоконченный покойным Шейном последний том “Материалов”»* (из письма от 8 января 1902 г.). Таким образом, получается идея, как наилучшим образом выйти из создавшегося положения, принадлежала новому члену-корреспонденту Академии Наук Е. Ф. Карскому. Да и кто, в самом деле, мог лучше его разобраться в неопубликованных материалах?

Спустя некоторое время, пришло письмо от академика В. И. Ламанского. На листке нет даты, но исходя из содержания и учитывая, что ответ на него датирован 27 февраля, можно отнести его к двадцатым числам того же месяца. Академик сообщал, что поскольку 480 страниц сборника П. В. Шейна уже отпечатаны, II Отделение Академии Наук решило выпустить его в незавершенном виде. Суть же обращения оказалась весьма скромной: *«Просьба наша состоит в том, чтобы Вы не отказались просмотреть и, если можно, исправить и восстановить последн. строчку на стр. 481. Не откажитесь также, многоуважаемый Евфимий Федорович, сообщить Ваше мнение, стоит ли напечатать и приложить к концу тома текст гранок. Простите за причиняемое беспокойство и примите уверенье в глубоком моем уважении и преданности»* (из недатированного письма, <февраль 1902 г.>).

Ответ Е. Ф. Карского был деловит и конкретен: *«С большим удовольствием я возьму на себя труд по окончанию сборника покойного Шейна, необходимо лишь, чтобы академическая типография выслала мне 1 экз. всех 30 листов этого тома... 31 лист (стр. 480 и след.) мною еже прочитан, и недостающее восстановлено...»* (из письма от 27 февраля 1902 г.).

Итак, дело пошло на лад. Более конкретные цели приобрела и поездка во время католической Пасхи в столицу. В Санкт-Петербурге Е. Ф. Карский пробыл, видимо, как и предполагал, недели две. За это время он очень многое успел. Вернувшись в Варшаву, отправил В. И. Ламанскому краткий отчет: *«Будучи в Петербурге, я оставил у Вас приведенные в порядок материалы для 32 листа белорусского сборника покойного П. В. Шейна. Академическая типография доставила мне 31 лист еще перед Пасхой, а 32 лист до сих пор не представляет. Не затерялся ли он в типографии? Я уже составил список опечаток у Шейна и предметный указатель ко всему сборнику, но, не имея 32 листа, не могу переписывать ни того ни другого, а хотелось бы до отъезда на каникулы со сборником Шейна покончить»* (из письма от 25 апреля 1902 г.).

Дело, однако, затянулось. Следующее письмо Е. Ф. Карского, адресованное В. И. Ламанскому, датировано уже 9 сентября 1902 года (оно было обнаружено в бумагах ОРЯС, относящихся к научному наследию П. В. Шейна). *«Летом я прочел последние корректуры белорусского сборника Шейна, тогда же сдал в академич. типографию поправки к нему, указатель и маленькое предисловие... Хорошо было бы... поместить в нем портрет Шейна и список его трудов... Портрет с собственноручной подписью «П. Шейнъ» под ним есть у меня. Клише для автотипии можно сделать и здесь, обойдется рублей 5»*. На письме есть пометка о том, что рассмотрение его было вынесено на ближайшее заседание ОРЯС, которое состоялось 21 сентября (статья XVI). Принятое решение отражено в лаконичной записи на свободном пространстве этого же листка: *«Ограничиться портретом и просить Карского заказать портрет»*. Однако сразу же оповестить об этом инициатора предложения забыли.

В конце года, как водится, возникла спешка. И тут спохватились: нет портрета! Как видно из пометки в черновике протокола заседания ОРЯС от 21 сентября, выписку из статьи XVI направили Е. Ф. Карскому только в четверг 19 декабря (письмо № 699). А в Варшаву тогда уже пришла записка от академика А. А. Шахматова: *«Многоуважаемый Евфимий Федорович! Вероятно, Вы*

получили от Отделения официальную бумагу с просьбой заказать клише для портрета Шейна в Варшаве. Теперь его желательно иметь возможно скорее» (из письма от 17 декабря 1902 г.). Евфимий Феодорович, должно быть, удивился, поскольку никакого официального уведомления он не получал. Но было ясно — дело срочное, безотлагательное. Он тут же, в конце недели, договаривается с фотомастерской и в воскресенье отвечает: *«Клише портрета Шейна уже заказано и 26 утром будет выслано в Петербург, так что 29 декабря его можно будет получить в Отделении. Печатанье в Академической типографии займет лишь несколько часов»* (из письма от 22 декабря 1902 г.).

По какой-то причине произошла задержка на день, что становится ясно из письма академику В. И. Ламанскому: *«Клише портрета Шейна в Петербурге уже должно было быть получено 30 декабря, т. к. отсюда выслали его 27 декабря»* (из письма от 6 января 1903 г.).

Вероятно, книга была выпущена в самые последние часы года, указанного в выходных данных, на титульном листе. На обороте титульного листа читаем: «Напечатано по распоряжению Императорской Академии Наук. С.-Петербург, Декабрь 1902 г. Непременный секретарь, Академик Н. Дубровин». Замечательно, что книга с фотографией покойного автора успела выйти в срок!

XII Археологический съезд в Харькове

1902 год в жизни Е. Ф. Карского отмечен еще одним ярким событием — XII Археологическим съездом. Судя по всему, участие в этом мероприятии первоначально не входило в планы ученого, ведь он, как известно, намеревался тем летом поездить по белорусским землям с целью уточнения подготавливаемой им этнографической карты. Но в конце марта, когда решалось, кого от Варшавского университета направить на съезд, он изъявил свое согласие на эту командировку. Почему? Вероятно, он посчитал, что, поскольку в Харьков съедутся ведущие этнографы страны, ему представится прекрасная возможность уточнить свои позиции в таком щекотливом вопросе, как разграничение языков и народов, именно там можно будет услышать наиболее квалифицированные советы и замечания.

С начала XX века стиль протоколов заседаний университетского Совета стал более лаконичным, а при публикации их почти все слова подвергались сокращению. Вот, к примеру, как выглядит информация, имеющая отношение к нашему повествованию:

«№ 4, 28 марта.

Представления Истор.-фил. факультета.

...12. От 27 марта с.г. за № 25 о коман. орд. проф. ***Карского*** в гор. Харьков на XII Археол. Съезд, им. быть с 15 августа с. г. и об ассиг. ему 200 руб., из факультетских сумм, в пособие по эт. ком.

Положили: ходатайствовать».

«№ 5, 30 апреля.

...2. Результат баллотировки на выдачу орд. проф. ***Карскому*** ком. пособия в размере 200 руб. Положено шаров: положит. 35, отрицат. 5.

Положили: ходатайствовать».

«№ 6, 1 июня.

Предложения Г. Попечителя Варш. Учеб. Окр.

...3. От 18 мая с. г. за № 10488 о том, что с Высочайшего соизволения команд. в текущем году с ученою целью г.г. профессоров: ***Карский*** в гор. Харьков с 15 по 27 августа...».

Обращает на себя внимание, что, в отличие от прошлых лет, на Археологический съезд от университета был командирован лишь один профессор. Сказыва-

лось наступление экономического неблагополучия. Удручает и то, как чиновники Варшавского Учебного Округа продолжали использовать талантливого ученого с европейской известностью, члена-корреспондента Академии Наук: вместе с 7 другими университетскими профессорами Е. Ф. Карский в очередной раз был назначен депутатом от окружного начальства на экзамены в городские гимназии. И это при том, что ученый, как никогда, был загружен работой, и перед ним вставали все новые, еще более масштабные, задачи!

Неизвестно, где и как Евфимий Феодорович провел летние месяцы до отъезда в Харьков. Установлено, что в июле, 19 числа, в Волме скончалась его мать, Магдалина Онуфриевна. В архиве автора имеется копия выписки из третьей части метрической книги, об умерших в 1902 году в этом местечке. Матери ученого было тогда 60 лет. В графе «От чего умерла» написано как-то двойственно: «От бронхита легких — чахотки». Болезнь, очевидно, не была скоротечной. Возможно, ее дети, сыновья и дочь, были оповещены о ее тяжелом состоянии и собрались у постели умирающей. Похороны состоялись 21 июля на Волмянском приходском кладбище. Видимо, вскоре после похорон вдовец, дьякон-псаломщик Феодор Новицкий, начал хлопотать о том, чтобы оказаться поближе к прочно вставшему на ноги сыну Ивану. Выпись о смерти жены он получает 7 августа, а уже 22 августа консистория принимает решение о его переводе в село Дунайчицы, Слуцкого уезда. Это всего в 18 верстах от Блячина, на реке Лань, 10 верстах южнее городка Клецка. Помогать отцу при переезде Евфимий Феодорович, очевидно, не мог: в середине августа он должен был быть в Харькове.

Для доклада на съезде профессор Е. Ф. Карский избрал именно то, что его больше всего занимало в тот момент. Реферат «К вопросу о разграничении русских наречий» является фактически выдержкой из готовой уже вступительной главы «Белорусов», озаглавленной в окончательном варианте «Территория, занятая белорусским племенем. Границы и общий характер страны». Некоторые абзацы почти полностью совпадают. Но и творческий подход к статье несомненен: ученый озабочен достижением наибольшей емкости и точности в подаче материала, в текст вводится множество библиографических отсылок.

Работа Е. Ф. Карского была включена в число основных докладов в секции VI «Памятники языка и письма». Более того, на заседании Совета XII Археологического съезда, состоявшемся в среду 14 августа, за день до официального открытия съезда, профессор Е. Ф. Карский был избран председателем этой секции. Сам профессор на этом заседании не присутствовал, видимо, его еще просто не было в Харькове. Кстати, его фамилия, оказывается, первоначально и не значилась в списках депутатов, и только когда эти списки стали сверять — «сверх того оказались назначенными от Императорского Варшавского Университета Е. Ф. Карский и от Тверской ученой архивной комиссии А. Ф. Селиванов». Надо так понимать, что бумаги из Варшавы пришли с опозданием.

Торжественное открытие XII Археологического съезда состоялось 15 августа. В час дня в университетской церкви совершено было молебствие, вслед за тем все направились в актовый зал. Здесь Председатель съезда графиня Прасковья Сергеевна Уварова объявила заседание открытым. После приветственных речей, заслушаны были отчеты о деятельности Предварительного Комитета по подготовке съезда и его харьковского отделения. Затем долго оглашались телеграфные и письменные приветствия от различных лиц и организаций и под конец «были доложены результаты выборов, произведенных накануне, в вечернем заседании совета съезда, после чего заседание было объявлено закрытым в 4 часа дня». Прибывший к торжественному открытию Е. Ф. Карский, скорей всего, только тут и узнал о своем избрании председателем секции «Памятники языка и письма».

Работа в секции VI началась не сразу. В первые дни съезда Е. Ф. Карский осматривал выставки и посещал заседания других секций. В протоколах зафиксированы две его реплики в прениях 17 августа по докладу профессора А. Н. Краснова (секция древностей историко-географических и этнографических). Столь

активное его участие объясняется тем, что речь тут зашла о белорусской колонизации Черниговщины и вообще о белорусском влиянии. В воскресенье, 18 августа, была организована экскурсия на Донецкое городище, с посещением Хорошевского монастыря.

В понедельник в зале Общественной библиотеки с полным аншлагом прошло второе заседание все той же секции историко-географических и этнографических древностей. Несомненно, Е. Ф. Карский был там, поскольку весьма ярко обрисовал увиденное и услышанное: «19 августа вечером состоялось заседание этнографического отделения, на котором, между прочим, проф. ***Н. Ф. Сумцовым*** был сделан доклад о кобзарях и лирниках. Автор коснулся той важной роли, какую сыграли в жизни малорусского племени, особенно в тяжелые годы XVI и XVII столетий, исторические песни и думы, оживлявшие угнетенный дух народа и побуждавшие его на новые подвиги терпения и борьбы... Живой реферат Сумцова был иллюстрирован игрой и пением собранных из разных мест левобережной Украины этих последних могикан из кобзарей и лирников в количестве 10 человек; пели они и в одиночку и по группам — песни исторические, религиозно-нравственные и бытовые, а также юмористические. Исполнено было 17 нумеров».

20 августа в 8 часов вечера состоялось первое заседание секции VI «Древности письма и языка» под председательством Е. Ф. Карского. Почетным Председателем был профессор Юрьевского университета Е.В.Петухов, а секретарями — А. П. Кадлубовский и Н. К. Грунский. Сперва сделал сообщение П. К. Симони, затем прочли рефераты Д. И. Абрамович и Н. С. Державин. Последний доклад, «Степенная книга, как литературный памятник», вызвал оживленную дискуссию, о которой впоследствии вспоминал и Е. Ф. Карский в своем рассказе о съезде.

Через день, 22 августа, секция продолжила свою работу. На сей раз заседание началось в 10 часов утра. Почетным председателем был харьковский профессор А. С. Лебедев. Заслушаны были три реферата: Н. И. Петрова (Киевская Духовная Академия), профессора А. К. Бороздина и малоизвестного в научных кругах Ю. И. Тиховского. Председатель секции каждый раз выступал в прениях, а последнему выступавшему, коснувшемуся в своем докладе наследия Франциска Скорины, дал несколько дельных советов.

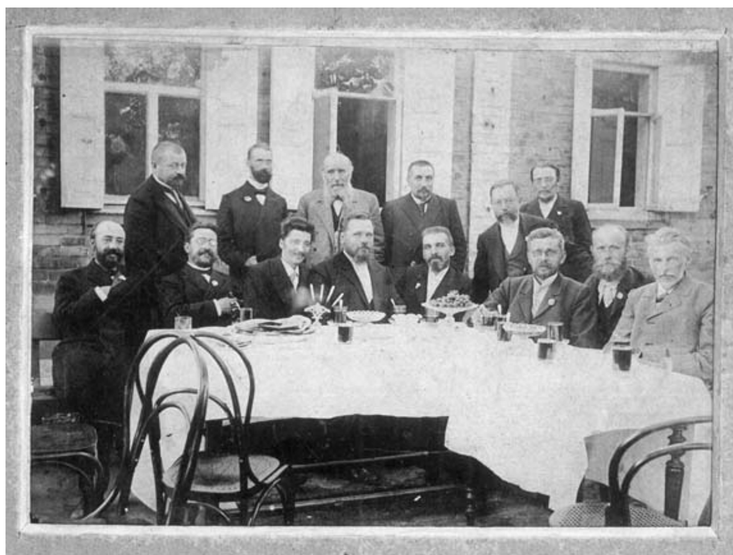
В тот же день, после обеда, Е. Ф. Карский присутствовал на заседании секции VIII «Древности славянские», где также выступал в прениях. А в 6 часов вечера в зале дворянского собрания состоялся банкет, данный городским управлением для участников съезда. «Всех обедавших было свыше 250 человек. При входе в зал гостей встречали: городской голова, члены управы и некоторые гласные думы».

Следующим утром Е. Ф. Карский вновь отправляется в секцию славянских древностей. Здесь, после доклада А. Ф. Музыченко «Наблюдения над народным творчеством Крымских Болгар», им весьма уместно приводится параллель из белорусского фольклора к одной из услышанных песен.

В тот же день, в 8 часов вечера, в аудитории № 1 — последнее заседание VI секции. Е. Ф. Карский не только председательствует, но и выступает со своим рефератом «К вопросу о разграничении русских наречий». Доклад вызвал огромный интерес. В его обсуждении приняли участие профессора М. С. Дринов, В. Н. Мочульский, А. А. Кочубинский, дважды брал слово профессор М. Е. Халанский. В этом заседании секции, если судить по протоколу, принимала участие и сама Председательница съезда, графиня П. С. Уварова.

Чем вызвано такое обостренное внимание? Был поставлен давно назревший вопрос — и поставлен смело! Кое-кого насторожило даже само название доклада, и были предприняты попытки подменить слово «разграничение». В протоколе заседания Совета съезда 14 августа читаем: «Доложены собранию новые вопросы и запросы, а именно:

...8. Е. Ф. Карский — К вопросу о распределении русских народностей».



А уже после выступления, через сутки, в «Харьковских Губернских Ведомостях» о нем сообщили так:

«Вечером 23 августа в секции памятники языка и письма первым был прочитан доклад Е. Ф. Карского, — *к вопросу о распространении русских наречий...*»

Думается, это все не случайные ошибки. Но подавляющее большинство серьезных ученых поддержало стремление профессора Е. Ф. Карского к установлению истины. Авторитет его в научной среде еще более вырос.

В семейном архиве хранится фотография: за покрытыми белыми скатертями столами, расположенными в форме буквы Г, разместилась группа интеллигентного вида мужчин. В центре — Е. Ф. Карский. Кто еще на снимке, где он был сделан и по какому поводу — все это стерлось из памяти поколений. Две слабые карандашные пометки не вносили ясности, поскольку не поддавались прочтению. Постепенно, путем кропотливого анализа, все-таки удалось идентифицировать некоторые личности. Сразу за Е. Ф. Карским стоит, в светлом костюме, Марин Стоянович Дринов, профессор Харьковского университета, деятель болгарского освободительного движения, человек очень интересной судьбы. Сидит справа, самый крайний, Н. Ф. Сумцов, а возле угла дальнего от нас стола стоит, кажется, М. Е. Халанский — оба профессоры того же университета. Рядом с Н. Ф. Сумцовым видим молодого Н. Н. Дурново, тогда приват-доцента Харьковского университета.

Уже на этой стадии исследования не осталось сомнения, что фотография запечатлела гостеприимных хозяев XII Археологического съезда. Не всех, конечно, а тех, кто имел отношение к VI секции. Не случайно же на фото Е. Ф. Карский сидит на почетном месте, в центре, ведь он был Председателем секции.

Окончательно развеялись всякие сомнения, когда удалось установить, кто стоит по обеим сторонам от М. С. Дринова: слева — А. П. Кадлубовский, а справа — Н. К. Грунский. А ведь они были секретарями VI секции! Таким образом, перед нами — групповой снимок ученых, сфотографировавшихся теплым августовским днем 1902 года где-то неподалеку от университета. На столах — чай, тарелка с бутербродами, скромная вазочка с виноградом. Фотография прекрасно передает сложившуюся на съезде серьезную и в то же время сердечную, дружескую обстановку.

Профессор Е. Ф. Карский вернулся в Варшаву как раз к началу нового учебного года.

Продолжение следует.

МАЯ ГОРЕЦКАЯ

Как корабль назовут...

...так он и поплывет — гласит известное присловье. Поговорка эта точно работает и у людей. Вот Идея Даниловна Бельская — наш классный руководитель. И-де-я. Талантливейший педагог. Учитель милостью Божьей. На уроках ее слышно было как муха пролетает. Личность с редкой харизмой. Лидер. Человек, познакомившись с которым, всякий хотел встречаться с нею снова и снова, слушать, делиться своими сомнениями, следовать советам, учиться. А назвал свою младшенькую Идеей отец, он и сам был донельзя идейным.

Отец

Данила Алексеевич Коренчук был родом из деревни Легаты Кобринского уезда Гродненской губернии. Батрачил на пана. Был свинопасом до самого призыва в царскую армию. Вот там ему и открылось многое. В 1918 году он стал одним из первых красногвардейцев, а в 1919 году вступил в партию большевиков. Сколько помнила его Идея, он всегда был хозяйственником среднего звена. В годы войны (1942—1943 гг.) служил заместителем командира пехотного полка по материальной части. И поскольку полк стоял на переформировании в Саратове, и дело явно затягивалось, Данила Алексеевич вызвал в Саратов жену с тремя детишками. Идея вспоминала, что спали на солдатских койках, а когда мама переводила умоляющий взгляд с оголодавших детишек на отца, он ей отвечал: «Я не могу взять ничего лишнего. Сейчас — все для солдат, все для победы». Для него идеалом был нарком продовольствия Цюрупа, в распоряжении которого были все продукты, а сам он падал в голодные обмороки. А для Идеи идеалом стал отец, она не просто любила его, но ощущала мощное духовное родство. И когда он посоветовал ей идти не в медицинский, куда она хотела, а на истфак: «Идуся, ты будешь изучать историю, будешь читать лекции, будешь говорить с народом!» — поехала поступать в Минск в университет. Одна, потому что в 1945 году отца послали поднимать разрушенное хозяйство в родной Кобрин, а Идея осталась в Ульяновской области, кончала среднюю школу. Когда ехала из России в Белоруссию, видела страшные следы войны: разрушенные вокзалы, уничтоженные деревни, на полях — сгоревшие танки. И вот, наконец, Минск...

Университет

Когда Идея вышла на привокзальную площадь, вид города просто потряс ее. Около потрепанного войной вокзала теснились деревянные бараки: «Санпропускник», «Военный комендант» и другие. А на площадке между вокзалом и бараками гудел и вился стихийный рынок. Продавали ломти хлеба, вареную картошку, отварную свеклу и прочую нехитрую снедь. И никто не знал, где университет. Только милиционер сказал: «Вот же он, перед тобой». Она глянула — ничего,

кроме развалин и коробок домов без окон. А милиционер настаивал: «Иди, иди прямо, там за развалинами красное кирпичное здание, туда и сдашь свои документы». На ступеньках красного здания она познакомилась с девушкой Лидой. Вместе сдали документы и пошли в сарай, где комендант дал им два мешка, велел набивать соломой. Получились отличные матрасы. А потом он выдал им белье, одеяла, наволочки, простыни. И, удивительно, после такой страшной войны белье было неожиданно ослепительно-белым.

В бараке, где должны были жить поступающие, было уже много народу. Девчонки заняли две кровати поближе к выходу и поспешили в баню на Московской. Чистенькие легли на свои свежие постели. Но как только выключили свет, сверху на них что-то посыпалось. Снова включили свет и ужаснулись: их белоснежные постели были черными от клопов, и насекомые, как дождь, продолжали сыпаться с потолка. Подружки схватили свои постели и пошли спать на улицу. Прислонили подушки к стене и отключились. Проснулись, когда солнце уже светило вовсю. Мимо шли люди, но никто на них не обращал внимания. Вот такой была ее первая ночевка посреди Минска с видом на Дом Правительства.

В тот год на истфак поступало много парней, прошедших войну, воевавших в партизанах. Один юноша был без руки. Школьниц было мало, и они сбивались группами. В четверку девчонок вписалась и Идея.

А потом поступившим дали общежитие, так называемую «сотку». Это была часть вестибюля химфака, наскоро отгороженная фанерными щитами. И там стояло сто коек. Казалось бы, и жить в таких условиях невозможно. Но, что удивительно, вспоминает сегодня Идея Даниловна, — в такой тесноте не было ни склок, ни свар, ни воровства.

А когда спустя пару месяцев их перевели на 2-й этаж, где стояло всего 25 кроватей, то жизнь показалась просто раем. Они дышали воздухом победы, они были счастливы, что поступили, они так славно дружили.

На первом же семинаре по белорусской литературе выяснилось, что Ида после русской школы не знает ничего. А литературу им преподавал молодой писатель Иван Павлович Мележ, высокий, статный, в выцветшей гимнастерке с орденскими планками на груди. Он сказал: «Все поправимо. Только нужно каждый день читать «Звязду», и возьмите «Дрыгву» Коласа, только «Дрыгву», а не «Трясину»!» И она каждый день читала вслух «Звязду», а девчонки объясняли ей значение слов и поправляли ударения.

Вообще учиться было захватывающе интересно. Открыв рты слушали Владимира Ивановича Пичету. Потрясающе интересными были лекции Владимира Николаевича Перцова. А музейная практика в Ленинграде! Казанский собор, Исакий, Петергоф. Пять лет учебы пролетели, как одно сказочное мгновение.

Выпускной экзамен Идея Коренчук, а теперь уже Идея Бельская, сдавала на сносях. Умелица тетка сшила ей пушистую юбку в складку и кофту, как душегрейку, колокольчиком, чтобы скрыть беременность. Профессор разулыбался: «Какая к нам идет красивая девушка! С ней надо быть очень осторожным!»

Ей, умнице, активистке, отличнице, предложили остаться в аспирантуре, но она, как жена декабриста, последовала за своим мужем. А Василия Ивановича Бельского направили мастером производственного обучения в Гродненское ремесленное училище. От нее не уйдет ни работа над диссертацией, ни преподавание в университете. Но это потом, спустя годы, а сейчас первые шаги были ну очень трудными.

Очень нелегки первые шаги

Это сейчас, почти 60 лет спустя, я узнаю такое, что тогда нам, подросткам, семиклассникам, и в голову не приходило. Идея с Василием и с грудничком на руках приехали в Гродно, где у них ни родных, ни друзей, ни крыши над головой.



Идея Даниловна Бельская.

«Жили мы поначалу просто кошмарно, — вспоминает Идея Даниловна и улыбается. — Но нам встретилось столько добрых людей». Город, как и большинство городов Белоруссии, пострадал от войны. С жильем — жуткие проблемы. И, конечно, никаких детских садов, яслей, слишком недавно кончилась война.

Идея Даниловна до сих пор с признательностью вспоминает доброго человека Раю Корытко, которая работала в школе уборщицей. Она пожалела молодых и направила в частный дом, где им сдали угол. А главное, отвела к дяде Васе, чья жена брала грудничков, пока их родители были на работе. К этому маленькому домику и спешила чуть свет Идея. На одной руке — Герка, на другой — стопка пеленок и бутылочка с молоком. Однажды зимой поскользнулась и уронила бутылочку. Вошла в дом зеленая от расстройства, но старушка успокоила: «Не бойся, накормлю и твоего, тут всем хватит...»

А потом им улыбнулась удача. Поскольку преподавать в училище приехали сразу три молодых мастера-однокурсника, то директор принял мудрое решение. Раздевалка на втором этаже училища была длинной и имела в углу целых три окна — одно большое по центру и два узких боковых. Он и велел молодым мастерам отгородить этот угол, разделить на части и вселяться. Они, рукастые, живенько соорудили три пенала, а Идее и Василию, уже имеющим ребенка, досталось самое большое окно. Установили три печурки и стали жить. Хотя, конечно, нелегко было таскать на второй этаж по узкой лестнице воду, дрова, ребенка, но главное — была своя крыша над головой. Оттуда Идея ходила на работу в школу уже почти счастливой.

Первой взяла над нею шефство Мария Григорьевна Чернышова, завуч старших классов. Мария Григорьевна из семьи потомственных учителей. Несколько поколений ее предков преподавали еще в дореволюционных гимназиях и институтах. Приехала она вместе с дочерью, учителем математики, из Воронежа. Была Мария Григорьевна статной, величественной. Всегда носила темные строгие платья с белыми кружевными воротничками и манжетами. Черные косы, сильно тронутые сединой, уложены в тяжелый узел на затылке. Пристальный взгляд, соболиные брови вразлет. Преподавала она химию. И сразу попросилась на урок к Идее Даниловне. Послушала и сказала: «Вы отличный лектор. Есть небольшие проблемы с методикой преподавания. Но с этим я вам помогу». Она пыталась помочь во всем. Увидев, что молодой историк бегает зимой в легком пальтишке, принесла деньги и предложила: «Купите себе теплое пальто, отдадите, когда сможете». Идея засмущалась: «Что вы, я же могу попросить у родителей». Денег не взяла, но этот урок доброты запомнила навсегда. Решили учителя отметить день рождения Марии Григорьевны, скинулись, купили ей хрустальную вазу. Завуч узнала у дочери, какую сумму собрали. Принесла такую же и сказала: «Спасибо за подарок. А эти деньги я жертвую в фонд Всеобуча. И почему вы решили отмечать только мои именины? Давайте вместе праздновать дни рождения всех учителей!» Коллектив преподавателей ее стараниями стал одной большой семьей. И это она предложила на третьем году службы стать Идее Даниловне классной в 7-м «А».

Такая классная наша классная

Гродненская школа № 1 размещалась в старом здании из красного кирпича в виде буквы Г, построенном еще «за польскім часам» для реального училища. Один фасад его выходил на улицу Кирова, а другой, более длинный, замыкал с одной стороны школьный двор и тянулся к улице Песочной. Здесь в самом углу на третьем этаже и размещался наш 7-й «А» класс. У нас был отдельный вход. Наверх вела деревянная старая лестница, истертая тысячами ног до выбоин по центру, а деревянные перила были отполированы сотнями ладошек до зеркального блеска. Вот сюда и пришла к нам наша новая классная Идея Даниловна Бельская. Невысокая, крепенькая, в коричневом строгом платье, похожем на школьную форму. Девчонка, совсем как мы. Правда, у нее уже был трехлетний малыш. И мы таскали наверх ее лобастого, сероглазого, молчаливого Герку, как плюшевого медвежонка. Она очень интересно преподавала историю. Помню ее яркую, с использованием иллюстраций лекцию по истории Возрождения. Но не это было главным. Поражала она сама. В ней чувствовался такой интеллект, такая мощная положительная энергетика... А главное — она умела принимать решения. Это и тогда, и сейчас — очень редкое качество.

Не помню почему, может, класс проветривали, только вышли мы все на лестничную клетку. А хорошенькая, тихая Алла Солошенко вынесла и положила на подоконник свою варежку, а в ней — красная десятка. По тем временам огромные деньги. Как-то отвлеклась, а потом, — ах! — варежка есть, а десятки — нет! Конечно, в слезы, конечно, все рассказали Идее Даниловне. Идея собрала класс. И сказала, что чужих здесь не было, значит, это сделал кто-то из наших, и посоветовала лучше признаться по-хорошему. А группе возмущенных активисток велела: не учинять скандала, не болтать об этом, мы сами во всем разберемся. Мальчишки себя выдадут. Так и случилось. А спустя десять лет инициатор этого «похищения века» Эрик Поздняков, окончивший Витебский мединститут, прислал Идее из Сибири со станции Ерофей Павлович, где он работал главврачом больницы, письмо. Письмо толстое, на 12 страницах, и начиналось оно словами: «Я решил написать Вам, когда почувствую, что стал настоящим человеком».

Был у нас в классе редкий тип — Валерий Жосан. Большинство наших ребят в классе были детьми военных. Еще бы, в Гродно стояла армия как военное соединение. Мы все успели родиться до войны. Наши отцы, пройдя всю войну, дослужились до высоких званий. У Жосана отец тоже был полковником. Были у Жосана маленькие сестрички-двойняшки. Его родители, чтобы не таскать парня по гарнизонам и не срывать с учебы, препоручили его двум теткам, старым девам, преподавательницам французского. Он в совершенстве владел языком, прочел Стендаля в подлиннике и корчил из себя Жюльена Сореля. Он не терпел своих сестренок, не уважал «бросивших» его родителей. И его мама часто прибегала к Идее, не умея справиться с сыном. И та, благо жили они рядом, спешила на помощь.

В этот раз наш герой забросил малышек на высокий шкаф, а сам ходил с цигаркой и дымил, как паровоз. Идея влетала и разгребала ситуацию: «Ты хочешь, чтобы они попадали и поломали себе руки-ноги?!» Он этого не хотел, как котят, стаскивал девчонок вниз. И давал слово не травить их папиросным дымом. На нас он тоже смотрел как на мелюзгу и на все наши предложения только язвительно улыбался. Но, по-моему, его злило, что я, одна из этой мелюзги, отличница и заводила, плевать на него хотела. В девятом классе, уж и не помню, где и как, я прочла статью Мальтуса. И пришла в полный восторг. Написала в дневнике, что, конечно, все родители хотят, чтобы их дети были генералами или профессорами, а не дворниками или сторожами, а профессорских мест на всех не хватает. Жосан стащил мой дневник из портфеля и отнес на школьное радио. Об этом узнала Идея. Она не обратила внимания на мое «мальтузианство»,

ее ужаснуло, что он украл чужой дневник. Она задала ему такую трепку, что этот нравственный урок он запомнил надолго. Сама яркая личность, она бережно взращивала личностные ростки в каждом из нас.

Прибегала к ней наша русачка, круглые очечки прыгали на остром носике: «Посмотрите, что написал в сочинении ваш Жосан, он же ниспровергает все, что дано в учебнике». Идея прочитала и спокойно говорит: «Вы же видите, он изучил материал, и он думал над ним, и он доказателен, в конце концов, это сочинение, а не изложение». И наша русачка уходила успокоенной.

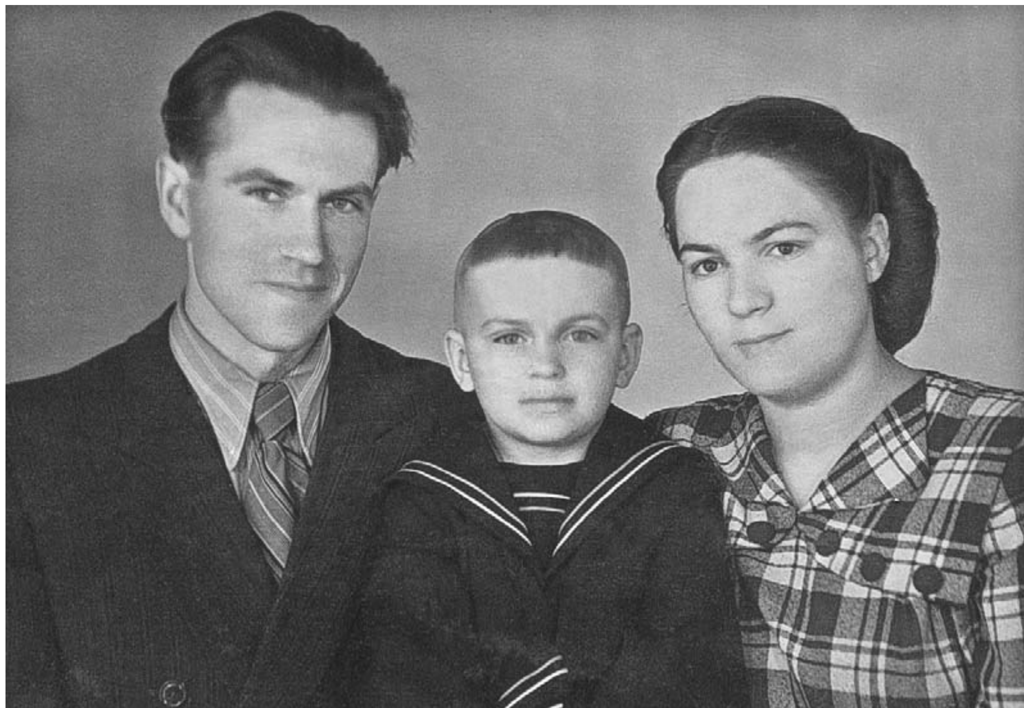
Кстати, когда Валерий, как и положено Жюльену Сорелю, влюбился во взрослую замужнюю интеллектуальную женщину, разбиралась с этой проблемой Идея, а не его родители. А Жосан так и продолжал в жизни всех удивлять. Романо-германское отделение университета он окончил во Владивостоке. И написал диплом на английском языке. На кафедре все просто ахнули. А он, упорный как бык, вынудил принять к защите этот его диплом. Потом работал в Ленинграде в Академии наук. А затем подался в Америку и до самой кончины преподавал в Университете Беркли. Но еще из Питера приезжал в гости к Идее. Уважал.

Побег

Десятый класс мы начали в новой школе. В прекрасной школе, специально для нас построенной. У нас одних из первых в республике была кабинетная система преподавания. В кабинетах химии и физики нас фотографировали для выставок в Женеве, в Бирме и других странах. Школа стояла над Неманом. Нужно только спуститься с одного пригорка, потом с другого, и ты уже на берегу. Жизнь была прекрасна, и иногда нам улыбалась удача, это если заболевал кто-нибудь из учителей, и мы были свободны! Но всегда, — и почему только она всегда была не занята, — на пороге появлялась Мария Григорьевна, та наша величественная химичка, и говорила: «Давайте порешаем задачи на валентность». Прошло почти шестьдесят лет, но я и сейчас могу решить такую задачу, хотя это мне не понадобилось ни разу в жизни! А тогда у нас подряд оказались два свободных урока. И на первом мы решали надоевшие задачи по химии... А день был такой прекрасный, зимний, морозный, хрусткий. Солнце сияло на замерзшем льду Немана. Короче, мы сорвались всем классом. Скользили по льду, играли в снежки. Ровно через 40 минут, чтобы не опоздать, раскрасневшиеся, радостные ввалились в вестибюль. В дверях нас встретили Идея Даниловна и директор Владимир Иванович Баран. «Кто у вас староста?» — спросил Владимир Иванович. «Староста лица не имеет! — вскричала Идея. — Это все она!» Она — это я. Комсорг. И меня повели к директору. Надо сказать, что от самой входной двери вдоль стены до дверей директорского кабинета тянулся школьный гардероб. Все наши, как воробьи на проводах, уселись на барьер раздевалки, готовые меня защищать и спасать. Но ничего страшного не произошло. Добрейший Владимир Иванович слегка пожурил меня, и даже родителей в школу не вызывали.

И все равно я знала, что Идея меня любит. Она до сих пор хранит свидетельство моего неуемного рвения. В 10-м я выдвинула инициативу: всем классом не получать двоек. Мы даже обязательство сочинили и оформили его в виде специального диплома с красными полями, с текстом: «Мы, ученики 10-го «А» класса, обязуемся не получать двоек». Ну и подписи. Я подписалась первой. Чего мне, круглой отличнице, было бояться? А к тем, кто не хотел подписываться, ходили домой, стыдили их в присутствии родителей. Господи, и как я могла в 10-м классе быть такой непроходимой идиоткой? А Идея умиляется и до сих пор хранит в альбоме сей позорный документ.

В нашей школе было очень много талантливых педагогов. И большинство из них имели клички. Физика мы звали Зэкало, потому что он не выговаривал букву «р». И только Идея так и оставалась Идеей. У нас был уникальный учитель



И. Д. Бельская с мужем и сыном.

математики — Михаил Максимович Мовшович. Его мы звали Михматом, потому что он окончил математический факультет Московского университета, и потому что это совпадало с именем. Он был очень маленького роста, всегда небрежно одет, его подслеповатые глаза украшали очки со сверхвыпуклыми линзами. Множество комиссий изучали метод Михмата, чтобы обобщить, передать другим. Увы, он был неповторим. Чтобы так преподавать, надо было родиться Михматом. Он начитывал нам материал, как в вузе, несколько дней подряд, исчерпывал раздел, а потом все оставшееся время мы решали задачи по этой теме. Те, кто был склонен к математике, выходили от него блестящими знатоками. Я дома решала задачи наперед, чтобы, если вызовет, не опозориться. Михмат не вел сам журнал. У него был «секретарь» — моя подруга Киська, но все оценки он помнил назубок. А еще он понимал, насколько это условно — школьный журнал. И мог в один день поставить ученику 5 и 2, подняв его несколько раз и повелев «секретарю» ставить оценки в предыдущие клетки, что не были заняты.

У всех девчонок к десятому классу были чинные косички, и только у меня кудряшки, локоны и огромный бант, и меня Михмат презрительно называл Куклой. Узнав в конце десятого класса, что я собираюсь поступать в МГУ им. Ломоносова, он сказал: «Молодец, будешь как я». И тут я не знаю, что меня дернуло: «Я совсем не хочу, как вы, быть блестящим учителем и плохим педагогом». И я, видимо, очень похоже передразнила его: «Ну, Кукла, марш к доске!» Класс испуганно затих. Михмат отвернулся и ничего не сказал. Я не знала, какую страшную месть он мне готовит. Я шла на золотую медаль. И сочинение, и письменная математика уже были отосланы в облоно и получили «отлично». Последним экзаменом была устная математика. Михмат дождался, когда ассистент выйдет, и вызвал отвечать меня. Я решила все задачки, ответила на все вопросы и успокоенная, что все, наконец, кончилось, помчалась в кино. Смотреть очередную серию Тарзана с Джонни Вайсмюллером в главной роли. Первой, кого я увидела, проморгавшись на солнце после темноты кинозала, была Идея. Она узнала, где я, примчалась и сказала: «Михаил Максимович поставил тебе четверку!»

Я ревела так, что у меня на время отнялась рука. Ревела из-за несправедливости. Позже я узнала, что и она, и директор умоляли Михаила Максимовича изменить отметку, в конце концов, дело это внутришкольное. Но он был непоколебим: «Если она такая умная, то и так поступит». Я получила серебряную медаль и поступила. В те годы медалисты не сдавали экзаменов. Но именно на факультет журналистики МГУ их съехалось столько, что надо было как-то отбирать, и нам устроили сечу из медалистов — 28 человек на место. Сдавали русский устный, писали сочинение. Я выбрала тему «Язык «Мертвых душ» Н. В. Гоголя». И получила свои пятерки. В то время у меня все получалось.

Я хотела непременно участвовать в Международном фестивале молодежи и студентов, который проходил в Москве в 1957 году. И пробилась в сборную колонну вузов страны. Надо было уметь делать шпагат, сальто, я, фехтовальщица, все это умела. От факультета нас взяли двоих, а всего в колонне было 2000 человек. После двух месяцев тренировок в казармах Лефортово мы открывали фестиваль.

Ах, каким прекрасным было наше выступление, с трансформацией, с мгновенным превращением костюма из василькового в желтый, моря в пшеничное поле. А в центре — изумительная белорусская многоярусная ваза из живых тел.

Когда все кончилось, я приехала на каникулы домой в Гродно и, конечно, помчалась к Идее, показать, рассказать, продемонстрировать. Несла огромный пакет с фотографиями, костюмами, сувенирами и сочинила по дороге:

Несу я Идее огромный пакет,
А в нем — фестивальный веселый привет!

Мемориальная комната

Мы сидим с Идеей Даниловной в комнате, которую она называет «мемориальной». Есть в ее трехкомнатной квартире, кроме гостиной и спальни, и такая. Эта небольшая комната никогда не пустовала. Сначала в ней вырастали сыновья Идеи Гера и Саша. Потом жили и учились внучки, дочки Герки, за ними жили и учились внуки, сыновья Саши. Портретами и фотографиями сыновей, внуков, внучек и всех вместе с нею и Василием Ивановичем увешана одна стена. Мы сидим с Идеей Даниловной и вспоминаем. Я в кресле напротив. Она на диване. К ней на диван приходит Тимка, поседевший, некогда рыженький той-терьер. Хозяйка считает, что характер песика испортился с возрастом, а по-моему, нрав у него всегда был препаскудный, вечно заливается лаем и норовит цапнуть за ногу. Но сейчас взбирается на диван, кладет голову на подушку, смотрит на Идею преданно и слушает.

— Наш Герка, Георгий Васильевич, окончил Рижское высшее военно-инженерное авиационное училище им. Якова Алксниса. Поступал он на радиотехнический офицерский факультет. А когда окончил, весь их выпуск отправили в Забайкальский военный округ. Место службы — станция Степь. Там и родились обе их девчонки. А когда он был уже подполковником и девочки учились в старших классах, то жили они в Эстонии, в Эмари близ Таллинна. Я приехала в этот военный городок и сразу пошла в школу. А там русских педагогов не хватает. Преподают кто только может и кто во что горазд. Я посидела на уроках и сказала Герке: «С таким образованием только мороженое продавать. Я девчонок забираю». Привезла их в Гродно. Определила в лицейские классы. Марина тогда перешла в 9-й, а Катя в 8-й класс. Занималась с ними сама. По белорусскому взяла им репетитора...

Ну вот в этом вся Идея Даниловна. Она никогда не плетется в хвосте событий, она их опережает. И уж она точно знала, кто из преподавателей белорусского самый талантливый. И ее внучек так подготовили, что Марина при поступлении в университет по желанию сдавала белорусский язык. А кроме лекций университетских вела со своими девчонками и другие занятия. По вечерам или по



С учениками.

субботам и воскресеньям говорила: «А ну-ка берите свои тетрадки. Записывайте. Сегодня мы будем варить борщ. Для этого нужно...» Были в этих тетрадках записи, как делать плов, засаливать огурцы и многое другое. Когда Марина закончила отделение педагогики и психологии Гродненского университета и уехала с мужем-военным в Хабаровский край, то писала Идее: «Бабушка! Что бы я делала без твоей тетрадки?!» А Катя тем временем закончила английское отделение филфака, сейчас занимается логистикой.

Но и сама Идея Даниловна не стояла на месте. Институт содержания и методов обучения Академии педагогических наук СССР разрабатывал программу курса по обществоведению для 10-го класса. Идею Даниловну пригласили участвовать в этой работе. Она одна из десяти педагогов в республике опробовала с десятиклассниками этот курс.

Приехал в школу тогдашний министр народного образования БССР Ильюшин. Попросился на урок. Идея Даниловна улыбнулась: «Разве могу я отказать вам, министру?» Ильюшин прослушал пять ее занятий и, уезжая, сказал директору: «Вот кого нужно назвать заслуженным учителем».

В школе подготовили необходимые документы, и в 1965 году Идея Даниловна Бельская стала заслуженным учителем БССР. И тут из пединститута стали ее атаковывать всерьез. С 1962 года она читала несколько курсов и студентам, но школу не оставляла, уж очень не хотелось расставаться со ставшим родным и таким теплым коллективом. Но в вузе заупрямились, извольте выбирать. И с 1965 года Идея Даниловна стала преподавать в пединституте, который впоследствии получил статус Университета им. Янки Купалы. И проработала там 44 года. Читала курсы, «Новая и новейшая история стран Азии и Африки», «История СССР от 1917 года до наших дней», «Методика и преподавание истории и обществоведения» и вела свою любимую музейную практику.

В мемориальной комнате на книжном стеллаже находится целая полка книг по истории с автографами ее бывших студентов. И здесь же за стеклом — яркий

глянцевый буклет. На обложке — портрет красивого, моложавого, но абсолютно седого генерала. Этот буклет был издан в качестве агитационного материала, когда генерал-майор миротворческих сил, первый заместитель министра госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики Олег Андреевич Гудымо баллотировался в Верховный Совет ПМР. В буклете он сообщал о себе самое важное. Меня поразили такие слова: «С городом Гродно связаны мои самые яркие воспоминания о школьных годах. Там остались любимые учителя: Василий Иванович Бельский, он вел уроки труда, а его жена Идея Даниловна преподавала историю. Они живут там до сих пор, хотя уже старенькие. Я их никогда не забуду».

— Сейчас он живет в Москве. Часто звонит и знаешь, что говорит: «Какое счастье позвонить вам и услышать ваше «Алик — это ты?» Ведь так меня теперь уже никто не называет», — Идея довольно улыбается.

В одном я не согласна с генералом. Не могу назвать Идею Даниловну старенькой. Для меня стар тот, кто потерял интерес к жизни. А она так живо всем интересуется... Читала мне свои воспоминания. Пронзительно трогательны страницы о военном детстве. Заговорили о сериале «Ликвидация». Он как раз шел в эти дни. Она сказала, что обожает Владимира Машкова и вообще любит актеров «Табакерки». Я чуть с кресла не свалилась от удивления. Я не раз бывала на спектаклях этого театра в Москве. А она — нет, но все читала, все знает, тонко судит!..

Рядом с книжным стеллажом в одинаковых огромных черных пакетах — папки, альбомы, документы. И наш затертый, распадающийся альбом. Еще бы, его листают почти 60 лет. Помню, Идея попросила нас после окончания школы: никаких подарков, только большой альбом с нашими фотографиями. И в папках все, что связано с нашим 10-м «А». Она хранит мои почеркушки. Все то, что и стихами-то назвать нельзя. И то, что я читала на выпускном вечере:

И если мы сейчас взрослее стали,
И если мы, бесспорно, поумнели,
То потому, что вы нас воспитали,
Вы видеть в нас хорошее умели.
Мы первый выпуск ваш, вы нас учили,
И без излишних красок и затей
Скажу я, что вы к Герке получили
Еще впридачу 27 детей!

В альбоме на фотографии — совсем молодые Идея Даниловна, Василий Иванович с маленьким Геркой. Красивые. Они вместе уже 63 года.

— Идея Даниловна, а как вы познакомились с Василием Ивановичем?

Вася. Васенька. Василий Иванович

— У нас на курсе учились две сестрички. У них часто бывал их брат. И как-то говорит, мол, приходите к нам в праздник на танцы. Мы вас так хорошо встретим. А учился он в индустриальном техникуме трудовых резервов, как сейчас помню, на улице Розы Люксембург. Вот мы с девчонками и пошли. Ребята нас и впрямь хорошо встретили. Очень галантно помогли раздеться. Дали нам большой концерт. Блистали талантами. А потом были танцы. И Василий Иванович пригласил меня танцевать, а потом пошел провожать.

— Что он высокий, красивый, сероглазый — сразу видно. А чем еще он пленил вас?

— Спокойствием, несуетностью, добротой. Я поняла, что он очень надежный человек. Он за всю нашу жизнь не пропил ни одного семейного рубля. И я могла во всем на него положиться. Уезжала в Кобрин к своим рожать Сашень-

ку и знала, что Герка будет досмотрен, накормлен и в доме будет полный порядок. А сколько чудесных дней у нас было... Как только мы немного обжились в Гродно, приобрели крошечный «Запорожец» и на этой машине объехали все прекрасные места Белоруссии, Прибалтики. Мальчишки у нас росли такие спокойные, не пили, не курили, не ругались. Но больше всего я любила устраивать праздники своим родителям. Заезжали мы в Кобрин, брали их и направлялись в Тракай. Там гуляли, а потом ехали в Вильнюс, в какой-нибудь отличный ресторан. Я говорила официантам: «Мы хотим устроить праздник своим старикам». И ребята всегда так старались...

Между прочим, когда я собиралась замуж за Васю, мои сокурсницы очень удивлялись, с чего это я, отличница, кандидат в аспирантуру, выхожу замуж за парня из техникума. Но я-то точно знала, что у Васи обязательно будет высшее образование, я его непременно выучу. Он по профессии технолог-машиностроитель. И мы подобрали ему вуз по его профилю: Северо-Западный заочный политехнический институт в Ленинграде. Учеба у него шла отлично до самого диплома. Но тут грянула беда. Тогда — самая большая в нашей жизни. И пришла она от нашего любимого «Запорожца», который дарил нам только радости.

В сумерках на закрытом повороте девчонка выскочила нам прямо под колеса. Вася ударил по тормозам, но ничего сделать уже нельзя было. И начались кошмарные три года все новых и новых экспертиз, следственных экспериментов все в более высоких инстанциях. Но мы сумели выстоять в это страшное время. Беда еще тесней сплотила нашу семью. Правда, в то время я забросила свою диссертацию, а Вася не поехал в институт защищать диплом. Не до того было. И когда, наконец, доказали, что в трагедии нет его вины, мы будто от летаргического сна очнулись. Я как раз повезла студентов на музейную практику в Ленинград. Побывали мы в Эрмитаже, в Исакии, в Казанском соборе, на Мойке. А когда пришли на Марсово поле, я отпустила студентов в Летний сад, а сама поспешила в Васин институт, он как раз рядом находился. Познакомилась с деканом, обрисовала ему всю ситуацию. И поскольку Васю отчислили из института не из-за неуспеваемости, а потому что он не явился защищаться, то декан решил, что ему можно восстановиться. Только спросил: «Вы с семьей сможете продержаться месяца два, чтобы он взял отпуск, побыл здесь, восстановил забытое и выходил на защиту?» — «Сможем!» Когда я уходила, декан сказал: «Вот если бы у всех моих студентов были такие жены!» Эту фразу я ношу как медаль. И, пожалуй, это был самый счастливый день в моей жизни!..

— Вы сказали, что отложили свою диссертацию. О чем она была?

— Роль учителей в культурно-просветительской работе в белорусской деревне в восстановительный период (1921—1925 гг.). Только я ее не защитила.

Незащищенная диссертация

— Над диссертацией я работала пять лет. Поехала в Москву сдавать автореферат. Слушать меня почему-то собрался весь ученый совет. Поздравляли. Говорили, что такой яркой работы давно уже не было. Окрыленная, я позвонила в Гродно на кафедру, чтобы согласовать время защиты. И тут выяснилось ужасное, что завкафедрой истории СССР Борис Маркович Фих зарегистрировал мою тему в Гродно, но забыл ее зарегистрировать в Минске, в Академии наук БССР, и там подготовили к защите почти аналогичную тему. Узнав об этом, я рыдала так, что утешать меня опять сбежался чуть не весь ученый совет. А председатель совета сказала: «Ты замечательный лектор. В конце концов, это не конец жизни. Мы дадим тебе новую тему!» Но новую тему я брать не стала. У меня к тому времени ребенок должен был поступать в медицинский институт. И это было важнее. Я сложила свою диссертацию в чемодан, забросила ее на антресоли



Через 50 лет после выпуска класса М. И. Горецкой.

и перестала об этом думать. Борис Маркович на заседании кафедры извинялся передо мной. Спросил: «Вы, наверное, хотите меня убить?» Я ответила: «Да что вы, я давно вас простила». Тем более, что мне в университете не раз говорили, что мои лекции не променяют на лекции многих наших кандидатов...

Для меня поступление Сашеньки в институт, правда, было важнее. У меня ощущение, что семья — превыше всего, это генетическое, от папы.

Родители мои многое знали, всем интересовались и при этом ничего не кончали, все самообразованием. Когда мы жили в нашем маленьком домике, отец приходил с работы, топили печку, варили «селянку», простенький супчик из мелко нарезанного мяса и овощей. И пока он варился, мы сидели у печки, а родители читали нам вслух ершовского «Конька-горбунка», стихи Пушкина, Тютчева, Фета. Отец у меня вообще был особенный. Последняя его должность — архивариус в городском архиве в Кобрине. Когда он тяжело заболел, — а было ему уже за девяносто, — я приехала к нему и сидела в госпитале не отходя. Он умер на моих руках. А за три дня до смерти говорит мне: «Идуся, я в 1921 году в Ярославле читал «Мороз, Красный нос» Некрасова совсем с другой концовкой. Там Дарья не умирала. Ты узнай, как такое могло случиться». Я написала на ЦТ в передачу «Русская речь», и мне дали адрес ведущего некрасоведа из Пушкинского дома. И он подтвердил, что отец был абсолютно прав. Оказывается, Некрасов написал к поэме эпилог:

Она не погибла. Лукавый
Хотел погубить да не смог.
Служивший семейству на славу
Савраска и здесь ей помог.
Коснулось знакомое ржанье
До слуха крестьянки моей,
И тотчас проснулось сознанье...

Но потом Некрасов решил, что все это слишком слащаво, и сам эпилог снял. Но посмотри, о чем отец думал за три дня до смерти.

Письма Идеи

Я переписываюсь с Идеей Даниловной почти 60 лет. И храню ее письма. Перечитываю. Они дают мне заряд бодрости и помогают жить, особенно те, что написаны с 2010 года по сегодняшний день.

Вот несколько выдержек из них.

* * *

Добрый день, милая Майка! Прости уж, родная, что так тебя называю, но кто еще тебя может так называть? Ведь вы, как и раньше, остаетесь для меня детьми. Чаще всего я вас именно такими и помню, ведь взрослыми я вас редко вижу. Вот и девчонки (те, кто остался в Гродно. — М. Г.), когда ко мне приходят, чувствуют себя если не маленькими, то и не такими, какими вы стали теперь.

Правда, теперь жизнь уже не такая разнообразная, потому что нет в ней размаха и ежедневных впечатлений. Мне, например, эта пенсионная жизнь все испортила, я привыкла быть в гуще событий, а тут сидишь дома сиднем. Сбежала бы куда-то, но ноги не носят.

Сильнее всего хотела бы снова побывать в доме-квартире А. С. Пушкина на Мойке. Хотя я, кажется, до тонкостей помню все, что там есть, но сам дух в том жилище наполнен воспоминаниями и даже встречами с современниками поэта.

Я так счастлива, что у меня столько чудесных книг, воспоминаний о замечательных авторах. Задумываюсь: а мои преемники будут ли читать мои книги? Что с ними будет? Ты меня прости, что так назидательно пишу. Мне будет страшно больно (уж не знаю, где я это почувствую), если мою библиотеку раскидают, растащат, не поняв ценности собранного.

2010 г.

* * *

...Но надо ли нам падать духом? Не стоит! Слишком коротка жизнь, чтобы какой-то мерзкой хвори поддаваться. Будем стойкими и оптимистами. Главное, что мы живем, мыслим, и смотри, какие чудесные статьи ты пишешь! Я всегда с радостью их читаю и в словах твоих вижу, что тебя невозможно сломить...

Погода плохо влияет на меня и Василия Ивановича. Мы чувствуем казусы природы каждой клеточкой своего организма. Но стараемся не кукситься, а смотреть на все философски, вспоминая слова песни: «У природы нет плохой погоды!» Что толку кукситься — надо жить!

Вот так и живем. Единственное спасение от наших стрессов — это посещение учеников. Недавно были «дети» выпуска 1965 г. Принесли с собою кинофильм о своем классе. И наплакались, и насмеялись, просматривая его, сколько там моментов запечатлено, когда дети были детьми, а мы еще совсем молодыми.

Стол мы общими усилиями накрыли отменный. Но главное — общение. Долго живу потом воспоминаниями, но и дети приходят сюда просто на душевный отдых. Я горжусь тем, что вы нас с Василием Ивановичем не забываете».

2011 г.

* * *

Мы тоже стараемся, опираясь (в полном смысле слова) друг на друга, преодолевать хвори и заботы. Мы ищем возможность жить не скуля. Живем,

ощущая постоянную заботу сына, друзей и своих учеников. Они часто к нам приходят, радуют, подбадривают и, если надо, помогают.

2012 г.

В гостях у Идеи увидела я фотографию черноглазого молодого человека с такой надписью: «Дорогим моим Василию Ивановичу и Идее Даниловне — замечательным людям, которые давно уже стали для меня, для всех нас больше чем учителями, маяками на все случаи жизни... На добрую и долгую память. Володя Лебедев. Хайфа. 2009 г.».

Это сколько же тепла и добра надо было дать ученикам, чтобы им хотелось дотянуться сердцем, услышать слово поддержки, пообщаться даже через океан.

Дети Идеи

Только не подумайте, что Идея Даниловна пронеслась сквозь годы эдаким крепеньким удачливым колобком, рассыпая оптимистические советы. Она пережила тяжелейшую утрату: вскоре после своего пятидесятилетия ушел из жизни ее младший сын Саша, отличный хирург. Унесла его болезнь века, и не спасла операция в Боровлянах. Перенесла наша классная инфаркт и две операции на глазах. У нее болезнь Бехтерева, которой страдал автор романа «Как закалялась сталь» Николай Островский. А это сумасшедшие костные боли. Она ходит с палочкой и месяцами в жару и в гололед не выходит из дома. А как она переносит все эти тяготы, видно из ее писем.

В Гродно есть большая центральная Советская площадь. И я подумала, если собрать всех учеников Идеи Даниловны, тех, что она выпустила за 15 лет работы в школе, и всех студентов, которым она преподавала 44 года в университете, и выстроить их плечом к плечу, то они займут всю площадь и примыкающие к ней улицы — Замковую, Советскую, да и улицу Карла Маркса заполнят. Но даже в этой огромной толпе мы все равно чувствуем себя особенными. Она только у нас была классной. Потом стала завучем. Потом ушла в университет. И мы ревниво гордимся своим статусом и собираемся раз в пять лет, чтобы повидаться друг с другом и с Идеей. Координирует и организует наши встречи Света Скютте, наша медалистка. Теперь кандидат философских наук, она, как Идея Даниловна, тоже преподает студентам обществоведение. Едем мы на встречи кто из Москвы, кто из Минска, а раньше так из многих уголков Советского Союза. Встречались и через 55 лет после окончания школы...

Второго июля этого года нашей Идее исполнилось 85 лет. Почему-то самые нежные чувства принято выражать в рифму, уж, видно, такой у нас менталитет. Вот и я, нарушив все данные себе зароки, разразилась длиннющей одой в честь нашей классной. Кончается она такими строками:

Девчонки наши поседели,
Мы красимся на самом деле,
Но гордо задираем нос,
Коль о годах зайдет вопрос.
А вас мы просим, Бога ради,
Подольше жить на белом свете,
Пока любовь у вас во взгляде,
Мы все еще Идеи дети.



ГОРДЕЙ ЩЕГЛОВ

Страх и тревога: страничка из жизни Минска 1915 года

Совсем немного известно о жизни Минска в годы Первой мировой войны — лишь общие контуры, и порой весьма смутные. Отчасти это связано с тем, что в советский период этой войной, объявленной империалистической, мало кто занимался, отчасти тем, что и сама история города еще нуждается в кропотливой разработке. А история у нас богатая и интересная...

В настоящей статье я хочу предложить вниманию читателей несколько эпизодов из жизни Минска конца лета и начала осени 1915 года, когда фронт критически приблизился к городу, и даже возникла опасность его захвата.

Весна 1915 года ознаменовалась для русской армии крупными военными неудачами. В апреле немцы перебросили с французского фронта более десятка дивизий в Австро-Венгрию и начали широкомасштабное наступление на центр русских позиций Юго-Западного фронта. Благодаря численному преобладанию в живой силе и подавляющему превосходству в тяжелой артиллерии немецко-австрийские войска прорвали фронт и стали быстро продвигаться вперед. Оказавшись в невыгодном положении, русская армия начала стратегическое отступление на Юго-Западном и Северо-Западном фронтах, вошедшее в историю под названием Великое отступление. В результате пришлось оставить большую часть Галиции, Польши и часть Прибалтики. Хотя русское отступление и носило плановый характер, тем не менее, сопровождалось большими потерями в живой силе и материальной части, падением боевого духа армии и массовой сдачей в плен.

Фронт стремительно приближался к Белоруссии. Уже в начале лета сюда хлынул поток беженцев из Польши. В связи с этим в Минске начал действовать крупный фильтрационный пункт, где беженцы получали медицинскую помощь, продовольствие, а затем направлялись далее в глубь империи. Но железнодорожный транспорт был слишком загружен военными перевозками, поэтому более миллиона беженцев из Польши, Литвы, Курляндии и Волыни осело в Белоруссии. В Минской губернии их скопилось около 120 тысяч. Минск был буквально переполнен беженцами. Генерал-майор Д. И. Ромейко-Гурко так описывал колонну беженцев на шоссе Брест-Минск в середине августа 1915 года: «Шоссе было забито беженскими телегами, одна колея была свободна для войск. На телегах сидели бабы и дети, мужики шли пешком, на обочинах лежали больные и умирающие. Если какая-нибудь телега ломалась, казаки вмешивались и ее опрокидывали на обочину. По сторонам дороги, где местность это позволяла, образовывались таборы из повозок... Несмотря на ужасные условия исхода, в обозе наблюдался большой порядок. Эпидемий, слава богу, не было никаких, кроме ящура на скоте». Плотная вереница беженских телег, груженных незамысловатым скарбом, все тянулась и тянулась на восток, оставляя вдоль дорог разбитые телеги, трупы животных и могильные холмики с крестами и без...

«Все как бы оцепенело под страхом перед врагом, естественные чувства крови притупились, — писал другой современник, житель Минска. — Приходилось видеть оставленных своими родными на произвол судьбы беспомощных старцев и стариц. С тупой покорностью воле судьбы, без всякой надежды и упования, как бы застывшие в своих позах, сидели они и по краям дорог, и под заборами в городе».

В начале августа 1915 года 10-я немецкая армия под командованием генерала Эйхгорна перешла в наступление в районе Вильно. В связи с ее продвижением в Минске стали готовить к эвакуации учреждения. Общую атмосферу, царившую в те дни, можно проследить по учреждениям Красного Креста, находившимся в городе. Так уже в 20-х числах поступила команда экстренно эвакуировать из лечебных заведений Минска больных и раненых. 26 августа главноуполномоченный Российского общества Красного Креста при армиях Северо-Западного фронта граф Э. П. Беннигсен собрал совещание по поводу событий на фронте. В частности, обсуждался вопрос о возможной эвакуации лазаретов и госпиталей, впрочем, о свертывании их пока распоряжения не поступало. Все находились как бы в подвешенном состоянии. Лазареты и госпитали оставались на месте, но в то же время пустовали. 5 сентября состоялось очередное заседание в Управлении главноуполномоченного, на котором объявили приказ главнокомандующего: вывезти лазареты в трехдневный срок. Было даже произведено распределение вагонов, которые, однако, «по извещению начальника передвижения войск» не могли быть предоставлены ранее 9 сентября. Железная дорога, как уже говорилось, была перегружена до крайности.

Любопытные заметки об этих днях оставил знаменитый еврейский поэт и переводчик Саул Черниховский, работавший врачом в лазарете имени Серафима Саровского, располагавшемся в здании Минской духовной семинарии. Заметки эти написаны на иврите и в настоящей статье в переводе публикуются впервые.

Поэт вспоминал, что ежедневно ровно в шесть утра и в шесть вечера появлялись немецкие аэропланы: «стройные серебристые птицы летали-парили над нашими головами». Неприятель вел усиленную воздушную разведку. О приближении самолетов оповещали пушки дальнобойной артиллерии, располагавшейся за рекой Свислочь в районе Минского замчища. Здание семинарии находилось недалеко от реки, на противоположном берегу которой и базировалась артиллерийская батарея. Черниховский вспоминал: «Когда раздавался звук первого выстрела и после него шло гудение потрясенной меди — бом... м..., мы спешили к окнам и смотрели в зеленовато-голубое небо, и если металлическая птица была одна, закрывали шторы и снова укладывались в постели. Но когда было, по крайней мере, три, с любопытством наблюдали, как они неожиданно проблескивали среди серо-голубых облаков, появлялись и исчезали».

Едва ли не каждый день Серафимовский лазарет получал телефонограмму: свернуться в течение трех часов и ждать команды. Начинались поспешные сборы, суета, беготня. В такие часы лазарет походил на развороshенный муравейник, после чего помещения его становились молчаливыми и пустынными.

Спустя некоторое время приходила другая телефонограмма: развернуться до команды. Затем все повторялось вновь...

Случалось, что целые ночи персонал проводил в готовности, сидя на своих вещах, пока снова не поступала телефонограмма: развернуться... до команды.

Между тем в город приходили тревожные известия о том, что немцы прорвали фронт в районе Свенцян, что противник обошел Минск и нацелился на Смоленск, что уже сожжена станция Витгенштейнская в тридцати верстах к востоку от Минска, и двести тысяч русских солдат оказались в «мешке».

Наконец 13 сентября Серафимовский лазарет получил окончательную команду: в течение трех часов свернуться и быть на станции, ждать поезда, место назначения — Спасо-Бородинский монастырь, письменный приказ придет.

Спешно погрузившись в фургоны, лазарет двинулся к вокзалу Московско-Брестской железной дороги. С Александровской улицы, где находилась семинария, фургоны медленно покатили по Екатерининской, затем по Немигской, Ново-Московской, пока не вышли на большую Московскую улицу, ведущую к Александровскому вокзалу. Остаток пути в полтора километра пришлось преодолевать больше часа. В сторону вокзала двигался плотный поток всевозможных повозок, нагруженных разнообразными вещами: мебелью, пожитками, военным снаряжением, ящиками с боеприпасами и пр. Поток двигался медленно и уныло,

а в воздухе висели надсадные крики и ругань. Самые нетерпеливые, пытаясь обогнать, сворачивали в сторону, невзирая на следивших за порядком конных казаков, и этим создавали сумятицу, еще больше замедлявшую общее движение. Упрямится лошадь — и все стоят, сломается колесо — и все ждут, проходит эскадрон — и все снова стоят.

Уже ближе к вокзалу стал вырастать встречный поток, усиливая общий беспорядок...

Черниховский вспоминал, как он удивился, увидев двигавшуюся навстречу повозку с большой вывеской на борту и надписью: «...Серафимовский лазарет». «Мы тоже имени чудотворца Серафима, — подумал поэт, — почему тогда они входят в место, из которого мы выходим?» Это была повозка Московского Серафимовского подвижного лазарета, как раз в это время прибывшего в Минск — ближе к театру военных действий. Выглядело это конечно несколько курьезно: один Серафимовский лазарет покидал город, другой Серафимовский лазарет прибывал в него, при этом оба лечебных заведения работали под флагом Красного Креста.

Возле всех госпиталей и лазаретов царила суматоха: выводили и выносили раненых, грузили мебель, оборудование. К работам привлекли пленных чехов и других славян. Трудились они усердно и преданно. Пленных немцев, австрийцев и венгров среди работавших не попадалось, так как их отправляли за Урал. Доверяли только славянам.

Черниховский вспоминал, что бежали из Минска «без оглядки и понятия от кого бежим, от кого удираем».

На железнодорожной станции было настоящее столпотворение: суета, галдеж, крики, хриплые команды, ругань. Паровозы подавали свистки, чадили черным дымом, грозно шипели, выпуская из могучих котлов густой пар, и медленно уползали с переполненными составами на восток, а на их место подавались новые.

Наконец Серафимовский лазарет после «многих усилий и напрасных мучений» погрузился в специально выделенные для него вагоны. Перед самым отбытием у С. Г. Черниховского вышла размолвка с начальником лазарета иеромонахом Николаем (Муравьевым). Поэт просил взять с собой его жену и малолетнюю дочь. Он не желал оставлять их в городе, который в любой момент мог оказаться в руках неприятеля. Но старший врач брать «посторонних» отказывался, отговариваясь тем, что поезд военный, и он не вправе пускать туда лиц, не имеющих предписания к лазарету. Тогда Черниховский категорически заявил, что без семьи никуда не поедет, добавив, что отец Николай «найдет выход — когда захочет». В конце концов, официально сестрами лазарета еще записали: госпожу... и девочку...

Везде, где проезжал Серафимовский лазарет, царили суматоха, смятение и беспорядок. Вдоль железной дороги в направлении Смоленска, растянувшись на десятки и десятки километров, двигался поток повозок с личным и государственным имуществом: мука... пианино... самовар... сломанный диван на трех ножках, детская колыбель... ящики, мешки, узлы, корзины...

Такими запомнились августовские и сентябрьские дни 1915 года Черниховскому.

Между тем напряжение в городе нарастало. Уже в сентябре минчане столкнулись с воздушными бомбардировками, узнав о войне и ее адских орудиях не понаслышке.

Вот описание одной из бомбардировок, произошедшей в ночь с 1 на 2 октября. Примерно в начале третьего ночи в небе заприметили дирижабль: сначала над Александровским вокзалом, где он покружил и, не будучи замечен артиллерией, направился к Виленскому вокзалу Либаво-Роменской железной дороги. Дирижабль держался не очень высоко, и, несмотря на отсутствие освещения, был виден в темноте невооруженным глазом. Пролетев от Александровского вокзала на юго-восток, дирижабль повернул обратно и начал сбрасывать бомбы. Первая

взорвалась во дворе Городской скотобойни, не нанеся никакого ущерба. Вторая упала в том же районе у полотна Александровской железной дороги, а еще две у полотна Либаво-Роменской. Они, разорвавшись, также не причинили особого вреда. Следующая бомба упала на Коломенской улице во дворе дома Парамонова — врезалась в землю и не разорвалась. Во дворе дома Самсонова упала зажигательная бомба, но была немедленно залита водой домохозяином. Одна попала в дом Пекарского, где, пробив крышу, разорвалась внутри квартиры, занимаемой зауряд-чиновником Муравицким, разрушила потолок, пол, выбила окна, повредила двери и стены. По счастливой случайности взрыв не причинил никакого вреда спавшему Муравицкому, и его кровать осталась стоять на краю глубокой воронки, полной деревянных обломков. Еще одна бомба упала во дворе дома Шостака. От ее взрыва образовалась огромная воронка, разнесло забор, повыбивало в соседних домах стекла и разломало карнизы. Следующая — на Ильинской улице напротив дома Фитеровского, среди стоянки беженцев, но зарывшись в землю, не взорвалась. Потом во дворе дома Ивановского по Николаевской улице, где взрывом разбило помещение дворника, снесло карнизы и трубу дома, выбило стекла, засыпало и слегка придавило дворничиху. Там же на улице ранило в голову беженца. На углу Михайловской и Ильинской улиц бомба попала в дом Рапопорта, разворотив взрывом середину жилища. При этом ранило двух солдат, ночевавших в числе других в отведенном здесь помещении для проходящих нижних чинов. Легкое ранение в голову получил также стоявший на посту городовой. Еще одна бомба в этом районе упала на полосу отчуждения Либаво-Роменской железной дороги, между помещением лазарета и сараями.



Минск. Гостиница «Европа» (начало XX века).

Двигаясь дальше от Виленского вокзала к Александровскому, дирижабль сбросил бомбу «на уборках» в конце 2-й Сергеевской улицы напротив дома Шабуневича, затем неподалеку на лугу, но обе не разорвались. Зажигательная бомба попала в дом Рахманчика на Московской улице, от взрыва возник пожар и дом сгорел дотла. Пожар также уничтожил соседние дома Филиппа Панкратова и Анны Мойсеенко. Там же рядом разрыв другой бомбы повредил дом Пинхуса Найфельда. Все эти дома находились у самого железнодорожного виадука, что, несомненно, указывало на желание германских летчиков попасть именно в него. По другую сторону виадука бомба попала в дом Ицеховского на Суражской улице, причем от взрыва начался пожар, потушенный вскоре прибывшей пожарной командой. На той же улице бомба упала во дворе дома Лотарейчика, но не разорвалась, а взрывом другой повредило дом Мордуха Эвенчика. Там же, шагах в пятнадцати, бомба разорвалась у пассажирской платформы Александровского вокзала, образовав лишь глубокую воронку. Еще одна взорвалась по соседству с вокзалом в саду дома Окоркова, но кроме разбитых стекол никакого ущерба не причинила.

22 бомбы было сброшено на полосу Александровской железной дороги. Взрывами разбило водопровод, повредило поворотный круг для вагонов, разрушило четыре вагона, в нескольких местах повредило путь, но незначительно. Камнем в голову убило часового, двух других ранило — одного легко, а другого тяжело.

Произведя бомбардировку, дирижабль, словно призрак, скрылся в ночном небе.

Минск был взбудоражен. Наутро все только и говорили, что о ночном налете, о бомбах, о разрушениях и пожарах. Хотя бомбардировка нанесла незначительный ущерб, психологическое воздействие она произвела огромное.

Впрочем, кое-что, связанное с ночным происшествием, все же ускользнуло от внимания горожан. Во время пожара в доме Ицеховского в одной из лавок пять нижних воинских чинов начали выносить товары, однако были задержаны городовым при содействии прапорщика 2-го Сибирского стрелкового полка Толстопятова и отправлены с воинским патрулем в Комендантское управление. А во время пожара в доме Рахманчика вольноопределяющиеся 418-го пехотного запасного батальона Иван Васильев и 8-го уланского Вознесенского полка Эдуард Михель под предлогом охраны имущества зашли в дом Найфельда и «начали растаскивать» чужую собственность. Но и этих воришек в военной форме задержали и отправили в комендатуру.

На следующий день, 3 октября, приблизительно в 10.30 утра в небе над Минском в районе Александровского вокзала появились два немецких аэроплана. На этот раз артиллерия обстреляла летательные аппараты и те вынуждены были скрыться — один в юго-западном, а другой в северо-западном направлениях. Улетая, германские летчики успели сбросить бомбы. Из одного самолета были сброшены две бомбы: одна упала на Кондукторской улице, и не разорвалась, а другая на Иосифовской улице повредила взрывом дом Гордзеевского. При этом ранения получили проходивший солдат и находившийся в доме беженец. Со второго аэроплана бомба была сброшена на расположенную за городом батарею, но вреда не причинила.

Стремительное продвижение германских войск вызвало всеобщую панику. В сентябре из Минска и пригородов были эвакуированы почти все гражданские и религиозные учреждения, учебные и медицинские заведения. Некоторые из них в Минск уже не вернулись...

Как церковный историк, приведу примеры, куда эвакуировались церковные учреждения. В Рязань были отправлены редакция «Минских епархиальных ведомостей» и Правление Минской духовной консистории. Туда же было вывезено имущество Минского церковного историко-археологического комитета и, в частности, коллекции церковно-археологического музея, размещавшегося в Юбилейном доме. Впрочем, наиболее громоздкие экспонаты музея, наименее ценные (современные) и те, которые по каким-либо причинам невозможно было перевезти, остались в Минске. В Рязань в помещение местного Архиерейского дома было переправлено имущество и архив Минской духовой семинарии, который впоследствии бесследно сгинул. Минское духовное училище нашло приют в рязанском Гаврииловском доме. Вообще надо заметить, что Рязанская губерния приютила немало учреждений из Белоруссии.

Минское женское училище духовного ведомства было перемещено в Паричи, а Паричское женское училище — во Владимир. Пинское духовное училище эвакуировали в Самару.

Еще в самом начале немецкого наступления Минская духовная консистория разослала по приходам епархии распоряжение о подготовке к эвакуации всей церковной утвари, что и было сделано многими приходами. Эвакуировались наиболее ценные богослужебные предметы, иконы, колокола. Вывозились и святыни. Так, мощи святого мученика младенца Гавриила Белостокского, хранившиеся в Слуцком Свято-Троицком монастыре, эвакуировали в Москву в Свято-Покровский собор на Красной площади.

В октябре наступление германской армии в Белоруссии было остановлено, и фронт закрепился на линии Двинск-Поставы-Барановичи-Пинск.

Дни страха и тревожных ожиданий для минчан окончились...

Классики

ЛЮДМИЛА СКИБИЦКАЯ

«Правда чувств»: рассказы Юрия Казакова и Михася Стрельцова

Юрий Казаков и Михась Стрельцов в русско-белорусском контексте позиционируются как художники лирического типа постижения жизни. Эстетические принципы творчества писателей формируются в 50—60-е годы XX столетия, на волне «лиризации» словесного искусства, связанной с изменениями историко-культурной ситуации, общей для советского пространства. В русской и белорусской литературах в это время обнаруживаются сходные типологические тенденции, и сам процесс литературного взаимодействия приобретает новые формы: не опережение (как это было до оттепели), а параллельное формирование близких эстетических явлений.

В целом русская и белорусская лирическая проза представляет сложный нравственно-философский и эстетический феномен. Она демонстрирует качественные «сдвиги» в искусстве слова, изменение координат литературной эволюции. Не случайно именно лирическая проза в советском литературоведении стала предметом яростных дискуссий, в которой приняли участие и авторы, стремившиеся отстоять право на существование лирической прозы наряду с эпической. Во многом это объясняется установками советского литературоведения, его определенным схематизмом в подходе к осмыслению новых фактов и явлений литературной жизни. Об этом напишет Ю. Казаков в статье «Не довольно ли?»: «Она [лирическая проза. — Л. С.] не могла не вызвать ожесточение известной части критиков, потому что сначала робко, а потом все смелее начала ломать установившиеся каноны как в самой прозе, так и в критике. Да, и в критике, потому что писать о лирической прозе набором штампов и газетных прописей, составлявших лексикон рецензий о «производственных» романах, уже нельзя было, нужно было подтягиваться до уровня нового писателя» [7, с. 518]. Критик нового поколения, Михась Стрельцов выскажет близкие казаковским мысли: «...гэта... недапушчальна, ненавукова і прынцыпова няправільна, бо калі і можна чаму аддаваць перавагу, дык толькі твору таленавітаму перад слабым і незалежна ад жанру і стылёвай прыналежнасці. <...> Мусіць, варта памятаць, што ў мастацтва, пры ўсіх ягоных метадалагічных і стылёвых абліччах, адзіны выток, адзіная мэта — самым аптымальным і ўражлівым чынам закрануць пачуцці і думкі чытача» [9, с. 370].

Лирическая проза и в современной науке о литературе относится к числу наиболее активно изучаемых явлений. Критики рассуждают о ее родовой, жанровой, стилевой характеристиках, не приходя пока к единому мнению: от восприятия лирической прозы как «жанра» (Э. Бальбуров) до определения ее как стилевой организации речевого материала (см.: Литературная энциклопедия терминов и понятий. Гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин, М., 2003). Полагаем, что причиной такой терминологической нестабильности является диффузионная родовая природа явления, которая проявляется на всех уровнях, жанровом в том числе. Основные признаки лирической прозы, обусловленные сосуществованием и взаимодействием в ее поэтике свойств лирики и эпоса: ассоциативность, прерывистость, моноцентричность повествования, сиюминутность изображения, бесфабульность

или наличие своеобразного лирического сюжета, складывающегося из передачи размышлений, чувств, ассоциаций, воспоминаний героя, максимально сближенного с автором, усложненная образность художественного языка — органично воплощает малая повествовательная форма. (Не случайно в жанровой системе творчества Ю. Казакова и М. Стрельцова доминирует рассказ).

В 1950—1960-е годы XX века лирическая проза переживает подлинный расцвет. Это касается не только русской, но и белорусской литературы: в русской литературе появляются лирически «ориентированные» произведения К. Паустовского, М. Пришвина, В. Солоухина, О. Берггольц, Е. Носова, Ю. Куранова и др.; в белорусской — проза Янки Брыля, молодых авторов — В. Адамчика, В. Короткевича, Б. Саченко, И. Чигринова и др. Указанные «ряды» можно продолжить, однако они будут неполными в любом случае, если не включить в них имена двух писателей, которые, на наш взгляд, лидируют в лиро-прозаическом процессе 50—60-х годов: Юрий Казаков и Михась Стрельцов. Достижения этих писателей органично вливаются не только в русло национальных литератур, но и в контекст мировой литературы. Об этом свидетельствует и точное наблюдение современного критика: «Они существуют в литературе рядом: «Антоновские яблоки» — «Старик и море» — «Уроки французского» — «Во сне ты горько плакал» — «Смоление вепря» [2].

Оснований для рассмотрения типологической параллели «Казаков — Стрельцов» немало, и они подчас просто поражают. Обе фигуры и в русском, и в белорусском литературоведении осмысливаются как феноменальные явления: критики говорят о «загадке» этих писателей (например, статья Н. Игруновой «Загадка Михася Стрельцова»; такой же пафос определяет исследования Ю. Нагибина, М. Холмогорова, Ю. Грибова и др. о творчестве Ю. Казакова). Номинация «загадка» имеет в данном случае не только метафорический смысл — она напрямую связана с существенным вектором творчества названных прозаиков. М. Стрельцов писал: «Загадка ёсць у лёсе кожнага мастака...» [9, с. 241]. Он и попытался представить литературно-художническую версию «загадки Богдановича», именно так назвав свою повесть. Подобную попытку в свое время предпринял и Юрий Казаков: стремясь разгадать загадку Лермонтова, он написал рассказ «Звон брегета». В жанровом отношении это произведение можно было бы классифицировать как «историко-биографический» рассказ — та же задача, что и у Стрельцова, только в другом жанре.

Попытаемся осмыслить отдельные аспекты связи творчества Юрия Казакова и Михася Стрельцова, учитывая при этом, что творчество писателей в типологическом плане детально пока не рассмотрено. Исключение — статья Натальи Игруновой, которая наиболее точна в своих предположениях относительно того, с кем сравнивать «явление» (именно так определил масштаб личности Стрельцова Рыгор Бородулин) Михася Стрельцова в русско-белорусском литературном процессе.

Итак, оба художника слова приходят в литературу в 50-е годы. Ю. Казаков старше М. Стрельцова на 10 лет. Этот временной отрезок впоследствии перестанет быть особо существенным: писатели уйдут из жизни в 50-летнем возрасте, своим преждевременным уходом оставив ощущение «незавершенности», «неразгаданности». Личная жизнь их также имеет немало параллелей: та же неустроенность, тот же душевный надлом, который приводил к серьезнейшим проблемам со здоровьем, во многом похожий итог. Между тем творческая жизнь обоих писателей реализовалась совершенно в другой палитре: гармоничной, сочной, живой, как цветовая гамма их произведений (не случайно там доминируют синий и зеленый цвета).

Ю. Казаков и М. Стрельцов — представители «филологического» поколения (термин принят белорусским литературоведением, однако вполне уместен для обозначения поколения Ю. Казакова в русской литературе). В 50-е годы на первом курсе Литературного института учился Юрий Казаков, который практически

в одночасье стал писателем: после задания руководителя семинара В. Б. Шкловского написал новеллу. У Казакова получился рассказ «На полустанке», который высоко оценили, кроме преподавателя, и К. Паустовский с В. Катаевым. Михась Стрельцов заканчивает в 1959 году отделение журналистики филфака БГУ, дебют — рассказ «Блакітны вецер» (1957). Читаем в авторитетном издании «Гісторыя беларускай літаратуры»: «Першае апавяданне Міхася Стральцова засведчыла яго літаратурны феномен... твор... вызначаецца, паводле стылёвай манеры, інтанацыі, пачуцця мастакоўскай меры як абсалютна сталы, прафесіянальны. Па сутнасці, празаік у сваім станаўленні абмінуў стадыю вучнёўства. Яно засталося ў ценю...» [2, с. 405]. Сравним: «Его рассказ «На полустанке» высоко оценили... Казакова перевели на отделение прозы, и все приходили смотреть на странного долговязого очкарика, который сразу, с одного прыжка достиг высокой планки мастерства: вот что значит талант...» [3]. Как видим, начало творческого пути у писателей не просто сходно, а практически полностью совпадает.

Исследователи уже обозначили составляющие прозы авторов: «утонченная стилистика, благородная красота и живописность русского языка, чувство художественной меры» (о Ю. Казакове) [3]; «імпрэсіяністычнасць» успрыняцця, эмацыянальная чуйнасць... тонкі лірызм, пачуццёвая, інтэлектуальная і стылявая далікатнасць, асацыятыўнасць мастацкага мыслення...» (о Стрельцове) [2, с. 404]. И на этом уровне очевидны совпадения.

Ю. Казаков приходит в литературу, чтобы, по его словам, «возродить и оживить жанр русского рассказа» (письмо В. Конецкому в ноябре 1959 года). И все его творчество преимущественно представлено в этом жанре. Его рассказы не мог читать «без слез» мастер русской лирической прозы К. Паустовский. М. Стрельцов также начинает с рассказов. Янка Брыль, корифей лирической белорусской прозы, благословил молодого автора на нелегкое поприще служения литературе. Однако в отличие от Казакова, белорусский писатель реализовал себя во многих жанрах: к 30-летнему возрасту он «прощается» с рассказом, написав ему своеобразную «эпитафию» — произведение «Смаленне вепрука», а потом обращается к поэзии. Критики указывают на такую особенность таланта Стрельцова: «В своем творчестве он не терпел повторов, редко останавливался на одной и той же жанровой модификации. Если жанр «сопротивлялся», Стрельцов не пробовал преодолеть сопротивление — он изменял сам жанр, чтобы тот стал пригодным для художественного открытия...» [2, с. 414].

Стрельцов-критик, размышляя над природой лирического таланта вообще, подчеркивал стремление писателя лирической концепции постижения жизни освоенный фрагмент действительности «упісаць у шырокую, найшырачэйшую, хоць і не афармленую сродкамі мастацтва, раму жыцця...» и указывал, что «...не пісьменнік выбірае жанр, а жанр выбірае яго...» [9, с. 339—340]. В представлении Стрельцова лирическая концепция жизни, связанная с понятием неограниченности бытия, с одной стороны, «диктует» форму выражения, а с другой — детерминируется «требованиями» жанра. Задача автора в таком случае — привести к соответствию «жанровое мышление» и «жанровый выбор», что и осуществил Стрельцов в собственном творчестве.

То же происходит с жанром рассказа и у Казакова: заявленная им программа «возрождения» рассказа есть не что иное, как «раздвижение» границ жанра. В его произведениях, как правило, ничего не происходит — вместо событийной наполненности возникает нечто иное: картина тайных движений души человеческой, в которой нет и не может быть некоей заданной структуры, а, наоборот, существует свободная связь, не подчиняющаяся никаким законам извне. Казаков настаивал на том, что задача литературы — «изображать именно душевные движения человека» [6, с. 177]. Эту «романную» по масштабу задачу он решает в жанре рассказа, который «учит видеть импрессионистически — мгновенно и точно» [4].

Малая проза Ю. Казакова и М. Стрельцова — наглядный образец той свободной повествовательной формы, в которой скорее выражается чувство, нежели

мысль, а сам образ становится основным структурообразующим принципом. Ощущая неразрывную связь с поколением, писатели тем не менее шли чуть в стороне от него. В литературном контексте 50—60-х годов их творчество связано со стремлением соединить социальную и экзистенциальную сферы человеческой жизни в художественном дискурсе, что ощущается уже на уровне заголовочного комплекса.

Даже простая статистика довольно красноречива в случае Ю. Казакова и М. Стрельцова. «Голубое и зеленое», «Двое в декабре», «Осень в дубовых лесах», «На острове», «Адам и Ева» и т. д. — Ю. Казаков; «Пасля завірухі», «Восеньскі ўспамін», «Сена на асфальце», «Блакітны вецер», «Двое ў лесе» и т. д. — М. Стрельцов. Такие заглавия формируют, «программируют» читательское восприятие, авторами намеренно актуализируется рецептивная «интенция» (В. Тюпа), ибо сущностная характеристика лирической прозы напрямую связана с читательским восприятием и сотворчеством. «Душевное движение» (Ю. Казаков), или «правда чувств» как предмет изображения в лирической прозе призваны вызвать ответное «движение» в воспринимающем сознании.

Однако что есть «правда чувств»? Как понять рационально, аналитически образы «осень в дубовых лесах» или «сено на асфальте»? В них ритм, музыка, слово представлены в нерасчленимом единстве, они синкретичны, как и авторские дефиниции лирической прозы. Например, определение Янки Брыля, цитируемое Стрельцовым-критиком: «Вас когда-нибудь били по обнаженному сердцу?..» Вось што такое лірычная проза» [9, с. 371]. Или казаковское определение лирической прозы: «...и вздох может пронзить» [7, с. 518]. Синкретическую природу имеет и определение Казаковым «достоинств» лирической прозы: «...чувствительность, глубокая и вместе с тем целомудренная ностальгия по быстротекущему времени, музыкальность... чудесное преображение обыденного, обостренное внимание к природе, тончайшее чувство меры и подтекста, дар холодного наблюдения и умение показать внутренний мир человека...» [7, с. 518]. Эти составляющие образуют слитное, нерасчлененное единство, подобное начальному синкретизму.

Такую синкретичность и манифестируют заглавия. Причем в качестве первичного манифеста выступает уже имя автора, а заглавия окончательно «проясняют» ситуацию. Сравнительное рассмотрение заглавий рассказов указывает на характерные совпадения, которые в отношении художников лирической концепции жизни носят не случайный, а, скорее, закономерный характер. Такие совпадения обнаруживают следующие «пары» заглавий: «Голубое и зеленое» (Казаков) и «Блакітны вецер» (Стрельцов), «Двое в декабре» (Казаков) и «Двое ў лесе» (Стрельцов), «По дороге» (Казаков) и «Перад дарогай» (Стрельцов), «В город» (Казаков) и «I зноў, зноў горад» (Стрельцов) и некоторые другие.

Креативная функциональность, связанная с авторской волей, проявляется в этих заглавиях в стремлении творцов создать максимально точный образ, предельно концентрирующий художественный мир произведения, «стягивающий» к себе все нити повествования. Одновременно это актуализирует не столько эпическую, сколько лирическую составляющую: в лиро-прозаическом тексте в центре находится лирический в своей основе образ. Называя рассказ «Осень в дубовых лесах» (Казаков) или «Восеньскі ўспамін» (Стрельцов), авторы не столько очерчивают границы воссозданной художественной действительности, сколько указывают на центр, ядро созданной художественной модели. И читатель, условно говоря, «вбирает» в себя этот образ — так же целостно и нерасчлененно. Заглавие, манифестирующее подобный образ, при этом может получить конкретное словесное выражение в художественном мире, оно также может быть импрессионистическим по своей структуре. Различие в композиции заголовочного комплекса в соотнесенности с художественным миром позволяет понять специфику лирического мироощущения каждого автора.

Обратимся для примера к ранним рассказам «Голубое и зеленое» Ю. Казакова и «Блакітны вецер» М. Стрельцова, заглавия которых указывают на определенное сходство (хотя бы в колористике). Время создания этих произведений играет особую роль: именно в них, на наш взгляд, определялись векторы эстетических пристрастий авторов. В обоих рассказах словесно-образные компоненты — «голубое и зеленое» (у Казакова) и «голубой ветер» (у Стрельцова), одновременно выступающие в качестве заглавий, являются апофеозом лирического чувства. Личности персонажей и авторов характерным образом преломились в этих образах. Однако если Казаков сосредоточен на цвете как основе образа, то Стрельцов добавляет к нему движение, стремительность. Если цветовой образ соответствует эмоциональному уровню Алеши, то, безусловно, синэстетический по своей структуре компонент «голубой ветер» адекватен сознанию героя Стрельцова.

Внутреннее строение образа «голубое и зеленое» импрессионистично; он соткан из многих штрихов и ни разу конкретно не обозначен в речевой ткани рассказа (кроме заглавия). Он текуч, неуловим, как текуч поток чувств-переживаний Алеши, который постигает мир интуитивно, констатирует, задумывается, но к анализу практически не приходит. Он весь погружен в мир «тайных движений» своей души, жадно фиксирует (не анализирует) текучесть чувств. Такое структурирование придает образу символическое наполнение, основной составляющей выступает психологизм, и только в финале произведения обнаруживается другой уровень — философский.

Центральный образ в рассказе Стрельцова словесно обозначен героем в его внутренних монологах. Рассказ начинается сном о голубом ветре, затем этот образ появляется в основной части в развернутом виде, наконец, последний раз — в финале. Перед нами — как будто развитие самодостаточного образа, имеющего четко обозначенную трехчастную структуру, в логическом плане представленную триадой «тезис — аргументация — вывод». Исходное положение — сон, в котором появился голубой ветер. Развитие — философская наполняющая: «І сапраўды вецер быў блакітны, як у сне. У ім было ўсё: трывожная смуга даляглядаў і незабыўнае святло маленства; дажджы густыя, як вецер, і пах суніц; шчымлівая радасць у сэрцы і непрыкрытае вясёлае здзіўленне перад светам. Якраз усё тое, чаго не хапала цяпер Лагацкаму» [9, с. 52]. Эти мысли навеяны старым домом, который вызвал в памяти героя картины детства, с запахами, цветом, яркими эпизодами. Ощущение чуда — самое главное в воспоминании персонажа — не покидает Логацкого даже в зрелом возрасте, оттого он, как в детстве, затаенно ожидает прихода чуда. Характерно, что «чудо» видится герою в намеренно приземленных деталях (сравним сон Алеши и его составляющие, отмеченные романтически-возвышенной интонацией), что свидетельствует о зрелости персонажа. «Голубой ветер» разрушает спокойствие, равнодушие, не дает герою «уладкаваць сваю душэўную гаспадарку» [9, с. 54]. Но Логацкий ждет этот ветер, стремится измениться, чтобы «голубой ветер» не покинул его, потому что без нерешенных вопросов жизнь не представляется молодому человеку чудом, а чудо должно быть, ведь оно дает смысл и полноту восприятия. Таково логическое завершение образа «голубой ветер». Отметим, что стрельцовский образно-ассоциативный элемент, аккумулирующий в себя потоки речевого поля произведения, выражает авторскую концепцию более четко как раз из-за своей философской, интеллектуальной сущности (по сравнению с образом в рассказе Казакова). Русский прозаик на первый план выдвигает текучесть переживаний, тончайшие психологические нюансы, на что и указывает заглавие.

В рассказах заголовочный комплекс акцентирует важнейшие черты личностей персонажа и автора, его создавшего: у Казакова — черты психолога, у Стрельцова — способности философа, постигающего мир в общих закономерностях. Произведения представляют собой особые модели мира — лирико-психологическую и лирико-философскую, которые впоследствии были плодотворно развиты писателями. Об этом свидетельствует, например, и такая «пара» произ-

ведений: «Двое в декабре» (Казаков) и «Двое ў лесе» (Стрельцов). Заглавия «манифестируют» совершенно определенную тематику — любовь.

Авторы стремятся не к конкретизации, а, напротив, к максимальному обобщению уже в пределах заголовочного комплекса, однако в соотношении с текстом выявляется камерный характер повествования в казаковском рассказе и расширение повествовательного поля в стрельцовском.

Казаков не называет своих героев, оставляет их безымянными, чем усиливает психологическую тональность повествования, углубляя ее природно-нравственной характеристикой — «в декабре». В литературоведческих работах о писателе сочетание «двое в декабре» приобрело характер «общего места», поскольку оно отражает специфику отношений казаковских мужчины и женщины. И в данном произведении декабрь не просто месяц, а предчувствие, психологическая мотивация лирического сюжета. Отношения между Ним и Ею сопряжены с движением времени в природе, с круговоротом, почти с мифологическим циклом умирания и воскресания. Лето в сознании персонажей ассоциируется с расцветом чувств, в то время как декабрьская встреча — это подведение итогов и одновременно угасание чувства. «Поэтика психологического параллелизма» (Н. Л. Лейдерман и М. Н. Липовецкий) как конструктивный принцип творчества писателя явлена в этом рассказе в своем предельном, концентрированном выражении, и заглавие отражает это.

Название «Двое ў лесе» по структуре сходно с казаковским заглавием, однако местоположение актуализирует не столько психологическую интонацию, сколько философскую. Лес давно осознается как архетипический образ, пробуждающий рефлексию героя. Рассказ Стрельцова также написан о любви, заглавие не обманывает ожиданий читателя. Но любовный подтекст особым образом оттеняет ситуацию нахождения в лесу, ибо там находятся не Он и Она, а два соперника, естественно, один из них удачливый, другой — нет. Под шум леса один из них (Василь) вспоминает счастье первых встреч с любимой девушкой, переосмысливает их начинавшееся чувство, проясняет для себя причины несостоявшейся любви. Шум леса активизирует мыслительный процесс персонажа, он как будто логически выстраивает историю взаимоотношений, анализирует, ищет причины разрыва — и находит их. Одновременно герой выясняет для себя перспективу жизни: «І цяпер ён не баяўся, што паміж імі (Мариной и Василем. — Л. С.) стаяў Клыбік» [9, с. 42].

Концовка рассказа Казакова: «Им обоим стало как-то буднично, покойно, легко, и простились они, как всегда прощались, с торопливой улыбкой, и он ее не провожал» [7, с. 220], в отличие от стрельцовского, намеренно не закончена, она протяженна во времени, исключает какую бы то ни было конкретику. Стрельцовский финал напоминает по своей структуре вывод, он результативен, в то время как для персонажа русского писателя результат давно перестал быть желанным. «Имена» этих двух рассказов и выявляют разницу в авторской субъективности.

Подобного рода «пару» образуют произведения, заглавие которых связано с архетипическим образом «Пути»: «По дороге» (Казаков) и «Перад дарогай» (Стрельцов). Название рассказа Казакова в целом характерно для автора: для него слово «дорога» составляет ядро мироощущения, а в персонажной сфере писателя тип «странника» — один из главных. Об этом свидетельствуют и такие заглавия, как «На полустанке», «Странник», «В город» и другие. В них как будто обозначены пунктиры большой дороги, маленькой или бесконечной, как жизнь. Рассказ невелик по объему, состоит из двух частей, первая — своеобразная мотивация тяги персонажа в дорогу, вторая — собственно дорога к поезду, встречи на дороге, мысли и чувства героя, прощание с матерью, ожидание новых дорог. В центре лирического сюжета — образ-переживание, связанный с предстоящей дорогой, он реализуется не в «мыслительном» дискурсе, а в излюбленном писателем способе запечатления душевных движений, передаваемых через параллель с природой. «Но в тот февральский вечер стояла оттепель. Небо зеленело поверху,

смугло рдело за лесом, деревья были черными и набухли. В воздухе так явственно тянуло весной, что Илья почувствовал ее, подышал, высморкался и, забираясь в настывшую кабину, тогда же решил ехать» [7, с. 136]. Дорога обостряет чувства персонажа, особенно — дорога перед дорогой. Он замечает то, чего в суете не видел, как будто очищается душой, устремляясь в путь, покидая что-то важное и в то же время не менее важное приобретая.

Заглавие рассказа Стрельцова, актуализируя образ пути, локализует ситуацию в бытовом времени (раздумья перед возвращением в город семьи), но одновременно углубляет ее, как будто соединяет пласты времени и пространства. Если у персонажа Казакова они разделены, на что и указывает заголовочный комплекс, то стрельцовский герой соединяет их, потому что находится в «пороговой ситуации», сопряженной с подведением итогов.

Тема этого рассказа перекликается с темой произведения Казакова в плане «траектории» пути героев. Илья («По дороге») уезжает из деревни, где вырос, о чем сетует его старенькая мама, адресуя свои горькие мысли молодым, бросающим свою родину: «Господи! — думает она. — Не нужен им дом родной! Ездют, ездют, вся земля поднялась — время какое ноне настало! В рубашонке... бегал босый, беленький, царица небесная! А теперь эвон — полетел!..» [7, с. 139]. Персонажи рассказа белорусского писателя приехали в деревню утром, как сообщается в начальной строке рассказа, за грибами. Цель, как видим, совершенно иная, чем у героя Казакова. Семен Захарович — горожанин с сорокалетним стажем — прибыл в деревню вместе с женой отдохнуть, «приобщиться» к истокам. Находясь в деревне, он вспоминает и свое деревенское детство, сравнивает нынешнюю и тогдашнюю деревни. У жены — свой путь воспоминаний: она, горожанка, вспоминает, как «перастала быць гараджанкай і стала вясковай кабетай» [9, с. 46]. Социальные метаморфозы «горожанин — крестьянин» обусловлены войной, которая и весь привычный уклад жизни изменила и разрушила. Однако традиционная для «деревенской» прозы антиномия «город — деревня» не обостряется ни Казаковым, ни Стрельцовым. Напротив, авторы намеренно понижают эту остроту, и снижающим средством здесь выступает заголовочный комплекс, имеющий внесоциальный характер. Структура рассказа Казакова имеет линейный, горизонтальный характер, как движение «по дороге», в то время как композиция произведения белорусского автора обнаруживает вертикальное построение, исходная позиция которого — на земле, а движение получает разнонаправленный характер. Потому естественны экскурсы в прошлое, а не только движение вперед. В соотнесенности с линейным построением художественного мира заглавие выявляет приоритет русского прозаика к психологическому анализу феномена странничества. Вертикальная структура стрельцовского вкупе с заглавием формирует общефилософский фон повествования, несмотря на внешнюю локальность изображенной ситуации.

Заглавия названных рассказов, таким образом, выявляя сходство в «плане выражения», обнаруживают различие в контекстуальном наполнении. Формальные совпадения тем не менее весьма показательны в отношении писателей Казакова и Стрельцова, ибо это сходство детерминировано лирической концепцией мира и личности, свойственной прозаикам. Разница в «плане содержания» указывает на доминанту лирического поиска: психологического — у Ю. Казакова, философского — у М. Стрельцова.

Об этом свидетельствует и жанровая эволюция писателей: в их творчестве доминирует рассказ. По отношению к Стрельцову можно было бы добавить: короткий рассказ, так объем его текстов значительно меньше большинства казаковских. Однако даже такие «большие» произведения русского прозаика, как «Тэдди», «Двое в декабре», «Долгие крики», «Голубое и зеленое», не выходят за рамки малой формы.

В то же время рассказ как «способ мышления, определяемый в своих ключевых параметрах особенностями духовного мира личности» [1, с. 49] в большей

степени свойственен Казакову, писавшему: «Наверное, роман, который, в силу своего жанра, пишется не так скупо и плотно, как рассказ, а гораздо жиже, — не для меня... видно, и суждено умереть рассказчиком» [7, с. 524]. Его работу над переводом трилогии казахского писателя А. Нурпеисова «Кровь и пот» следует рассматривать, вероятно, не столько с жанровой, сколько с биографической точки зрения (это была попытка вернуться в литературу после творческого кризиса).

Жанровая динамика творчества белорусского прозаика имеет разнонаправленный характер: он начинает с рассказов, пишет их параллельно литературно-критическим произведениям, затем переходит к созданию стихов. Некоторые тексты Стрельцова построены как цикл лирических миниатюр («Трыпціх») — так «оформлялось» в его малой прозе движение к стихотворчеству.

В небольшом по объему новеллистическом наследии писателей обнаруживается тем не менее разнообразный спектр жанровых модификаций («фабульный» и «бесфабульный», «монументальный», «биографический», «анималистический» рассказы, рассказ-этюд, рассказ-очерк, рассказ-эссе, т. д.), свидетельствующий как о многогранности таланта авторов, так и об эстетическом потенциале малой формы. Анализ ранних произведений авторов («Голубое и зеленое» Казакова и «Голубой ветер» Стрельцова) позволяет сделать вывод о приоритете лирико-психологического направления в творчестве русского прозаика и лирико-философского — в художественном мире белорусского. Для подтверждения этой гипотезы сравним их с последними творениями писателей.

Так, в рассказе «Голубое и зеленое» предметом художественного исследования были «душевные движения» юного Алеши, который только вступал в круговорот жизни. Его наивные, детские впечатления анализировались автором скрупулезно, вскрывая в подтексте даже то, чего сам Алеша не мог понять, но чувствовал. Характерна в этом отношении цитата из внутреннего монолога героя: «Но весной я начинаю кое-что замечать. Нет, я ничего не замечаю, я только чувствую с болью, что наступает что-то новое» [7, с. 43]. Так герой воспринимал мир — чувством, сердцем — не сознанием.

Повествование строилось как развитие лирической темы, в которой основной являлась идея полноты жизни, необходимости осознания ее человеком. В тексте произведения многочисленны отступления от сюжетной линии, раздвигающие границы локализованного переживаниями Алеши пространства, сопрягающие его с реальными образами и событиями. Рассказ дробится на главки (их в тексте 7), которые соединяются между собой восприятием Алеши, цепью его «душевных движений». Такая «сцепка» частей текста в целом свойственна рассказу Казакова, особенно в ранний период. Из-за подобного строения лирический сюжет перерастает за пределы повествования о частной судьбе, становится исповедью не только Алеши, но любого молодого человека, который только входит в жизнь и начинает ее осмысливать. Финал произведения, внешним образом имея итоговый характер, тем не менее не столько подводит результат душевным процессам героя, сколько переводит их на другой уровень. Алеша вырос, прежние переживания кажутся ему наивными, он их «забыл». Но герою снятся сны, нарушающие упорядоченное движение его «взрослой» жизни. Никакая приобретенная с годами «логика» не в силах побороть «сны», в которых он по-прежнему любит Лилю и ждет от жизни чудес.

По сравнению с довольно объемным (23 страницы) рассказом русского писателя «Голубой ветер» М. Стрельцова гораздо меньше — неполные 5 страниц. Разница в объеме имеет, на наш взгляд, немаловажное значение: психологическая нюансировка вынуждает к детализированному изображению, к импрессионизму стиля, что естественным образом увеличивает объем повествования.

Лирическая тема «Голубого ветра» заявлена уже в заглавии. Сложный образ «голубой ветер», составляющий смысловой центр произведения, «диктует» автору отход от фабульного письма, приводит его к необходимости прояснения сущности главного понятия в жизни персонажа Виктора Логацкого. В отличие

от казаковского произведения время в рассказе Стрельцова сведено к нескольким часам из жизни героя, однако рамки повествования раздвинуты до «фокуса жизни» персонажа благодаря монолитно выстроенному внутреннему монологу, в котором мысли сменяют чувства и наоборот. Герой Стрельцова сосредоточен на самоанализе, на поисках причин психологического дискомфорта. Его душа требует ответа, понятного, проверенного, который бы определил перспективы дальнейшего существования. Это приводит героя не столько к риторическим вопросам или восклицаниям (что свойственно Алеше), а к постановке проблемы и ее решению. Поставив для себя вопрос, почему он пребывает в растерянности, Логацкий с разных сторон анализирует свое поведение, общение, работу, друзей, даже память и сны. И для такого героя важным является финальный вывод о том, что нужно избавиться от равнодушия, черствости, замкнутости, и «тады ніколі не пакіне» его «блакітны вецер» [9, с. 55]. Необходимость в подобной завершенности — индивидуально-стилевая черта Стрельцова, она «оформляет» текст как лирико-философскую модель, в которой нюансы частной жизни приобретают универсально-бытийный характер.

Последнее произведение в контексте биографии автора чаще всего осознается как итоговое. Свой рассказ «Во сне ты горько плакал» Казаков напишет после почти десятилетней паузы. Стрельцов создаст «Смаленне вепрука» и больше не возвратится к рассказу, начнет писать стихи.

Структура произведения Ю. Казакова «Во сне ты горько плакал» подчинена самовыражению персонажа, которого в полной мере можно назвать лирическим героем. Повествование ведется от первого лица, что усиливает исповедальную интонацию, свойственную лирической прозе и стилю писателя. Рассказ состоит из трех частей, отделенных в тексте пробелами. Трехчастная структура отражает «точки зрения» не одного, а трех субъектов: героя-повествователя, его сына, друга повествователя. Но произведение моноцентрично, это монолог одного героя (повествователя), не скованный никакими фабульными рамками. Сознание этого героя свободно переносится из одного времени в другое, от одной жизненной ситуации к другой, увязывая все это в тугой узел экзистенциальной проблемы.

Внешняя событийная канва в рассказе — прогулки отца с сыном — ненавязчиво «вплетается» в путь духовного поиска личности повествователя. Находясь наедине с маленьким ребенком, наблюдая, как меняется его сознание, отец задается вечными вопросами. Он как будто пытается прочитать знаки дальнейшей жизни сына, соотнося его судьбу со своей и судьбой друга. Отец убеждается в том, что мальчик действительно знает или чувствует что-то такое, чего не знает взрослый человек. Ребенку, органической части природы, не ведомы разрывы, муки, колебания, сомнения, страх жизни и ужас смерти.

Но с тревогой констатирует отец, как исчезает из сознания маленького человека гармоничность. Ребенок во сне плакал, словно терял что-то очень дорогое, не зная даже названия этому: «Ты всхлипывал горько, с отчаянной безнадежностью. Совсем не так ты плакал, когда ушибался или капризничал. Тогда ты просто ревел. А теперь — будто оплакивал что-то навсегда ушедшее. Ты задыхался от рыданий, и голос твой изменился! <...> Что успел узнать ты на свете, кроме тихого счастья жизни, чтобы так горько плакать во сне? Ты не страдал и не жалел о прошлом, и страх смерти был тебе неведом! Что же тебе снилось? Или у нас уже в младенчестве скорбит душа, страшась предстоящих страданий?» [7, с. 344—345]. Эти же вопросы встают перед героем-повествователем, когда он пытается понять, почему его друг, счастливый отец, деятельный и бодрый человек, покончил с собой. Герой старается восстановить ход событий, приведший к трагическому финалу, ставя себя на место человека, заглянувшего в бездну.

Вопрос «Почему?» в первой части рассказа остается открытым, хотя путь к решению вроде бы намечен: «...неужели в каждом из нас стоит неведомая нам печать, предопределяя весь ход нашей жизни?» — но тут же отметается возможность такого ответа: «Душа моя бродит в потемках...» [7, с. 336]. Не решается

этот вопрос и в безмолвном диалоге с полуторалетним сыном, в душу которого уже входила тоска, свойственная, как казалось раньше, лишь «взрослому» сознанию. Оттого завершается рассказ незаконченным предложением: «Впору, братец ты мой, было и мне заплакать...» [7, с. 346]. В экзистенциальном поиске душа утрачивает возрастные характеристики, и Казаков убедительно показывает процесс погружения человеческого сознания в бытийные глубины.

В «Смаленні вепрука» — последнем рассказе М. Стрельцова — автором поднимаются сходные проблемы, однако «почвой» для их решения выбирается сфера подчеркнуто бытового плана. «Смаленне вепрука» — явление утилитарной жизни человека, на первый взгляд, не соотносимое с пространством казаковского произведения, где царит атмосфера предельно интимного общения. Но тема смерти витает и в стрельцовском рассказе, пересекая пространство и время мира животных, затрагивая самые болевые точки человеческого бытия. Сознание автора, задумавшего писать рассказ под названием «Смаленне вепрука», диктует иную цель — написать «эпитафию» рассказу, а значит, подвести итоги определенному жизненному и творческому этапу. Слово «эпитафия», прозвучавшее в финале, отмечено той же экзистенциальной тоской, что и повествование в казаковском. Поставлены вопросы, предложены варианты их решения, но в отличие от ранних произведений писателя, финальная часть которых имела завершенно-логический характер, в этом нет завершенности. Герой-повествователь и сам констатирует утрату логичности: «...я пішу эпітафію апавяданню, якое магло б называцца «Смаленне вепрука». О, вядома, не шмат логікі ў ім, але ж не шмат логікі і ў стратах, што прыносяць нам лета ці вясна, зіма ці восень...» [9, с. 150]. Эта новая «нота» в мире Стрельцова напоминает пафос рассказа Казакова, хотя белорусский автор написал произведение на четыре года раньше.

Н. Л. Лейдерман и М. Н. Липовецкий, анализируя прозу Ю. Казакова, отмечают, что она «продолжила строить мост между социальными и экзистенциальными сферами человеческого существования» [8, с. 359], восстанавливая связи классической и современной русской литературы. Эстетические поиски М. Стрельцова, на наш взгляд, находятся в этом же русле, преодолевая определенную локальность отечественного словесного искусства.

1. Андреев, А. Н. Специфика жанрового мышления в литературе / А. Н. Андреев // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе: Проблемы теоретической и исторической поэтики : материалы междунар. научн. конф. : в 2 ч. — Гродно : ГрГУ, 1997. — Ч. 1. — С. 49—55.

2. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя : у 4 т. / Ін-т мовы літаратуры Якуба Коласа Янкі Купалы НАН Беларусі. — Мінск: Беларуск. навука, 2003. — Т. 4 ; Кн. 2 : 1986—2000. — 952 с.

3. Грибов, Ю. Очарование талантом / Ю. Грибов // Красная звезда. — 2002. — 10 августа.

4. Единственно родное слово : Интервью с Казаковым М. Стахановой и Е. Якович // Лит. газета. — 1979. — 21 ноября.

5. Игрунова, Н. Загадка Михася Стрельцова / Н. Игрунова // ЖЗ : журнальный зал [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://magazines.russ. ru/druzhba/2000/6/igrun. html. — Дата доступа : 10.03.2013.

6. Казаков, Ю. Для чего литература и для чего я сам? : Беседу вели Т. Бек и О. Салынский) // Вопросы литературы. — 1979. — № 2. — С. 174—190.

7. Казаков, Ю. П. Поедемте в Лопшеньгу / Ю. П. Казаков. — М.: Сов. писатель, 1983. — 560 с.

8. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950—1990-е годы : учеб. пособие : в 2 т. / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий. — Т. 1 : 1953—1968. — М.: Академия, 2003. — 416 с.

9. Стральцоў, М. Л. Ад маладзіка да поўні : апавяданні, аповесці, эсэ / М. Л. Стральцоў. — Мінск : Маст. літ., 2005. — 430 с.

После публикации

В седьмом номере журнала мы начали разговор о современной критике. В продолжение темы предлагаем статью-рассуждение по данному вопросу еще одного автора.

Критика без страха и упрека

В последнее время как с высоких трибун, так и в частных беседах нередко можно услышать следующее: у нас нет литературной критики. У нас — это в современной белорусской литературе. Обратимся к статистике. Возьмем, к примеру, декабрьские номера литературных журналов, где представлены все авторы, которые были опубликованы в течение года. Меня интересуют «самые литературные» жанры — проза и поэзия.

Вот какая любопытная картинка получается. Журнал «Нёман» за 2012 год. Рубрика «Поэзия» — 66 авторов, «Проза» — 35. А как же дело обстоит с критикой? В рубрике «Литературная критика» за весь год скромно представлены всего несколько статей: «Где прожил жизнь — там родина» В. Гниломедова, «Кирпичом по Пушкину» Г. Киселева, «Лицо белорусского женского романа» О. Попко и «О рифмах и не только» А. Тявловского. Не густо. Более широко в журнале публикуются книжные рецензии. Читатели ознакомились с тридцатью книжными новинками.

В журнале «Полымя» за 2011 год можно наблюдать приблизительно такую же картину: «Поэзия» — 46 авторов, «Проза» — 21. Под одной рубрикой в журнале объединены два жанра — «Критика и литературоведение». Критике по-прежнему отводится роль скромной золушки. В 13 опубликованных статьях свое отражение нашли разные жанры: литературные очерки, история литературы, обзоры, архивные документы, материалы о литераторах-юбилярах, но только не критические статьи о произведениях современных поэтов и прозаиков. Три автора — З. Дроздова, Т. Нуждина и М. Шамякина — приблизились в своих статьях к анализу творчества некоторых авторов.

Статья З. Дроздовой «Человек в морально-духовном контексте» обращает на себя особое внимание, так как в ней представлено большое сравнительное исследование французской и белорусской современной прозы.

Так в чем же дело, почему образовалась такая обидная диспропорция, такой перекос в жанрах? На одной чаше весов, очень увесистой, — опубликованная журнальная проза и поэзия, на другой — развевается легковесными надувными шариками современная критика. У меня появилось какое-то неясное, смутное сомнение: так ли на самом деле все хорошо в нашей современной отечественной литературе... без современной критики?

Все писатели, не зависимо от того, новичок он в литературе или ветеран, не только с нетерпением ждут появления своих произведений в «толстых» журналах, но также и с не меньшей жаждой хотят быть оценены критикой. На деле же получается, что практически вся эта critical mass свежих текстов так и остается без внимания.

Где-то пусто, а где-то густо. С литературного ландшафта исчезает принципиальная, независимая критика, которая и должна рассматривать творчество современных писателей.

Похоже, что сегодня уходят традиции прежней школы, утрачивается преемственность. Прежние публикации, духовный опыт прошлого доказывают, что серьезная критика существовала, были в ней яркие представители, когда-то они пытались ***повлиять на литературный процесс***. Но в наши дни, по большому счету, практически нет продолжателей тех традиций, идет тиражирование обычных книжных рецензий, больше похожих на универсальную штамповку, меняются разве что фамилии. Все-таки книжная рецензия не заменит полнокровную литературно-критическую статью, отсутствие которой на страницах изданий может внушить молодому поколению сомнительную мысль, что именно книжная рецензия и есть та самая литературная критика. Кто-то мне может возразить, а чем собственно книжная рецензия отличается от критической статьи, ведь это нечто похожее? Не совсем. Тотальное присутствие в СМИ книжной рецензии опасно тем, что она все больше походит на обычную рекламу. В этом нет ничего плохого, книга — товар, его надо продавать.

Но мы сейчас ведем речь о другом — о забвении настоящей литературной критики, которая способна влиять не только на эстетические вкусы читателей, но и на социальные процессы в обществе.

Обратимся к классике. Литературные герои в статьях русских критиков XIX века выступали словно реальные лица. На примерах художественной литературы В. Белинский и его последователи анализировали реальную жизнь. Критик в области художественного творчества был бескорыстным и образованным судьей, таким рыцарем без страха и упрека.

И в прошлые времена, и сегодня от критика требовались мужество, гражданская позиция, обширные знания, яркий стиль. Можно ли утверждать, что в современном литературном процессе существует такого уровня критическая мысль, которая в близкой перспективе могла бы влиять на умы и разнообразные социальные процессы?

У нас есть фундаментальные работы ученых-филологов о классиках прошлого, иногда промелькнут статьи-обзоры, как, например, о поэзии молодых (М. Шамякина «Эстэтычны ідэал маладой беларускай паэзіі» «Полымя» № 2 2011 г.), а также литературные очерки, книжные рецензии, но слишком узкие рамки этих жанров, в которых немногие авторы пытаются осмыслить современный литературный процесс, никоим образом не могут повлиять, например, на национальное самосознание.

По В. Белинскому художественная критика — это способность открыто выражать свои взгляды на жизнь. «Поэт мыслит образами; он не *доказывает* истины, а *показывает* ее». Материалом для таких тектонических сдвигов и исследований в критических работах должны быть, прежде всего, наши литературные героисовременники, образы и явления со всеми их противоречиями, отраженными в художественных произведениях.

Получается, современная литература есть, а продолжения ее — дискуссий критиков на страницах литературных изданий — нет. Тогда у меня появляется не менее коварный и провокативный вопрос: какова же она, современная литература?

Мало в произведении показать характерное явление или образ, каковыми они **являются** на самом деле — та же безработица, упадок духа, безденежье, одиночество, отсутствие любви, страх смерти, болезни, какой наш герой подлец, негодяй, трус, слабый или ленивый, но хорошо бы еще показать, какими они **должны и могут быть.**

Конечно, за два века со времен Пушкина и Белинского понятие «литературная критика» очень трансформировалось, от пушкинского определения «*наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусства и литературы*» до современных представлений.

Так случилось, что несколько лет назад по воле судьбы я пришла в края нехоженые, почти заповедные — современную литературную критику. Человек я любопытный, азартный, с богатым опытом книгочея, вот и решила — с меня не

убудет, откликнусь, скажу свое слово о литературе, может, коллеги чуть потеснятся, впустят в свой круг посвященных вольных ремесленников.

Труд литературного критика — не для всякого подъемный, может, поэтому этот род занятий так «табуирован», и почти не обсуждается в литературных кругах. В чем же секрет этого жанра, вечного спутника художественной литературы?

Коротко напомню — в теории литературоведения задача литературной критики понимается как род литературного творчества, который направлен **на понимание и оценку** современных произведений. А что имеем на практике, есть ли эта честная, принципиальная оценка современных произведений? Сегодня можно встретить на литературных сайтах различные виды публичных порицаний, осмеяний, ёрничества, издевок под «критику» и даже глумления над новыми произведениями. Стало модным прикрываться «прикольным стёбом», в надежде обогатиться какими-то дивидендами, снискав славу неутомимого ругателя и насмешника.

Еще Добролюбов удивлялся: «*...как почтенные люди решаются признавать за критикою такую ничтожную, такую унизительную роль. Ведь ограничивая ее приложением «вечных и общих» законов искусства к частным и временным явлениям через это самое осуждают искусство на неподвижность, а критике дают совершенно приказное и полицейское значение*».

У нас наблюдаются разные крайности: в статьях можно видеть и унылую пресность, и излишнюю сладость, такой искусственный тошнотворный сахаринчик.

Сегодня многие признают, и это нашло уже свое отражение в словарях и энциклопедиях, что существует, как минимум, три разновидности критики: *профессиональная, писательская и читательская*.

Профессиональной критикой само собой должны заниматься профессионалы, то есть филологи-литературоведы. Но вот здесь, на мой взгляд, наметился некий перекос. Наши *чистые* профессионалы практически бросили на произвол судьбы современную литературу и подались в более легкий «промысел» — исследование литературы прошлого. Там уютно и нехлопотно, многое рассмотрено предшественниками. Писатели прошлого давно ушли в небытие, оставив нам богатое наследие. Хватит не одному поколению ученых разбираться с архивами и делать открытия.

Профессионализм представителями ученого лагеря понимается как набор «эксклюзивных» знаний, всегда очень внушительный. Наши профессионалы, безусловно, могут понять и оценить новое произведение, разобрать его на эмпирические составляющие, исследовать вширь и глубь, с привязкой к прошлому и смелым заглядыванием в запредельность, в контексте литературного процесса, истории культуры, и даже социального бытия. Но наукообразие их статей, усложненность, избыточность терминов часто делает такую суперпрофессиональную критику недоступной для широкого читателя.

Мне ближе писательская критика, читай в скобках *непрофессиональная*, и я нормально отношусь к этому определению. Замечу, что *писательская критика* как раз и отличается от профессиональной более ярким стилем, образностью, личностным отпечатком, оперативностью, доходчивым изложением. Такая критика мне близка. Как то же занятие литературой, то есть продолжение его.

Однако не соглашусь, когда меня называют критиком. Наверное, такое случается сейчас, когда на безрыбье рак — рыба. Но не от того ли перевелись у нас независимые, принципиальные критики, что сегодня в нашей современной литературе воцарились посредственность и тихое безвременье!

Очень это ответственная профессия — литературный критик, и работают в ней специалисты, профессионалы. В их буднях больше рутинных обязанностей, нежели блеска софитов.

Но и мне ничто не мешает выступать на этом словесном поле брани со своими мыслями, предложениями, сомнениями, возможно, спорными, но искрен-

ними, не позаимствованными у других. За свои слова привыкла держать ответ, и другим это советую. Да, мои статьи отражают, в первую очередь, мое субъективное мнение (а какое еще?), как писателя или, если хотите, как взыскательного читателя.

А кому, как не читателю, адресуется труд критика, который обязан ориентировать его в литературном мире? Но можно ли сегодня быть честным и принципиальным литературным критиком? Однозначно ответить не могу, сомнений много.

Еще раз надоедливо замечу, что так как наша отечественная критика почти бездыханна или делает вид, что жива, слежу за российской. В российском современном литпроцессе существует не одно направление в критике, читаю работы представителей разных направлений. Полярность мнений и взглядов на современный литературный процесс подтверждает многоплановость и сложность российского литландшафта. Стараюсь не пропускать статьи талантливых молодых критиков С. Белякова, К. Кокшеновой, а также патриархов Л. Аннинского, С. Куняева, С. Чупринина, В. Бондарева, Н. Ивановой.

А что же у нас, почему такая благодатная тишина, нарушаемая радостными славословиями о новых книгах самых-самых-самых? Не всякая новая книга сопровождается хвалебным хором или панегириком, а только определенных авторов. Каких там только не встретишь восторженных прилагательных: талантливый, известный, широко известный, знаменитый, замечательный, блистательный, «блещет яркими метафорами и неожиданными сравнениями»!..

Сегодня читателю надо быть очень осторожным в выборе книг, чтобы не попасться на такие щедрые и цветистые завлекаловки.

И. Бродский как-то раздраженно заметил: «*Прилагательными обычно прикрывают слабость. Вместо употребления любого из них достаточно сказать, что Ахмадулина куда более сильный поэт, нежели двое ее знаменитых соотечественников — Евтушенко и Вознесенский*».

Кто-то скажет — грубо, резко, но честно. Честно по отношению к кому? Наверное, прежде всего, к самому себе.

А еще о дружбе. Боюсь, в литературе, по большому счету, дружить нельзя, или это будет называться как-то по-другому. Коррупция дружбы, что ли. Подружатся писатель с критиком домами, чай-кофе-потанцуем, и пропала искренность, строгость, принципиальность. Ну как сказать другу, что его очередной роман средненький, читаться широкой аудиторией вряд ли будет, но в библиотеки попадет.

Сегодня нередко можно услышать, что у нас создается ***институт критики***. Звучит, конечно, интригующе, красиво, но кроме декларативности, боюсь, за этой фразой ничего нет. В настоящей критике, а это тяжелый труд, духовно затратный, работают живые люди и им надо помогать не на словах, а на деле. Но что-то никто не спешит во всех отечественных литературных изданиях давать «зеленый» свет острой, талантливой, неординарной критике, а наоборот, ведут себя, как известные страусы. Но сколько можно прятать свои пугливые головы в песок, не замечая быстро меняющегося мира, с его проблемами и печалями?!

Может, не институт критики сейчас необходим литературе, а живая «школа критики», соседствующая рядом с ее «детскими яслями»? На тех же газетных и журнальных литературных площадках.

В книге воспоминаний В. Гниломедова «Семь лет в ЦК (роман-дневник)», напечатанной в семи номерах журнала «Полымя» за 2011г., действия происходят более сорока лет назад. С тех пор много воды утекло, многое поменялось, но неизменными остались проблемы литературы. Автор пишет о том, как много внимания государство уделяло тогда гуманизации общества, книге, труду писателя в том числе, почитайте.

Та исчезнувшая страна, что от океана до океана, давала большие возможности творческим людям, писатели и поэты от Прибалтики до Сибири, Закавказья

и Дальнего Востока объездили стройки, поля, шахты, виноградники. Дружили писательские союзы, встречались белорусы и грузины, литовцы и поляки, москвичи и киевляне, пили и чай, и молдавское вино, и водку. На творческих семинарах спорили о настояшем и будущем поэзии, о проблемах прозы, о поисках современного героя, читали свои произведения, получали высокие государственные награды и премии, встречались на съездах и в редакциях московских журналов. Хотя и трудностей, конечно, тоже было немало.

Сегодня нам не помешало бы взять из недавнего прошлого все самое полезное. Современным писателям не так много и надо, но для творческого роста и расширения кругозора нам всем не хватает тематических диспутов, дискуссий, творческих семинаров, и не только молодым, но всем активным участникам литературного процесса.

Мне, как и любому человеку, свойственно сомневаться, ошибаться, меняться. Как человек творческий (читай — легкоранимый, любознательный, открытый, доверчивый и даже незащищенный), нахожусь в поиске новых тем, новых героев, задаю себе вопросы, ищу на них ответы в том числе и в среде единомышленников.

Но в этом одиноком деле, уж извините, я — сама по себе, и никто никогда не заставит меня говорить с чужого голоса, так как «*не служила, не привлекалась, не проходила*» ни по одному литературному ведомству, но верна одной-единственной системе ценностей — Литературе.

Ирина ШАТЫРЕНОК



С точки зрения рецензента

Обжигающая память

О Великой Отечественной войне написано много. Вместе с тем, можно констатировать, что об этой самой страшной войне в истории человечества написано и мало. Мало, ибо тема эта необозримая. Она в чем-то сродни мировому океану: чем глубже в пучину его погружаешься, тем больше взору открывается неизведанного, а то, что знал до этого, предстает нередко в неожиданном ракурсе. Поэтому события Великой Отечественной войны придется еще осмысливать и осмысливать.

Правда, это вовсе не значит, что созданное не одним поколением писателей, следует охаивать, выделяя при этом только несколько литераторов, которые, мол, одни придерживались истины. Как и нельзя ставить под сомнение едва ли не весь подвиг народный. А это, к сожалению, в последнее время различного рода низвергателями делается не без успеха. Хотя очевидно, что и ныне живущим литераторам, да и тем, кто придет на смену им, писать надо так, чтобы все ближе подступать к правде. Ближе, поскольку всю, как известно, правду никто и никогда не постигнет. Опять-таки как мировой океан не откроет полностью все свои тайны.

Существенен и такой аспект. Безусловно, говоря о событиях Великой Отечественной войны, нельзя не рассматривать их в контексте всей Второй мировой войны. Хотя, если хорошо разобраться, подходить ко всему в таком ракурсе — это, в большой степени, удел историков, которые исследуют эти проблемы. У писателей же, несомненно, несколько иная задача: определенные события, явления рассматривать через судьбы людей, даже более правильным будет сказать — пропускать их через эти судьбы, показывая, что эта война для советского народа и в самом деле была всенародной, являлась именно Великой Отечественной, поскольку от исхода ее зависела судьба всего Отечества. Поэтому ни в коем случае нельзя обелять тех, кто стал на путь предательства, служения захватчикам, преподнося их едва ли не радетелями Беларуси, свободной от коммунистов. Если же отрицать термин Великая Отечественная война, появляется как бы лазейка в чем-то оправдать предателей. Утверждая, что они в военном противостоянии занимали такую позицию, какую считали правильной. Хотя это далеко не так...

Высказанные мысли, конечно, не новы, но после прочтения романа Николая Чергинца «Операция «Кровь», вышедшего в издательстве «Мастацкая літаратура», нельзя над этим не задуматься еще раз. Особенно отрадно то, что благодаря этому произведению появилась хорошая возможность по-новому, в более широком аспекте постигнуть те страницы всенародной борьбы с фашизмом, к которым до появления романа «Операция «Кровь» белорусская литература почти не обращалась, а если и делала это, то не так обстоятельно, как того хотелось бы. Прежде всего, это касается участия в борьбе с фашизмом евреев, а также зверств гитлеровцев по отношению к детям, которых гитлеровские захватчики использовали в качестве доноров крови для немецких солдат и офицеров. Среди таких жертв, конечно, были и еврейские мальчишки и девчонки.

Однако, если смотреть в целом, то новый роман Н. Чергинца, конечно же, — о Великой Отечественной

войне как о наиболее яркой странице в истории Советского Союза. Писатель, завоевавший себе признание многими произведениями, правдиво рассказывает о народном мужестве и народной трагедии. В романе созданы яркие, запоминающиеся образы тех, кто с оружием в руках сражался за освобождение родной земли от немецко-фашистских захватчиков. Вместе с тем, очень правдиво показаны и те, кто оказался по другую сторону баррикад, в трудное время думал только о себе, о собственном спасении, ни во что не ставя жизнь других людей. Благодаря высокому писательскому мастерству Н. Чергинца, и первые, и вторые описаны всесторонне, с глубоким постижением их характеров, с умением детально показать, как и почему тот или иной человек вел себя именно так в определенных обстоятельствах, совершая такой, а не другой поступок.

Начало романа написано лаконично, в рамках реалистического письма. Даже в какой-то степени присутствует как бы телеграфный стиль повествования, но налицо та информация, которая позволяет увидеть, кто есть кто: «Розе было всего пять, а ее брату и сестре гораздо больше, когда началась война. Две еврейские семьи жили в небольшом кирпичном доме по улице Сторожевской. В семье Левиных, кроме Розы, было еще двое детей: девятилетний Исаак и двенадцатилетняя Сара. Родители старались воспитывать детей так, чтобы они были дружными и трудолюбивыми. Отец Михаил Исаакович работал мастером по ремонту обуви, а мама Эмма Самуиловна — аптекарем. Жили не богато и не худо. В доме было что поесть и что надеть». Так же лаконично говорится и о соседях Левиных — Рабиновичах. А в соседнем доме жили Статкевичи, у которых «было шестеро детей».

Три обычные минские семьи. Они во многом похожи друг на друга, но в чем-то, конечно, и разные, со своими характерами, судьбами. Но, если уж быть точным, то разные судьбы у них были до войны. Теперь же судьбы этих семей, как и сотен других, по сути, очень похожи. Все они оказались в водовороте таких событий, в которых спастись можно только чудом.

Действие в романе стремительно набирает обороты. И уже не только в оккупированном Минске происходит оно, но и переносится в Берлин, в Москву... Тем самым начинается панорамное изображение и восприятие войны через людские судьбы. Однако есть в произведении два места, на которых все пристальнее сосредотачивается внимание читателя, ибо об этом обстоятельно рассказывает Н. Чергинец: Минское гетто и интернат для детей, находящийся в деревне Семково под Минском.

Если о том, что происходило в гетто, можно прочитать и у других авторов, то о злодеяниях фашистов, превративших детей в доноров крови для немецких солдат и офицеров, до Н. Чергинца так подробно никто не рассказывал. Особенно, если иметь в виду то, что происходило в деревне Семково под Минском. Да и о Минском гетто до романа «Операция «Кровь» были в основном только свидетельства тех, кто пережил этот ужас, а также документальные публикации, основанные как на тех же воспоминаниях, так и на архивных материалах.

Не отрицая важности всех этих публикаций, нельзя не отметить, что до Н. Чергинца никому не удавалось так правдиво воссоздать ад, устроенный для тех, кого гитлеровцы считали людьми второго сорта, поэтому в их планах и было полное уничтожение евреев. Как и цыган. Самое страшное в том, что среди палачей оказались и те, кто не щадил своих соплеменников.

Несомненная удача Н. Чергинца — образ некого «Абрама Липковича с улицы Беломорской», который быстро сориентировался и стал фашистским прислужником и, не задумываясь, уничтожает евреев. Что ж, как говорится, в семье не без урода. У этого Липковича своя жизненная позиция, которую он и не прячет. Своему бывшему знакомому Левину, оказавшемуся в гетто, он с радостью признается, почему гитлеровцы выделили его среди других: «Из местных евреев только мне, потому что я смог возвыситься над вами и над собой, мне доверили командовать одним из отрядов. Мы охраняем улицы, входы и выходы из гетто. Занимаемся изъятием вещей, организовы-

ваем облавы, мы — активные и верные помощники немцев и литовцев». Под литовцами он имеет в виду литовских и латышских полицейских, которые были особо жестоки в обращении с местным населением, не жалели ни стариков, ни детей.

Не понимает Липкович, да и понимать не хочет, что он стал слепым орудием в руках захватчиков. Новым хозяевам он-то нужен, да и то до поры до времени. Семью же его вовсе в расчет не принимают. Когда поступил донос, не удосужились разобраться, что это семья их прислужника, поэтому и пустили ее в расход. По-человечески Липковича, конечно, можно понять, но... Сущность его осталась такой же, какой была и до этого. Слезы по близким у него высохли быстро, очень быстро. Липкович, как ни в чем бывало, с восхищением признается: «...я только что сегодня освободился от работы. Посмотрел, как печи в Тростенце работают... Люди горят, как хорошие сухие дрова». Комментарии, как говорится, лишние. Ничто не может остановить его, даже гибель семьи.

Под стать Липковичу и директор интерната для детей в Семково Войтович. Даже такой короткой характеристики, приведенной в романе, достаточно для того, чтобы понять, что он, с позволения сказать, за человек: «Жена и шестилетняя дочь еще в сороковом году уехали от него. Это не человек, он — скотина, изверг! Хватает более-менее крепеньких девочек, нередко в шесть-семь лет, а здесь дети в возрасте до двенадцати лет, насилует их. Многие девочки умирали под этой сволочью». И, конечно же, ничего святого нет за душой у майора ССР Вильгельма Мойрина, который, кстати, был в реальности. На его совести не одна тысяча невинно убиенных, среди которых немало и детей, умерших от истощения, когда у них забирали кровь.

Роман не случайно назван именно так: «Операция «Кровь». Хотя это и многоплановое художественное произведение, но все, о чем рассказывается в нем, в той или иной степени имеет отношение к операции по освобождению детей, у которых фашистские нелюди забирали кровь. Так активизация партизанского движения, а об этом в произведении также говорится подробно, способствует тому, что растет мощь отрядов народных мстителей, на которых и будет возложена основная задача по освобождению мальчиков и девочек, которые обречены гитлеровцами на гибель. Переводчица Ирена Кораблева, установившая связь с партизанами, передает им секретные документы. Особая роль отведена в романе советской разведчице, выступающей под именем Анны Фишер, законной наследницы имения в Семкове.

Очень интересным получился и образ Леонида Цветкова, который, так уж получилось, тоже пошел на службу к фашистам. Хотя его в какой-то степени и понять можно: «Был выбор отправиться в Германию, где батрачить, или в полицию. А у меня же мать болела, отец умер в сороковом. Кроме меня в семье еще трое, я старший». Понять то можно, но оправдать?! Благо, он вовремя остановился. Произошло это благодаря его хорошей знакомой: «Неужели, если бы не Женя, я тоже стал бы убивать свой народ, своих друзей? Даже не жалел бы своих родных?! Господи, что же это я?! По какому пути пошел по жизни! — Чем больше парень размышлял, тем больше склонялся к мысли: надо взять винтовку, гранаты и идти убивать врагов. Первого — Липковича, а потом всех подряд — начальников и немецких, и румынских, и латышских, и литовских. Мстить, мстить и мстить, пока самого не убьют. Умирать буду с чистой совестью...»

Слова у него не разошлись с делом. Он беспощадно мстил тем, кто проливал невинную людскую кровь. Ко всему, в романе намечается дальнейшее развитие этого образа. Кто знает, возможно, Н. Чергинец со временем и вернется еще к Цветкову. Во всяком случае, рассказать о нем будет что. Отступая, гитлеровцы завербовали Леонида и забрали с собой. Этим он поделился с теми, с кем давно установил тесную связь. Но новый роман может появиться, а может и нет, ибо только писатель знает об этом.

Теперь же есть замечательное произведение, в котором сказано новое слово о Великой Отечественной войне.

То, что поведал Н. Чергинец, обжигает сердце своей бескомпромиссной правдой, которая до того страшна, что иногда невольно ловишь себя на мысли: а может быть, было бы лучше, если бы всего этого не знал. Но только так подумаешь, как сразу же становится не по себе. Ибо так легко уподобиться страусу, готовому спрятать голову в песок, чтобы только ничего не видеть страшного и опасного.

Правда, воссозданная на страницах романа «Операция «Кровь», конечно, обжигает, но боль эта, несмотря ни на что, необходима. Для того она нужна, чтобы понять, а каково было им, жертвам фашизма, какие чудовищные муки пережили они, ни в чем не повинные, а иногда и заблудшие, перед страхом смерти готовые пойти на все, только бы самим выжить. Выжить любой ценой. Даже ценой жизни таких же несчастных.

Старшее поколение хорошо помнит фильм «Обыкновенный фашизм». Звериное лицо фашизма, которое воплощал собой «либерал» гауляйтер Белоруссии Вильгельм Кубе. Тот самый, которого сегодня кое-кто подносит едва ли не благодетелем белорусского народа. Вглядимся же в истинное лицо этого «человеколюбца». На одном из своих совещаний он предложил такое решение еврейского вопроса:

«Господа, у нас есть еще возможность улучшить результаты уничтожения этих нелюдей. Надо вселить в головы прибывшим из Германии евреям, что у них есть хороший шанс после нашей победы вернуться на родину. Но чтобы это заслужить, им следует присоединиться к уничтожению белорусских и привезенных из других стран евреев. Например, в домах тех, кто направляется на работу, остаются старики, дети. У немецких евреев есть шанс обнаружить ценности и оплатить оккупационным властям контрибуцию. Не стесняйтесь, Готтенбах (начальник Минского гетте. — А. М.), создавать внутренние отряды полиции из числа баварских, гамбургских, бременских отрядов. Пусть думают, что они сражаются за свою жизнь. Поверьте, они постараются».

И старались, не останавливаясь и перед убийством своих соплеменников. Обещали, что за это они смогут уехать домой, а потом «посадили их всех в три эшелона, вывезли в сторону Барановичей, высадили на трех полустанках и — в лес. А там уже вырытые траншеи и пулеметы с автоматами».

Оригинальное завершение романа. Имею в виду не столько главу «От автора», в которой приводятся документальные свидетельства о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории Беларуси во время войны, в частности, в детских концентрационных лагерях для доноров (а их всего было семь), сколько последний абзац ее: «Иногда, когда бываешь в Хатыни, можно наблюдать редкую картину: от группы туристов из Германии нет-нет да и отделится кто-либо из мужчин. Он становится на колени и кается за свои грехи. Кто знает, может, в его жилах течет кровь наших детей. Помнят ли это немцы? Мы-то помним...»

Мы, конечно, умеем прощать, но мы не умеем забывать военные преступления, не подлегающие амнистии. Потому и не умеем, что не имеем на то права. Забывать это нам не позволяет наша совесть. Да и само будущее, перед которым мы, живущие, все в ответе. Этот же ответ держать поручили нам и те, кого фашистские изверги лишили жизни в самом начале ее. Поручил его и шестнадцатилетний Абрам Рабинович:

«На шею Абраму повесили петлю. Он вдруг пошевелился, огромным усилием воли повернулся и попытался что-то сказать. Если бы Женя или кто-либо из его друзей были рядом, они наверняка смогли бы услышать:

— Прощайте, дорогие. Я отомстил. Мы победим!

Машина тронулась, веревка натянулась, и вскоре под крики ужаса и стона людей Абрам Рабинович висел на виселице...»

Я эти прощальные слова не только помню, но и слышу, несмотря на то, что столько десятилетий прошло, как они прозвучали. И чем больше людей будут помнить их, тем лучше. Однако хорошо было бы, чтобы помнили их не только на белорусской земле, но и во всех странах. И, в первую очередь, в Германии.

Алесь МАРТИНОВИЧ

С точки зрения рецензента

Портрет белорусской столицы

При всем многообразии историко-краеведческой литературы, изданной в Беларуси за последние два-три десятилетия, книг о Минске вышло не так и много. Но не только это обстоятельство, на мой субъективный взгляд, должно привлечь внимание к сборнику очерков, эссе, статей журналиста Виктора Корбута «Минск. Лучший вид на этот город» (*Корбут, В. А. Минск. Лучший вид на этот город / Виктор Корбут. — Минск. Издательский дом «Звязда», 2013. — 264 с.).* Автор за долгие годы работы в самой тиражной газете страны — «СБ. Беларусь сегодня» — сумел провести и представить на суд читателей обстоятельные исследования, позволяющие заглянуть в разные времена в жизни Минска. Даже — в XI век, в котором впервые упоминается город на Немиге (об этом — в очерке «С чего начинается город»). Наверное, мало кто из нынешних минчан знает имя члена Чешской и Белорусской академий наук Антона Ясинского, который умер в 1933 году. Именно к его статье апеллирует Виктор Корбут, заглядывая в самые древние страницы истории Минска: «После кончины профессора в его архиве обнаружилась статья «Менск. Няміга. Дудуткі». В ней ученый пытался выяснить, что стоит за скупыми строками летописи, повествующей о походе коалиции русских князей на полоцкого властителя Всеслава, в результате чего был захвачен град Менск, его мужское население уничтожено, а женщины и дети взяты «на щиты». После содеянного разорители отправились «к Немизе», где 3 марта 1067 года схватились с полоцкими воинами. От этой даты мы традиционно отсчитываем возраст нашей столицы». Виктор Корбут, поставив перед собой задачу дать читателю информацию о юных годах Минска — «града Менеска», обращается к гипотезам и других историков, в частности, приводит слова археолога Эдуарда Загорульского, написавшего в 1967 году: «Ни одно из положений Ясинского, Лявданского и Ковалени не было доказано». Напоминает журналист и об археологе Василии Тарасенко, организовавшем в 1945 году первые исследования Замчища — места между Свислочью и Белорусским центром моды. И вот что еще заслуживает особого внимания в очерке, подталкивает ко многим размышлениям на тему происхождения Минска: «...В древнерусских летописях недвусмысленно говорится, что после захвата Минска княжеская коалиция двинулась «к Немизе». Загорульский обратил внимание, что предлог «к» употребляется, когда речь идет о городе, а если имеется в виду река, то в древних текстах отдается предпочтение предлогу «на». То есть по соседству с Минском должен был существовать город Немиза, или Немига». И далее: «Немиза упоминается еще в конце XIV века — правда, это вторая и последняя ее фиксация в истории — в «Списке русских городов дальних и ближних». В перечне городов, принадлежавших в то время Литве, Немиза стоит между Дрютьском (Друцком) и Ршой (Оршей). Менеск там также учтен, но отдельной строкой. Если верить этому свидетельству, спустя три столетия еще стояли стены легендарного города Немиза. Но где, даже академик Михаил Тихомиров, исследовавший «Список...», не смог выяснить».

...Перелистывая страницу за страницей книги Виктора Корбута, мы

становимся невольными свидетелями или даже участниками событий давно минувших веков. Читая очерк «Визиты “из прошлого”», вместе с монахами в темных рясах выходим из костела Святого Иосифа, обходим обитель, исчезаем в кельях. Для тех, кто плохо ориентируется в городской исторической топонимике, подсказываем адрес: бывшая Великая Бернардинская улица — нынешняя улица Кирилла и Мефодия, дома 6, 8, где сейчас находятся отель и туристический комплекс. А чем не увлекательное путешествие в старый Минск — рассказ об одном из самых старых зданий Минска («Перстень с черным вороном»)? Гуляя по городу и всматриваясь в фасады разных домов, мы обычно не задумываемся о том, благодаря чьей творческой фантазии возникли те или другие строения, благодаря чьим интеллектуальным поискам родились те или другие архитектурные решения. Виктор Корбут знакомит нас с «отцами города» — довоенным главным архитектором Минска Герасимом Якушко, а также со скульпторами и архитекторами Андреем Бембелем, Иосифом Лангбардом, Георгием Заборским, Леонидом Левиным. Судьбы этих легендарных людей — судьба самого Минска. Увлекательно, используя богатейший арсенал деталей, автор книги рассказывает о творческих поисках гениальных строителей, созидателей белорусской столицы. Следует отметить, что и очерк «Ты узнаешь их по фасадам», и большинство других материалов, составивших книгу, выстроены блестяще композиционно. Виктор Корбут обладает настоящим даром рассказчика, умеет отобрать из разнообразного фактического материала главное, умеет подчеркнуть ценность того или другого факта.

Некоторые газетные публикации Виктор Корбут и объединил в циклы. Как, например, в этот — «Адреса очень важных персон». Журналист посвятил в данном случае свой поиск выяснению следующего: кто, в какие годы, с какой целью побывал в нашем столичном, а ранее губернском городе. Существует предположение, что именно в Минске золоченый пояс XV века (ныне хранится в Национальном историческом музее) мог подарить великому князю литовскому Витовту основатель Крымского ханства Хаджи-Гирей при встрече в Минске 15 августа 1428 года. Есть и такая легенда: рассказ о том, что Елена, дочь великого князя московского Ивана III и будущая жена великого князя литовского Александра, по дороге к суженому в Вильну останавливалась в Минске и молилась в Вознесенской церкви. Было это в 1495 году. В августе 1502 года здесь побывал польский король Александр Ягеллон. Из Минска он следил за событиями на востоке и юге страны, где шли бои с московскими и татарскими войсками.

Виктор Корбут пишет: «Дороги многих русских, еврейских, польских, украинских писателей прошли через Минск: вероятно, между 1812 и 1815 годами — Александра Грибоедова, в 1839 и 1840-м — Николая Гоголя, в 1857-м — Льва Толстого, в 1900 и 1901-м — Леси Украинки, в 1905, 1908, и 1914-м — Шолма-Алейхема — еврейского «Марка Твена», в 1908 — Элизы Ожешко, Корнея Чуковского, в начале XX века — Игоря Северянина, Федора Сологуба, Викентия Вересаева. Кроме того, в Минске творили известные деятели культуры, местные уроженцы: художник Валентий Ванькович, музыкант Станислав Монюшко, поэт и краевед Владислав Сырокомля, писатель Винцент Дунин-Марцинкевич. С Минском связаны эпизоды жизни декабристов Кондратия Рылеева (1815), Никиты Муравьева (1821—1822), Александра Бестужева (1821—1822). Здесь отметились Феликс Дзержинский (по-видимому, впервые в 1900 году, во время проведения в Минске второго съезда партии «Социал-демократия Королевства Польского и Литвы», а затем в августе-сентябре 1920 года, о чем свидетельствует мемориальная доска на доме по улице Карла Маркса, 30), Хаим Вейцман (уроженец Пинска, в 1902 году участвовал в съезде сионистов в Минске, в 1948 году избран первым президентом Государства Израиль), гастролировали Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин... Родом из Минска отец популярного ведущего американского телеканала CNN Ларри Кинга (Зейгера). Подробные «минские биографии» всех этих замечательных людей ждут

своих исследователей...» В «Адресах...» Виктор Корбут останавливается на «минских фрагментах» в судьбах Петра I, Николая II, Иосифа Сталина, Юзефа Пилсудского, Максима Горького, Георгия Жукова, Генриха Гиммлера, Соломона Михоэлса, Эдди Рознера, Ричарда Никсона, Фиделя Кастро... Мне кажется, что из этих лаконичных, но богатых информацией зарисовок, рассказывающих о сопричастности с Минском знаменитостей, Виктор Корбут мог бы написать отдельную книгу. А может быть — и несколько небольших книг, каждая из которых в отдельности лучше бы раскрыла городскую топонимику, в связи с литературными, художественными, музыкальными или театральными адресами Минска. Нет сомнений, что многие из минчан или гостей столицы желали бы знать, что, какие события скрываются за той или другой мемориальной доской на разных домах нашего города. А ведь некоторым ярким персонажам XX или XIX столетия, соприкоснувшимся с Минском, памятные, мемориальные знаки и не посвящались вовсе. Как, например, не так и много мы знаем о пребывании в столице Беларуси Владимира Высоцкого, президента Северного Вьетнама Хо Ши Мина, последнего короля Афганистана Мухаммеда Захир-шаха, убийцы президента США Джона Фицджеральда Кеннеди Ли Харви Освальда, французского президента Жоржа Помпиду... Виктор Корбут подступил к раскрытию всех этих тем. Возможно, в следующих своих книгах он более подробно расскажет о сопричастности этих исторических персонажей с Минском, Беларусью.

Книга «Минск. Лучший вид на этот город» привлекает внимание и тем, что на ее страницах помещено множество интересных иллюстраций. Обратите внимание на следующее уточнение... В книге использованы снимки Виталия Гиля, Максима Гучека, Александра Дятлова, Виктора Драчева, Анатолия Дрибаса, Виктора Корбута, Петра Костромы, Александра Кушнера, Игоря Макаловича, Сергея Плыткевича, Юлии Поповой, Артура Прунаса, Александра Ружечка, Александра Стадуба, Александра Шаблюка, почтовые открытки конца XIX — начала XX века из коллекции Владимира Лиходедова, фотографии и документы из фондов Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, Белорусского государственного архива литературы и искусства, Белорусского государственного архива научно-технической документации, Национального архива Республики Беларусь, Национального исторического архива Беларуси, Национального исторического музея Беларуси, Федерального архива Германии (Bundesarchiv), архива редакции газеты «Советская Белоруссия», из личных архивов Сергея Басласова, Мая Данцига, Виктора Корбута, Майи Сташевской, Аллы Татьянок, Георгия Штыхова, из интернета. Уже одно это обстоятельство делает книгу первоклассным источником по истории города Минска.

Виктор Корбут создал на основе своих журналистских работ мудрый и грамотный историко-краеведческий путеводитель по Минску. Несомненно, сборник очерков, эссе «Минск. Лучший вид на этот город» займет достойное место в библиотеке изданий по минсковедению. С чем талантливого журналиста, как, впрочем, и издательство, можно только поздравить. Мы не часто называем имена тех, кто помогает автору в создании книги. На этот раз давайте изменим традиции. Над книгой в Издательском доме «Звязда» трудились редактор Владимир Бацкалевич и художник Елена Ждановская. А завершают сборник «Минск. Лучший вид на этот город» такие строки Виктора Корбута: «Я надеюсь, что и вам, уважаемый читатель, после знакомства с героями книги, событиями из далекого и недавнего прошлого Минск стал ближе и роднее. И появилось то любимое местечко, с которого открывается лучший вид на этот город». И если это случилось (поверьте и мне на слово, книга Виктора Корбута и в самом деле помогает полюбить Минск еще больше) — значит, и журналист, и издательство поработали не зря.

Кирилл ЛАДУТЬКО

С точки зрения рецензента

Города и люди

Помнится, в одном старом кинофильме звучала очень симпатичная песенка:

Города, где я бывал,
По которым тосковал...

И далее:

Снятся людям иногда
Голубые города,
У которых названия нет...

Именно эта мелодия и вспоминается, когда берешь в руки новую книгу стихов известной нашей поэтессы Любови Николаевны Турбиной. Наверное, виной тому все же название книги: «Сны-города» *(Турбина Л. Н. Сны-города. Стихотворения. — М.: ИПО «У Никитских ворот», 2012. — 178 с.)* Да и первый раздел поэтического сборника эхом повторяет основное название, лишь несколько расширяя его и добавляя новые смыслы: «Все уплывшие сны-города». Впрочем, у всех городов, воспетых Турбиной, к счастью, есть названия, и они проплывают перед внутренним зрением читателя отнюдь не в качестве безымянных скоплений домов и людей. Москва, Ленинград, Вильнюс, Минск, Баку, Рим, София, Фергана, Париж, Амстердам...

А может быть, отсылкой к той давней песне Андрея Петрова стали именно песенные ассоциации, мерцающие, словно многочисленные блестки в строках стихов. Здесь и сквозящий мотив «Эвридики» (в незабвенном исполнении Анны Герман, добавлю я уже от себя), и камни парижских бульваров, поющих простуженным голосом Пиаф, и мелодии старинных вальсов, волнами наплывающими со всех сторон во время блужданий по запутанным улочкам Старой Риги.

Яркая и пестрая картина нескончаемого путешествия поэтессы по миру, путешествия, длиной в целую жизнь. Воспоминания детства, обрывки впечатлений юности, зрелые размышления о смысле бытия. Как, например, эти строки из стихотворения «Ашхабад»:

А может, пора возвращаться туда —
К истокам, где время неспешно
Струится, как в тихом арыке вода,
Не здесь — в суете безутешной.

Но — увы-увы! — *«все уже дорога»* в города прошлого *«и все реже прохожий»* на их улицах.

Но вот от извилистых улочек прошлого, от тенистых бульваров и шумных городских площадей узенький (*«ветхий, непрочный»*) мостик воспоминаний уводит нас дальше, уже непосредственно к людям, к тем, кто населяет эти города и веси, превратившиеся за годы странствий в своеобразные стихотворные вехи. Второй раздел поэтического сборника так и называется: «Мост».

Тихая грусть, переходящая порой в откровенную меланхолию, отличает стихи этого раздела. Что и понятно.

Тысячелетнее лето почти отошло...

А, значит, настала пора собирать камни.

И дух в скитаньях изнемог...
Ждет Минотавр внутри вокзала.
Дороги смотаны в клубок —
Дай бог, еще не опоздала.

Впрочем, как тут же опровергает сама поэтесса всяческие упаднические настроения, которые могут возникнуть у читателя:

Это не усталость, это зрелость:
Отступают страсти, зависть, злость,
Прозвучало то, чего хотелось,
Более ли менее сбылось.

И, как читатель, готова подтвердить правоту последней строки. Да, сбылось! И не менее, а именно более, с учетом всех, таких непростых реалий прожитых лет. Недаром третий раздел сборника уже самим названием констатирует: «Так трудно дались эти годы». А кому легко? И когда? Наверное, только негодяям без души и сердца. Вспоминаются умные слова одного средневекового монаха-францисканца: *«И как можешь ты быть счастливым, если у тебя благородное сердце?»* В самом деле, как?

Разве что встать на точку зрения лирической героини стихотворения «Наша надежда жива»:

Нету отвергнутых или отвергших —
Наша надежда жива, если плачем...

Одну за другой медленно переворачиваю страницы книги, и в разделе с таким непоэтически-бытовым названием «На картошке» вдруг нахожу стихотворение, которое так и просится быть положенным на музыку. Хороший бы романс получился, ей же богу!

День весенний, сырой и туманный,
Цвета глаз твоих, запаха губ...
День насупленный, сумрачный, странный.
Нарастающий медленный гул.

Разве что определение «насупленный» несколько выбивается из привычной стилистики романсов прошлого.

А вот стихотворение «Красавицы послевоенных лет» лично я поместила бы в ностальгический по своему содержанию раздел «Семейный альбом»:

Красавицы послевоенных лет,
Их вуалетки, шляпки, платья...
Их притяжения секрет
Здесь попытаюсь разгадать я.

Замечательное стихотворение, и именно из семейного альбома и по щемящей грусти о былом, и по цепкому женскому взгляду, который, словно фотокамера, запечатлел облик красавиц сороковых-пятидесятых годов прошлого века. И ведь действительно были красавицами и тоже, подобно таинственной незнакомке Александра Блока, шуршали шелками и туманами, волнуя кровь вернувшихся домой фронтовиков, совсем еще молодых парней, так истосковавшихся за четыре долгих военных года по красоте, в том числе, и по женской красоте.

Точно так же легло на душу и еще одно стихотворение, уже из раздела «Конец лета», под названием «Однокурсникам». Быть может, потому, что я знакома с некоторыми из университетских друзей Любови Николаевны и точно знаю, как свято они, *«дети страшных лет военных»*, дорожат узами студенческого братства.

Вот только никак не соглашусь с пессимистическим итогом стихотворения: «Уходим медленно на дно...»

Почему именно на дно? Душа, как справедливо заметил другой поэт, она ведь стремится к небесам. Да, уходим. Таков неумолимый закон природы. Но уходим не на дно, а в вечность, даже если не стяжали особой славы при жизни. А в вечности, как известно, места хватает всем, и именитым, и безымянным.

Впрочем, пессимизм — это все же не про Турбину. Недаром в стихотворении «Всё впереди» из цикла «Город любви» она сама признается:

Все впереди — продлись, мгновенье!
Все впереди — помилуй нас!
Но удели, пусть в счет спасенья,
Хоть каплю радости — сейчас.

Да, соглашаюсь я с поэтессой, готовая подписаться под каждым ее словом. Пока ты жив, все еще возможно и все еще впереди. Так, *выше голову*, как воскликнул когда-то Юрий Тынянов, *ровней дыхание, жизнь идет, как стихи*.

Отдельное спасибо за стихотворение «Анюта» с посвящением Валерию Гаврилину. Оно было написано еще

при жизни композитора, в 1996 году (Валерий Гаврилин умер тремя годами позже), и в нем дано, пожалуй, самое точное определение великой музыки этого великого композитора:

Но в дребезжанье вливается
музыка сфер...

Что ж, лучше и не скажешь. Именно так, музыка сфер.

Разумеется, меня, как профессионального переводчика, не мог не зацепить последний раздел сборника с несколько витиеватым названием «Будущее в прошедшем». Но ниже дан английский эквивалент *'Future in the Past'*, который сразу же расставляет все по своим местам. Ибо оно, это название, не только отсылает читателя к временной форме глаголов, существующей в современном английском языке. Фишка (воспользуюсь молодежным сленгом) как раз и состоит в том, что все стихи этого раздела представлены в двух вариантах: на русском и английском языках.

Хорошая задумка! И очень перспективная. Потому что наши авторы должны, по моему разумению, более настойчиво искать пути, ведущие на мировые рынки книжной продукции, и сами активно продвигать свой, так сказать, литературный контент к читателю разных стран и культур. Воистину, спасение утопающего — дело рук самого утопающего, да простится мне некоторая некорректность подобного сравнения. А в таком непростом деле сегодня, как ни верти, без английского языка не обойтись.

Вопрос в другом. Кому доверить перевод своих произведений с максимальным выходом на успех? Ответ лежит на поверхности. Только человеку, являющемуся носителем данного языка, то есть тому, для кого английский язык — родной. Ну, а уж когда мы ведем речь о переводе поэзии, то важно, чтобы этот носитель был еще и хотя бы немножко поэтом сам. Еще лучше, если — «множко». А потому с некоторым сожалением констатирую, что качество представленных переводов — это пока лишь «фифти-фифти», как говорят сами англичане, то есть пятьдесят на пятьдесят. Перевод большинства стихотворений выполнен на уровне добротного подстрочника, но и только. Поскольку по просьбе Любови Николаевны я сделала достаточно подробный анализ всех переводов, представленных в сборнике, и она уже ознакомилась с моими выводами, то возьму на себя смелость повторить некоторые моменты, так сказать, в назидание другим авторам, вознамерившимся пойти по стопам поэтессы.

Англоязычную поэзию отличает особая мелодичность, которая достигается за счет бесконечных повторов (вспомним Эдгара По и его «Ворона»), аллитераций и ассонансов, которыми пестрят стихи Байрона, Вордсворта, Шелли, того же По, и список этот можно продолжать до бесконечности. Переводчик, к сожалению, не учел этого обстоятельства. Второе. Многие рифмы в английских стихах не столько звуковые, сколько «для глаз», что связано со своеобразием английской фонетики, когда слова пишутся и читаются по-разному. В переводах практически нет таких «зрительных» рифм, что немедленно выдает русскоязычное происхождение уже самого переводчика. Третье и главное. Несмотря на смысловое совпадение большинства тропов (в частности, литот, метафор, метонимий и прочее), их образное выражение в русском и английском языках очень часто принципиально отличается друг от друга. А потому буквальный перевод тех же метафор и эпитетов может порой дать совсем не тот эффект, на который рассчитывал автор оригинала.

Чувствую, что уже села на своего любимого конька, а потому не стану более распространяться по теме. В конце концов, все это имеет лишь косвенное отношение к стихам самой поэтессы. К тому же, Любовь Николаевна сама известный переводчик, много и плодотворно переводившая белорусских поэтов на русский язык. Она также является автором-составителем двуязычной русско-белорусской поэтической антологии под названием «Из века в век», увидевшей свет в 2003 году.

Так что, все, о чем говорилось выше, ей прекрасно известно и без меня.

Но вот забавное (и во многом, знаменательное) совпадение. В разговоре с Любовью Николаевной, я честно призналась, что из всех английских переводов ее стихов, представленных в сборнике, у меня нет замечаний лишь к одному переводу: «Закат в Сарасоте».

Ни единого упрека по поводу перевода метафор *«нависли тучи, словно шторы»*, *«солнце в море тонет»*, *«тишина души»* и прочее:

Immune to threats and arrogance,
We are watching from Fibo's balcony
In a compelling placid trance
The sun sink slowly into the sea.

— Великолепно! — воскликнула я, подытоживая разбор перевода, и услышала в ответ.

— А знаете, моему американскому другу тоже больше всего понравилось именно это стихотворение.

И не удивительно, подумала я про себя, ибо в этом переводе нет досадных огрехов буквального толкования текста, а потому американец воспринял стихотворение, написанное на русском, во всем многообразии оттенков и красок, со всеми нюансами и подтекстовыми отсылками, бережно сохраненными и в англоязычном варианте.

Что ж, претензий не бывает лишь к тем, кто не рискует взяться за новое для себя дело. А потому считаю первый опыт Турбиной по переложению собственных стихов на английский язык очень позитивным и крайне важным для всех остальных наших поэтов. Дерзайте, друзья! И, как говорится, Бог вам в помощь.

Тоненький сборник стихов. Всего лишь сто семьдесят с лишним страниц. А столько вместил в себя событий, настроений, воспоминаний, размышлений, переживаний и просто по-человечески неравнодушных откликов на жизнь, которая, к счастью, продолжается и, дай бог, продлится еще многие и многие лета. А, значит, напишутся новые стихи, и на поэтической карте памяти появятся новые «сны-города».

И последнее. В стихах Любови Николаевны очень много отсылок к античной мифологии. А одно из стихотворений, представленных в сборнике, так и называется: «Психея». А потому, наверное, совсем не лишним будет вспомнить слова Лонга, известного греческого писателя эпохи античности, которыми он предварил свое самое знаменитое про-изведение — роман «Дафнис и Хлоя».

«Болящему на исцеление, печальному на утешение, тому, кто любил, напомнит о любви, а кто не любил, того любить научит».

Вот она, пожалуй, самая полная, самая развернутая и точная рецензия на новую книгу стихов Любови Турбиной.

Зинаида КРАСНЕВСКАЯ



С точки зрения рецензента

Словесные акварели Наума Гальперовича

В этом году в издательстве «Мастацкая літаратура» вышла книга стихов и прозы известного белорусского писателя Наума Гальперовича «Сюжэт для вечнасці». Со многими произведениями, вошедшими в сборник, читатели уже знакомы по прежним публикациям. Сборник привлекает разнообразием тем: любовь к Отчизне, красота белорусской природы, историческое прошлое нашей страны, нравственные ценности.

Неизменной любовью Н. Гальперовича является его родной город Полоцк: «Мой пачатак і мой выток, // Дзе і шчасце маё, і гора... // Я ад дрэва твайго лісток, // Залаты мой спрадвечны горад». Этот город сроднился с ним навсегда, вошел в его плоть и кровь, стал одной из ведущих тем его творчества. Для него соединились Полоцк и Беларусь, как в стихотворении «Сафія, Полацк — родны край»: «Калі над Полацкам зіма // Засцеле снежныя абрусы, // Тады гісторыя сама // Гаворыць з краем беларускім».

Полоцк неизменно побуждает поэта возвращаться к своим истокам, обращать к нему свое перо: «Мой горад, мой анёл, старэйшы брат!.. // Калі б гады я ўсе вярнуў назад, // Я зноў бы выбраў строму над Дзвіной // І ціхі, і драўляны горад мой»; «Толькі вось цэркаўкі белы пажар. // Толькі аблокаў павольных цяжар. // Толькі прымроіцца ў прыцемку сінім // Позірк зямлячкі маёй, Еўфрасінні».

Выдающиеся люди, чья жизнь связана с Полоцкой землей, — частые герои произведений Н. Гальперовича. Так, в стихотворении «Вяртанне» поэт размышляет о другом своем знаменитом земляке — первопечатнике, просветителе-гуманисте Франциске Скорине:

Ад сівых аблокаў, рэчкі ціхай,
Гульняў і бацькоўскага цяпла
Полацкага хлопчыка Францішка
Ў свет далёкі сцежка павяла.
Места забывалася на сына
Ў безлічы падзей, турбот і спраў,
А ён раптам гонарам Айчыны,
Гонарам народа свайго стаў.
Мовы роднай чыстае дыханне,
Духу нескаронага агонь...
І так верыць хочацца ў вяртанне
Слова беларускага яго.

В созвучии с последними строками выступает тема сохранения белорусского языка в творчестве Н. Гальперовича: «Захавай маю мову, чарговы наш век, // Захавай, як лясы, сенажаці, азёры, // Як світанне ў расе, як сцяжынку ў траве, // Як у жніўнай начы адзінокія зоры»; «І знаю, толькі гэтак можна // Свой лёс з народам падзяліць, // Каб на яго спрадвечнай мове // З зямлёй і небам гаварыць».

Мы, белорусы, совсем недавно начали по-настоящему интересоваться своей историей, которой, оказывается, можем гордиться не меньше, чем любой другой народ. Изучать историю своей страны нам помогают и художественные исторические произведения, в том числе и поэтические, так как поэзия воздействует на нежные струны нашей души, пробуждает патриотические чувства: «А ў келлі сцішаны спакой. // Тут бледны твар, пергаменты і свечка, // То горад мой, то даўні продак мой, // Святло паходні над сярэднявеччам».

Связь времен, вечность всего бывшего когда-то на земле и определение своего места среди этого великого мира волнуют поэта.

Неразрывность с Родиной показана в следующих строках: «Я не думаў ніколі, што гэтак мне будзе балець // Кожны боль твой, Радзіма, і кожнае ціхае слова, // Што шчымліва і горда ў душы маёй будзе звінець // Памяць мудрых муроў і дыханне стагоддзяў суровых»; «Далягляд адзінокі, сцюдзёны і сіні. // Ды, напэўна, не будзе дарогі назад: // Лепей дома прапасці, чым жыць на чужыне, // Чым згубіць назаўжды гэту восень і сад».

Н. Гальперович — щедрый художник, в его произведениях много эпитетов, метафор, сравнений: «Ты пачуеш мяне? // Гэта я — лёгкі воблак і водбліск на шэрай сцяне, // Гэта сэрца маё, як вавёрка, // што скача на цёплай сасне, // Бо яму не скарыцца ніколі // маркоце, бядзе, сівізне».

Особенно щедр поэт на красочные эпитеты. Природа в его стихах живая, яркая, живописная: «Жоўты колер. Карціна. Гаген. // Прадчуванне зімы і самоты. // І чакае душа перамен, // Пра якія я мроіў употай»; «Графічны ліст заснежаных палёў... // Дзе з белізной мяжуюць дрэваў цені, // Дзе ціхіх рэчак хітрыя сплячэнні, // Дзе б'юць крыніцы праз таўшчэзны лёд. // Які цябе мастак намаляваў, // Мой белы дзень, мой серабрысты ранак, // І паясочак ад дзіцячых санак, // Што белую гару аперазаў?..»

В стихах Н. Гальперовича много откровений, рассуждений о себе, о том, чем он живет, что ему дорого в этом мире:

Дзе бацькі, і дзяды, і прадзеды,
Дзе жаробка скубе траву,
Не падкінуты і не скрадзены
Я ў Айчыне сваёй жыву.
Не падкінуты і не скрадзены,
Не старонні і не чужы,
Там, дзе небам было мне дадзена
Гэты шлях мой зямны пражыць.

Стихи льются легко и непринужденно, как и устная речь поэта во время его частых выступлений на белорусском радио или на творческих встречах с читателями: «Я — вечар. Халодны вечар, // Дзе цэркаўкі белы лік // Самотна глядзіць у вечнасць // Праз кроны яблынь і ліп. // Я ціха плыву над полем, // Над лесам, дзе спее ноч, // І мне не забыць ніколі // Таемную споведзь сноў. // Кароткі, як захад сонца, // Тужлівы, як птушкі крык. // І з гэтым апошнім промнем // Зірну на сваю зямлю, // Якую спрадвеку помню, // Якую да слёз люблю».

Также в сборник вошли и небольшие прозаические произведения, написанные живым, сочным языком. Проза Наума Гальперовича автобиографична, читаешь — словно смотришь фильм, посвященный автору. Его произведения похожи на книги из серии «ЖЗЛ», только в авторском исполнении. Проза Наума Гальперовича позитивна: писатель умеет видеть в людях хорошее. А может, просто подобное притягивает подобное: позитивный Н. Гальперович притягивает добрых и щедрых людей, о которых приятно писать?

Надежда СЕНАТОРОВА



С точки зрения рецензента

Новая ностальгия: постоянство времени при разнообразии вещей и перемене пространства

Первое, что захотелось сделать после прочтения книги (Таня Скарынкина «Книга для чтения вне помещений и в помещениях», Мінск: Кнігазбор, 2013), — написать автору и попросить подсказать даты стихотворений. Как же так? Их нет! А ведь это, кажется, так важно (для литературоведа особенно, разумеется): что было написано в Беларуси, что — уже на Фару, в Испании. Сколько лет разделяют «Мороженщицу на улице Советской» и, скажем, «Олки-олки», предпоследнее стихотворение книги? Однако стоит только прочесть книгу чуть более внимательно и можно убедиться, что датировка стихотворений здесь совершенно не нужна. Не важно, когда в поэтические строки сложились воспоминания о «мороженщице-тетке», развивающей со своей тележкой невероятную скорость на улице Советской в очень советском детстве 1977 года, и страшных «олках», преследующих в темноте сестер, задержавшихся на «деревенских танцах», вероятно, где-то в 1980-х. Вся книга читается как воспоминание — о давнем или недавнем, житейском или отстраненном до полного разрыва связи с реальностью. Это тонкий ностальгический дискурс, не сводимый к конкретным «родина Беларусь» или «детство-отрочество-юность — золотая пора» и вместе с тем прочно привязанный к осязаемому и зримому восприятию места и времени. Ностальгическим является сам модус поэтического, когда и Толстой (один из «лучших мертвых друзей», по признанию автора), Достоевский, Пушкин, Шекспир, входя в очень житейский ряд и не возвышаясь над ним, становятся отправными «точками» для размышлений о постоянно прошедшем времени и ἄλγος — «альгос», боли, обязательной составляющей ностальгии:

Дальний уголок чужого сада (или спальни)
я чуть с ума не сошла
когда повстречала Льва Толстого

(«Бывает и такое, что приснится Лев Толстой, ответит на вопросы не говоря ни слова»).

Разве Пушкину хотелось пистолетный поцелуй?

1. (а помнишь ли, читали мы
любовные записки
«мои жонки литовски
желтоглазы грудасты»)

в мягкий тюк стихотворений
он укладывал себя...

(«Любовные записки Пушкина»)

В первом случае — «воспоминание» о встрече со Львом Толстым, совершенно невозможное без стертых оборотов наподобие «встреча с творчеством», происходит как возможно-невозможное — в воспоминании? во сне? Но и во втором — «а помнишь ли, читали мы...» — воспоминание о том, что, вероятно, было, овеяно грустью и сопровождено приближающей, «одомашнивающей» гений Пушкина деталью: «...в мягкий тюк стихотворений // он укладывал себя...»

В поэзии Тани Скарынкиной ἄλγος не имеет характера тяжело переживаемой, остро болезненной утраты. Это разные степени горечи, сглаживаемые теплым чувством. Этому способствуют

разного рода неправильности, шероховатости языка и стиха, которые отстраняют и приближают автора от написанного и то же проделывают с читателем. А. К. Жолковский «дефекты письма» В. Хлебникова, его «сдвиги», «странные комбинации «плохого» письма с “хорошим”»[1] связал с проблемой авторского «я», с персонажным письмом. В нынешнюю эпоху, когда проблема авторского «я» заявила о себе так же громко, как хлебниковский «пишущий персонаж», когда само присутствие человеческого в поэзии стало редкостью, поскольку автору все труднее найти в себе нечто, не исчерпанное языком и культурой, такой новый синтез письма со «сдвигом» и человечных интонаций, которые предлагает осмыслить поэзия Тани Скарынкиной, чрезвычайно интересен.

Неправильности, «сдвиги» в ее стихах всегда на грани просторечия и литературности. Но мне кажется, что именно они создают особый язык разговора о *всегда прошедшем* времени:

разместился в посторонних
на тряпичные куски
с городской библиотекаршей
прощался в две щеки...

(«Любовные записки Пушкина»)

мимоза обезумела
ломается в цене...
в безлюдной преполненной исусами
и богоматками часовне...

(«Звезда»).

Здесь «разместился... на куски» в соседстве с точной запоминающейся метафорической формулой «прощался в две щеки», высказывается развеселым хореем и вполне переписывается в 4-строчный частушечный куплет, да еще и трогательно вкладывает в хорей разговорную «библиотекаршу». Показательный, на мой взгляд, пример синтеза «сдвига», опрощения и литературности.

Второй пример, который я выбрала, сочетает грамматическую неправильность («мимоза... ломается в цене»), звуковые повторы («обезумела... в безлюдной»), оксюморон («в безлюдной переполненной...») и просторечные «исусы» и «богоматки», причем первое словоупотребление обязывает вспомнить многие смыслы, которым его наделили в русской поэтической традиции («Впереди Исус Христос»).

Баланс опрощения и литературности ощутим на пространстве книги в целом. (Может быть, целостность и двойственность заложена в названии: «Книга для чтения вне помещений и в помещениях»?) Поскольку есть стихотворения с преобладанием одного или другого. Так, более «литературным» выглядит стихотворение «Сквозь пузырь быка», соединившее 5-стопный белый ямб и свободный стих. Ямб постепенно отступает, ломаясь, нарушаясь и переходя в верлибр:

теперь при встрече с Гамлетом беседу
вести я буду сквозь пузырь быка
с отделами для мертвых ящериц
шуршащих как живые соплеменницы
при перемене положенья собеседника

сквозь радужный пузырь быка и облако
меняется и перекраивает морду
из обыкновенного получается добрый лев...

Так из «обыкновенного» 5-стопного ямба получается верлибр, как в игре, когда, заменяя по одной букве в слове, из «мыши» получаешь «гору» или «слона», — полную противоположность того, с чего начинаешь. Стихотворение на этом не заканчивается, и его метроритмический рисунок совершает еще одно превращение — вновь через «шекспировский» ямб к верлибру. Объединение разных языков происходит органично и ясно: сложная, вывернутая образность дана с освобождением и ломкой размера, ясная повествовательность — ямбом. При этом «сделанность» не ощутима вовсе, это не чистая «умственная» литературность, а именно синтез.

Стихотворения книги с преобладанием просторечия («Эдик-Эдик», «Толiк», «Одеколон Дмитрий Федоро-

[1] Жолковский А. К. Графоманство как прием (Лебядкин, Хлебников, Лимонов и другие) // Блуждающие сны и другие работы. — М., 1994.— С. 55, 63.

вич» и др.) преимущественно свободные и, как видим, «именные»: это воспоминания о родных и близких, знакомых. От «массового» верлибра начала XXI в., о котором А. Цветков сказал (и мне это определение кажется достаточно точным, а главное — сразу понятно, о каком именно типе стиха идет речь): «...ты просто рассказываешь, как ты приехал к бабушке, и какая она хорошая, но при этом специальным жидким стилем, таким, что если бы им строить прозу, то проза вышла бы очень плохая»,[1] — стихотворения-воспоминания Тани Скарынкиной отличаются тем, что в них сохранена и метафоричность, и фантазия, на отсутствие чего пеняет А. Цветков, а если нет ни того, ни другого, автор не бросает свой стих на произвол судьбы, оставляя без ничего. Тогда «сдвиги» языка и грамматики компенсируют речевую простоту рассказа, и так обретается художественность. В этом смысле просто «рассказом» можно назвать стихотворение «Толік», уже в заглавии десятеричным і подсказывающее свое двуязычие. Языков там, правда, больше, чем русский и белорусский: есть еще чередования «правильного» и «неправильного» русского и белорусского языков, что и создает требуемый стихотворной речи ритм:

...рядом с Толіковою норою бил родничок
и Толік вылечил желудок
пья родничковую воду

Толік зарабатывал
   что помогал крестьянам збіраць урожай
крал временами картошку бурак
                                   и другое для пропитания
но в целом
збіраў и сдавал пустые бутылки

тетя Ядзя сказала:
— Ён знаў дзе людзі п’юць..

Откуда взялось это невозможное «пья» и почему пропущено местоимение «зарабатывал тем, что...», почему рядом стоят «збіраў и сдавал», а также ненужное здесь «в целом», — это затрудненное чтение, останавливающее на каждом «неправильном» обороте и словоупотреблении, не позволяет прочесть всю очень жизненную историю просто как «плохую прозу». Останавливает взгляд и *не всегда* правильная пунктуация (там, где она есть): точки в начале предложений, иногда две точки — в конце, как в последнем примере; двоеточия, вынесенные отдельной строкой. Все это разом создает непредсказуемый, изменяющийся контекст, не позволяющий «пробегать глазами» тексты.

Всегда прошедшее время книги, превращающее все стихотворения в воспоминания, делает значимыми детали — вехи, маленькие и большие, с которыми эти воспоминания связаны. Большинство деталей — вещи, зримые, реже — осязаемые. Они составляют очень концентрированную картину, в странной соотнесенности этих вещей напоминающую коллаж. Таня Скарынкина, безусловно, тяготеет к зримой вещности и в словесном искусстве, одевая в слова собственные фотоколлажи, которые автор публикует в живом журнале с метками «самодельное фото». В них люди, птицы, животные (мертвые и живые), предметы самого разного происхождения образуют *непредсказуемые* сочетания, создавая особый авторский стиль. Автору важно сопроводить каждое новое «самодельное фото» историей вещей или персонажей, обстоятельствами создания той или иной картины. Часто эти работы не единичны, а являются своего рода циклом, последовательностью, связанной каким-либо мотивом, и в качестве такого мотива вновь выступает вещь, предмет. Одной из последних работ является цикл, названный «Царевишны. Досуг с оленями на шапке и вазе». Текст, сопровождающий фотографии, таков: «Находки для первой царевишны Кати — все предметы на фото кроме спортивного купальнико-трико сэкондного и варежек из плащевки (оттуда же) и розочки нашейной с барахолки. Для второй царевишны

[1] Цветков А. «Ужасно сложная штука — жизнь». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.polit.ua/articles/2011/06/16/tsvetkov.html.

не находки — лосины купленные на студенческой распродаже в прошлом году (подарены модели Оксане — случайной знакомой пятницы а в субботу утром мы фотографировались) и золотые тапочки с барахолки обозначенные брэндом Debenhams (британская сеть универмагов) и бинокль (Катя принесла для фотографирования себя но он не вписался в Катин портрет — Катя ушла позабыв бинокль а может нарочно оставила поснимать). Китайский халат на алой подкладке с тремя перламутровыми пуговицами фирмы Peony (отдельно приложена фотография лейбла Peony. — *У. В.*) и медное 32-граммовое кольцо (в суперкмаркете взвешено) были найдены в день когда прислали из Минска посылку с книгами для чтения вне помещений и в помещениях. Гитара настенный коврик зеленое покрывало под царевишной Оксаной битая ваза с удовольствием выброшены. Через несколько дней гриф гитары обнаружился в 2 км от дома. Я сразу его узнала. Теряюсь в догадках какая сила а главное для чего зашвырнула его в такую даль и разломала инструмент..» (обратим внимание на две точки в конце предложения, отсутствие многих требуемых правилами знаков препинания, а также обилие разговорных окказионализмов. — *У. В.*). Подробная история вещей, важная для Т. Скарынкиной, выливается в симбиозе изобразительного и словесного искусств. Есть подписи к коллажам и «откровенно» художественного, стихотворного характера, но опять же — словно балансирующие на грани между очень разговорным желанием рассказать историю предметов и сказать это «иначе», «странно», «красиво» — литературно:

Ласточка и другие предметы открытки — находки.

Кроме Эрнесто Гевары вырванного из альбома Замечательные человеки современности.

Ласточка после съемки захоронена тихо у поля где длинноухие козы с козлятами их отцами и колокольчиками.

Навещаема еженедельно простая могилка ее.

А вдали лиловеют горы над высоким сухим тростником, —

такая подпись сопровождает коллаж с мертвой ласточкой, портретом Че Гевары, двумя пупсами в белых бабочках и пучком опавших, кажется, маков.

Разнообразие вещей характеризует и произведения, вошедшие в книгу стихов, при этом «вещный мир», созданный в ней, в отличие, скажем, от такового в реалистической прозе, не подразумевает, что за вещами стоит какой-либо смысл, кроме самого невозможного их сочетания.

Сближение поэзии и изобразительного искусства заметно во многих заглавиях, которые вполне могли быть предпосланы живописным полотнам: «Купание ребят», «Полдник в землемерной конторе», «Утро на рыночной площади», «Поездка за город», «На полу с орехами», «У шезлонга на балконе», «Гадание о незлобивой старости» — за ними должна вставать жанровая сценка вроде «Крестьянской свадьбы» Питера Брейгеля или «Охотников на привале» В. Г. Перова, но поэтический текст оказывается сложнее бытовой зарисовки. Как и заглавия, предваряющие живописные пейзажи («Поздний вечер августа», «Дача июнь», «Гуси на закате») или натюрморты («Молочные груши»), не сводимы к своим живописным составляющим. Обилие таких заглавий с закрепленным «живописным» смыслом («Черноморское полотно с официантками», «Батальное полотно», «Воображение Сальвадора Дали», «Петров-Водкин “Девочка на пляже”»), с воссозданием образов кино («Бессоница в стиле Тарантино», «Не понимаю я Антониони», «Гербера гниющая или настроение лица Греты Гарбо в «Анне Карениной» 1935 года») не столько визуализируют поэтический текст, сколько являются самоценным компонентом единого художественного целого. Таковы по функции и развернутые заглавия, по концентрации смысла часто перевешивающие стихотворный текст или сами являющиеся стихотворными: «О том как пляжная обезьянка для фотоснимков не вернулась из кадра ухватившись за синий отпечаток

Маруськиной косы осталась навсегда внутри фотографир», «Как можно заарканить лицо и завтраку наружно предаваться карманиться злословиться и бровью приподымать июльский горизонт?», «Яня я отлично помню день когда мы без улыбки сложили руки на клеенку всю в порезах ножевых». В рамках рассматриваемого ностальгического дискурса стоит отметить заглавия, содержащие знаки времени: «Пасха католическая», «Фотография с помойки», «Колыбельная для папы», «Ранняя весна любви», «Зима почти окончена», «Воспоминание о стадионе». Все они составляют единый текст, повествующий о когда-либо виденном или пережитом — и ушедшем.

Поэзия Тани Скарынкиной, неровная, нарушающая законы слова и стиха, насыщенная предметными деталями и сложными ассоциациями, в самом сталкивании артистического и обыденного создает новое поэтическое дыхание: понятное и трудное, целиком погруженное в прошлое и заставляющее качественно иначе переживать настоящий момент чтения «вне помещений и в помещениях». Единое целое книги завершает последнее стихотворение «Про себя», в котором соединены «Бывало...» («Бывало раздвинешь квартиру // до невероятных размеров...») и «ныне...» («...а ныне сидишь в уголочку // заброшенного помещенья...»), «я» и «другие», и все же ведущее к последней точке через углубление в субъективность, не так явно присутствующее в массе уже прочитанных текстов:

...затем незаметно проводишь
тугим языком вдоль десен
пожар под нёбом слюнявишь
кряхтишь и поешь про себя

Гренада
Гренада
Гренада
Гренада
моя.

Именно так: четырежды «Гренада», — наперекор М. Светлову или в продолжение его героического песенного пафоса Таня Скарынкина из белорусской Сморгони с долей иронии и оттенком ностальгии героизирует свое испанское настоящее.

Ульяна ***ВЕРИНА***



Память

Из архива Якуба Коласа

В последнее время все чаще можно наблюдать, что читательское внимание привлекает не только литературоведческий анализ произведений, но и процессы, которые происходят на так называемой писательской кухне. Читателю, и профессиональному, и обывателю, интересно, *из какого сора* растут художественные произведения. Несомненно, прежде всего это относится к творчеству классиков.

Взгляды исследователей обычно, в первую очередь, направлены на работы самого писателя. Нередко материалы, имеющие отношение к нему, однако не его авторства, отходят на второй план. В этой публикации представлена одна из таких работ. А именно — письмо, содержащее целый этнографический очерк Владимира Хлебцевича. Белорусским исследователям истории и культуры более известно имя его брата — Евгения Ивановича Хлебцевича, библиографа, литературоведа (1864—1953), который долгое время общался с Якубом Коласом. Любопытный факт: оба дебютировали на страницах газеты «Наша доля». Колас — со стихами, Е. Хлебцевич — с анонимной корреспонденцией об отказе крестьян деревни Кленики Бельского уезда Гродненской губернии выполнять повинности[1]. О брате Владимире информации сохранилось меньше. Дело в том, что он погиб в Февральскую революцию. Однако из имеющихся данных ясно, что братья были единомышленниками и соратниками по научной и общественной деятельности. Обоих интересовали различные аспекты жизни народа. В частности, Владимир подготовил этнографический очерк о жизни крестьян деревни Кленики Бельского уезда (сейчас территория Республики Польша). Работа написана на русском языке по правилам послереволюционной орфографии. Это дает основание считать, что работу, вероятнее всего, переписал Евгений Хлебцевич. Оригинал нам не известен. Евгений Иванович обозначил авторство брата. Вместе с какими документами поступил очерк к Якубу Коласу, также не установлено.

Выяснить, послужил ли публикуемый очерк Якубу Коласу для творческой работы, — такая задача нами не ставилась. Однако уже из самого этого факта понятно: подобная корреспонденция является ярким свидетельством того, что Якуб Колас не считал возможным писать произведения, основываясь только на даровании, заложенном природой. Работа писателя также должна основываться на скрупулезном изучении различных материалов.

Думаем, очерк В. Хлебцевича будет интересен и широкой публике, и специалистам, в первую очередь, этнографам, исследователям белорусско-польско-украинского пограничья. По каким-то причинам очерк обрывается без обобщающего заключения. Возможно, автор не ставил такой задачи, делясь лишь той информацией, которая могла быть интересна адресату.

Особенности орфографии и пунктуации сохранены (за исключением некоторых недоставленных в конце предложения точек, а также исправлений, зачеркиваний и т. п.).

Анатолий ТРОФИМЧИК

[1] Скалабан В. «...Самые верные ценители и критики». Неизвестные письма Якуба Коласа // Нёман, 1988, №1. С. 165.

Память

Промежуточная ступень между белоруссами и украинцами
(этнографический очерк)[1]

Село Кленики Бельского уезда Гродненской губернии представляло из себя до первой мировой войны большое селение в 1200—1500 человек жителей, православного вероисповедания крестьян. Крестьяне занимались больше сельским хозяйством, были и ремесленники, но ремесла не были сильно развиты. Система земледелия была трехпольная: озимые, яровые и пар. Кой у кого пред первой мировой войной стали появляться сельско-хозяйственные машины: в селе были две жнейки у зажиточных крестьян, которых называли «богатырями». В среднем земли крестьяне имели один или полтора участка. Участок это около десяти десятин. По национальности трудно сказать, к какому определенно элементу (национальности) они относились: по языку их можно было отнести к белоруссам, но по наружности они на белоруссов не совсем похожи. Это, может быть, были потомки ятвягов, живших не левом берегу Нарева, а может быть и других народов. Если говорить категорически, — то это были белоруссы. Можно сказать также, что это была промежуточная ступень между белоруссами и украинцами с преобладанием первого элемента. Язык по существу более белорусский, пестрел какими-то остатками церковно-славянского[2], а также небольшим влиянием польского языка.

По-белорусски: ён, бачіў, ходзиць, ён маў.

По-украински: вин, бачів, ходить, хоче, він мав.

По-кленикскому: вон, бачіў, ходити, хоче, вон меў.

По-польски: они, забачил, ходиць, хцял, он мял.

Были и также слова, сходных которым я не слышал в других языках, например «лани» — в прошлом году, «саган» — большой горшок, «сбоже» — жито, «саян» — народная юбка, «браковец» — кольцо, «сверсцядло» — зеркало, «плахта» — большой платок, «ветэ» — вы, «дивоснубы» — сваты, «скрыня» — сундучок, «голе» — ветки, «далибух» — ей-богу, «коунер» — воротник, «шпихер» — амбар, «постолы» — лапти, «обротка» — уздечка, «без» — вяз, «шумка» — особое кушание из конопляного семени и т. д.

Во многих словах слышалось твердое «Э» или более мягкое «Е» или ИЕ, например «міеу».

Одежда. Костюмы мужчин такие: шапки: 1) зимою теплые низкоцилиндрические, ватные, мелкий барашек сверху, наверху бархатное донышко, 2) фуражки из темносинего сукна с козырьками.

«Нагавицы» или брюки летом полотняные из самодельной льняной материи, пестро-вытканные, а зимою теплые шерстяные из своей шерсти, которую отдавали на выделку. В таком виде летом на полях ходили при этом босиком. В более холодное время в сапогах или лаптях. Женщины ни в сапогах, как у украинцев, ни в липовых лаптях не ходили. В более холодное время носили «чугаи» — сермяги белого цвета — пальто из шерстяного толстого сукна, в виде штатского пальто с зелеными каемками на рукавах и воротничке. Зимою одевали шубы «кожухи» поверх чугая или же без него.

«Кожухи» это шуба с воротником, сшитая из бараньих мехов, без сукна, имевшая желто-коричневый цвет. Летом в праздничные дни ходили

---

[1] Опись 91, КП-014943

[2] Примеры мы можем видеть в часто повторяющихся дательных падежах: «коневи», «паршукови», «попови», «паничови», а также в звательном (у автора ошибочно написано «в дательном» — А. Т.) падеже, «батюшко», матушко», «паничу» (сноска автора очерка В. Хлебцевича — А. Т.).

в церковь также в этих сермягах или же в шубах.

Парни же, а теперь отчасти и более пожилые, стали наряжаться в черные костюмы из более дешевой шерстяной материи, брюки в сапогах или же даже на выпуск, на голове фуражка с козырьком.

Женские костюмы: юбки («сподницы») обыкновенно льняные или шерстяные своей работы, цветные, усердно выпряденные, в теплое время одевались на рубашку. Летом в таком костюме босиком работали. Кофточки девушки делали летние из покупного ситца, — в зимнее время носили особые жакетки «ватовки». В качестве пальто служил «кожух». На голове носили платки купленные «хустки». Завязывая их за головою, и большие от дождя и ветра самодельные платки — «плахты».

Бабы на голову надевали иногда чепцы более красно-желтого цвета. Летние «хустки» были ярко-цветные с преобладанием красного цвета. На ногах «черевики» башмаки чаще на голую ногу. Дома же иногда носили «лапти», сшитые из толстого сукна, тоже на голые ноги. Когда шли в церковь по праздникам, то в виду большого расстояния деревень от села (4—8 верст) этот путь бабы и девушки проходили босиком, а невдалеке от церкви останавливались и одевали на босую ногу башмаки, а бабы преимущественно «лапти» на чулки. Крестик у девушек и баб висел на верху верхней одежды.

Крестьяне были разных классовых категорий, большинство бедные и неграмотные — были вполне покоряющиеся тому, что есть, были среди них более сознательные и рассуждающиеся и протестующие в разговоре, то с насмешкой, то со словами: «а знаете, что я вам скажу», были и кулаки («богатыри») и середняки. Большинство крестьян в 1905 г. находилось под влиянием рабочих г. Белостока, которых называли «забастовщиками».

Владимир ХЛЕБЦЕВИЧ

Культурный мир

«Черный квадрат» для Якуба Коласа

Философы осмысляют прошлое. Писатели пытаются зафиксировать день сегодняшний. Художники и поэты предчувствуют грядущее. Именно поэтому практически во всех цивилизованных странах есть музеи современного искусства, где при желании можно через образы постичь будущее. У истоков нашего Музея современного изобразительного искусства стоял его первый директор — народный художник Беларуси Василий Шарангович. Сегодня музей возглавляет его дочь, известный искусствовед, журналист, автор книг, многочисленных публикаций об искусстве и художниках, куратор республиканских и международных выставок Наталья ШАРАНГОВИЧ.

— Наталья Васильевна, и когда вы долгие годы были заведующей отделом изобразительного искусства в журнале «Мастацтва», возглавляли секцию критики Союза белорусских художников, и когда стали директором музея, вам приходилось много путешествовать, и наверняка вы знаете, каким должен быть современный музей?

— Интереснее говорить не об идеальном, а о популярном музее. И есть

несколько составляющих популярности. Во-первых, это здание музея. Оно должно обязательно привлекать внимание, интриговать. Чтобы человек хотел остановиться, посмотреть, что же это такое, заглянуть внутрь. По большому счету, здание музея — это тоже артефакт. Это может быть неожиданная архитектура или скульптура при входе...

— А вы не заметили, увеличилось ли количество посетителей, после демонстрации экспозиции белорусского искусства на Венецианской биеннале, которую вы курировали вместе с ректором Белорусской академии искусств Михаилом Борозной, когда у входа в ваш музей появился арт-объект итальянского скульптора Массимо Гиотти?

— Возможно. Но для музея важна не разовая, а стабильная популярность. А ее едва ли не главной составляющей является профессиональный подход к организации экспозиционного пространства, к самим арт-объектам, которые экспонируются. Зритель должен знать, что именно он увидит. Классическое искусство, озвученное классической музыкой или визуальный арт-эксперимент в сопровождении современных ритмов.

Еще одно из условий популярности лучших музеев — то, что они не просто показывают произведения искусства, а активно их пропагандируют, завлекают, интригуют зрителей. На вернисаже, во время работы выставок что-то должно происходить. Просмотр кинофильмов, театральные постановки, перформансы...

— Вы в музее с успехом используете все средства. На открытии выставки Николая Селещука показывали о нем фильм, продавали написанную вами книгу, на недавно открытой выставке, посвященной 10-летию студии «Палитра» можно было увидеть спектакли, во время фестиваля «Art intouch» интригу удерживал перформанс, автором которого был профессор Белорусской государственной академии искусств Евгений Шунейко. Во время ставшей традиционной Ночи музеев вы используете все средства воздействия...

— Это делается ради того, чтобы активизировать внимание, фантазию зрителей, позволить им более непосредственно воспринимать произведения искусства. Воспитанные интернетом молодые люди привыкли к тому, что визуальная информация находится в неосязаемом виртуальном пространстве. И непосредственные контакты, осязаемость визуальности, возникающая во время презентаций, часто становится потрясением. Именно на такой волне работают сегодня лучшие музеи мира. Меня поразила экспозиция берлинского Музея современного искусства, расположенная в здании бывшего железнодорожного вокзала. На фоне современных скульптур стояли так называемые «живые скульптуры», способные двигаться, говорить... Зрелище завораживающее. Или в Нью-Йорке. Разве не заинтригует зрителей уличный показ произведений искусства из... мусора? Лувру не обязательно заниматься пропагандой. Там есть «Джоконда» Леонардо да Винчи, и этим все сказано. В Дрезденской галерее есть Рафаэль. Но вот молодым музеям (а нашему музею всего пятнадцать), нужно постоянно меняться, интриговать... Сегодня люди привыкли к быстрой смене впечатлений. Это их стиль жизни. И музеи должны с этим считаться, не забывая о традициях, — разрушать стереотипы, заставлять зрителей сопереживать тому, что они видят.

— Новое поколение, можно сказать, завизуализировано и большую часть информации воспринимает зрительно...

— И современные музеи, например, в Берлине, весьма умело это используют. Меня поразило, как мастерски подается необходимая информация в Еврейском музее. Мы привыкли, что в музее главное — экспонаты. А там главное — визуальная подача, впечатление от визуальных инсталляций. В Еврейском музее каждый из посетителей, например, может физически почувствовать, что такое газовая камера. Ты ощущаешь воздей-

ствие буквально на все органы чувств. Свет гаснет, ты слышишь, как за тобой захлопываются двери... Или музей в здании железнодорожного вокзала в Гамбурге, где можно на ощупь почувствовать и кирпич, и железобетон. Или вот на Венецианской биеннале в качестве павильона была использована бывшая судоверфь «Арсенал». В брутальном помещении произведения звучат более оригинально, чем в обычном выставочном зале.

— У нас для выставок также используют цеха заводов и другие подобные пространства. В этом году одна из выпускниц кафедры монументально-декоративного искусства БГАИ даже дипломную работу защищала в подобном, как вы точно выразились, «брутальном» помещении. Но, насколько знаю, наш Музей современного изобразительного искусства пошел еще дальше. Вы едва ли не первыми в республике начали организовывать экспозиции произведений художников на улице, точнее, на площади Якуба Коласа... Огромной популярностью пользовались белорусско-польская выставка плаката, экспозиция произведений Марка Шагала. В этом году зрители увидели такую же «площадную» выставку Казимира Малевича, в том числе и его знаменитый «Черный квадрат»...

— Подобные выставки, которые делаются с помощью спонсоров, выполняют очень ответственную просветительскую и воспитательную функцию. Паблик-арт, искусство в публичном пространстве, призвано подготовить зрителя к восприятию даже самых острых произведений современного искусства.

Наши люди отличаются от западноевропейского зрителя. Они живут внутренним светом. Нужно, чтобы за внешними эффектами наши зрители сумели рассмотреть глубинный смысл.

— Возвращаясь к началу нашего разговора, к тому, что современный музей должен иметь оригинальное с архитектурной точки зрения помещение, мы не можем не констатировать тот факт, что ваш музей сегодня может себе позволить использовать современные формы подачи актуального искусства в традиционном с точки зрения оригинальности архитектуры здании, на более чем скромной площади.

— Мы не имеем эффектного помещения, и поэтому стараемся максимально использовать оригинальные формы подачи и осмысления материала. В наших фондах на сегодня более 5 тысяч экспонатов. Их нужно включать в культурный контекст нашего времени. Сейчас думаем, как для знакомства с ними более эффективно использовать мультимедийное пространство. Когда готовятся персональные выставки, мы заказываем и снимаем видеоинтервью с автором, которое можно увидеть на выставке. Вот не так давно было сделано такое видеоинтервью с художником Владимиром Акуловым. Кстати, выставки авангардного искусства 1980—1990-х, коллекцию которого мы собираем, будут продолжаться. У нас собрана уникальная коллекция экслибриса. Курировала этот проект наша сотрудница, белорусский график Анна Тихонова. За год у нас появились экслибрисы из 34 стран мира, это более тысячи произве-



Константин Селиханов, Андрей Щукин. «Декодировка. Архетип адекватного времени».

дений, к открытию выставки был издан каталог. При содействии спонсоров мы вполне можем проводить международные выставки и биеннале экслибрисов. Коллектив у нас в Музее молодой. Все профессионалы высокого класса, готовы использовать самые современные формы работы. Стали традиционными мастер-классы, которые проводят художники, произведения которых экспонируются на выставке. (кстати, мастер-классы проводятся не только для студентов, учащихся средних специальных учебных заведений, но и для людей с ограниченными возможностями). С большим успехом прошел фестиваль стрит-арта, граффити — это позволило расширить нашу аудиторию.



Константин Селиханов, Андрей Щукин. «Декодировка. Архетип адекватного времени».

— Ваши сотрудники точно чувствуют, что есть современное искусство. На Триеннале искусств, которая проходила в прошлом году, вы выбрали несколько наиболее оригинальных произведений молодых авторов и дали им возможность экспонировать их в Музее современного искусства. Очень искренней получилась выставка «Сумоўе драўлянай скульптуры», посвященная памяти выдающегося нашего скульптора Леонида Давиденко, где можно было увидеть не только его произведения, но и произведения его учеников. Организовали выставку молодые преподаватели Гимназии-колледжа искусств имени И. О. Ахремчика, где он долгие годы работал. Но вы организуете выставки не только в стенах Музея. Много сил отдаете пропаганде белорусского искусства за рубежом. Белорусский павильон на Венецианской биеннале, выставка Владимира Цеслера в Санкт-Петербурге, и вот теперь выставка в столице России — 5-я Московская биеннале современного искусства...

— Московская биеннале современного искусства по своему значению не уступает подобным западноевропейским экспозициям. Кураторами павильонов, которые готовили представители разных стран, являются известные искусствоведы. Главным образным акцентом белорусского специального проекта стала работа Константина Селиханова и Андрея Щукина «Декодировка. Архетип адекватного времени». Это сложный по своей структуре концептуальный арт-объект, при создании которого использованы и скульптура, и фотографии, и предметы, ставшие арт-объектами. Авторы образно переосмысливают положение человека в современном мире. Сегодня человек, который теряется в мегаполисе, на фоне мировых событий, едва ли не самая популярная тема и в литературе, и в фотографии, и в киноискусстве. Авторы «Декодировки...», показывая бесконечную очередь, которая уходит в зазеркалье (перед скульптурами стоит огромное — 4,5 м — зеркало), своеобразно препарируют проблему утраты индивидуальности. Поддерживают, усиливают воздействие композиции обычные бытовые вещи, которые существуют где-то вовне человека. Ощущение, которое оставляет эта работа, неоднозначно: или ты часть толпы, или бесконечно одинок...

— Акции, которые сегодня проводит Музей современного изобразительного искусства, как раз и помогают нашим современникам найти себя, а значит преодолеть одиноче-

ство. Ведь это так важно — встретить тех, кто видит мир так, как ощущаешь его ты. И то актуальное искусство, которое сегодня мы видим на выставках в Музее современного изобразительного искусства, через пару десятков лет может стать классикой, как стал сегодня классикой таинственный «Черный квадрат» Малевича, который благодаря музею в этом году можно было увидеть на площади Якуба Коласа. Казимир Малевич когда-то подчеркивал, что его «Черный квадрат» — это не конец, а начало новой реальности, той реальности, которую сегодня открывает для зрителей популярный среди минчан и гостей столицы Музей современного изобразительного искусства.

Галина БОГДАНОВА

События

«БрамаМар», или Как стать писателем

Этой осенью в Институте журналистики Белорусского государственного университета в третий раз стартует Республиканский студенческий литературный конкурс «БрамаМар». Студенты будут бороться за гран-при в 6 номинациях, также впервые будет объявлен «БраМАМАр-юни» для школьников. Подробнее о том, как это будет происходить, и о традициях конкурса мы расспросили его кураторов: студентку 4-го курса Марину Елистратову и кандидата филологических наук, доцента кафедры литературно-художественной критики Института журналистики БГУ Владимира КАПЦЕВА.

— Как появился «БрамаМар»?

Марина Елистратова: Организаторами конкурса стали студенческая лаборатория «Критик» и преподаватели кафедры литературно-художественной критики Института журналистики БГУ: Владимир Капцев, Маргарита Алешкевич, Оксана Безлепкина. «БрамаМар» появился в 2010 году, именно как студенческий проект. В течение двух сезонов среди его активных организаторов были студенты разных курсов: Алексей Александров, Надежда Вальковская, Вера Конецкая, Никита Найденов, Денис Валянский Елена Шандрак, Любовь Куделка и я. В 2012 году «БрамаМар» занял первое место в конкурсе грантов БГУ «Лучший молодежный проект».

— А почему такое название — «БрамаМар»?

Владимир Капцев: Название — самый сложный момент! Сначала Маргарита Алешкевич предложила название «Белая костка». Но в идеале название литературного конкурса само по себе должно быть художественным образом. Поэтому я считаю, что название «БрамаМар» — одна из наших творческих находок. Оно многозначно, легко запоминается, должно вызывать ряд ассоциаций. В нем должна быть скрыта некая «одушевленность». Мы придумали название, которое невозможно со всеми нюансами перевести, к примеру, на русский язык. Тайна творчества становится банальными «воротами мечты».

М. Е.: А еще в нем присутствуют элементы фонетической и смысловой игры. И даже графически название можно писать по-разному. Вначале мы писали «Брама Мар», затем придумали неологизм «БрамаМар». Конкурс для школьников будет называться «БраМАМАр-юни». Такой удачный брендинг возможен благодаря образу, который мы сами до конца разгадать не можем.

В первый год «БрамаМар» позиционировался как начинающий литератор, чье лицо-логотип напоминало перевернутую литеру «А». Мы не стремились к литературной мистификации, но все сложилось в лучших традициях. В итоге «БрамаМар» «ожил» и «зажил» своей собственной жизнью.

— Как проходит конкурс?

В. К.: Конкурс состоит из двух туров. В первом мы принимаем все произведения в заявленных номинациях: «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Критика», «Произведения для детей», «Сценарий» (в этот раз некоторые номинации, возможно, будут изменены) без всяких ограничений. Только в «Прозе» есть лимит по знакам, так что присылать роман большого объема не стоит. Для всех желающих поучаствовать в этом году напомню, что мы принимаем конкурсные произведения до 1 декабря. Потом жюри составляет «шорт-лист», и конкурсанты, попавшие в него допускаются к участию во втором туре, где их ждет творческое задание. Напомню, что «БрамаМар» — это все-таки конкурс, где всех нужно поставить в одинаково жесткие условия, чтобы кто-то смог справиться, а кто-то нет. Войти в пятерку или десятку финалистов — это уровень, достижение. По итогам второго тура жюри определяет обладателя «гран-при», но может этого и не сделать, если уровень участников одинаков и никто «не выстрелил». А еще мы проводим творческие встречи, посещать которые могут все участники конкурса и мастер-классы для финалистов.

— Кто входит в состав жюри?

М. Е.: Для каждой номинации мы формируем отдельное жюри. Оценивают работы известные литераторы, критики, преподаватели Института журналистики БГУ. Конкурсные работы читали Людмила Рублевская, Галина Богданова, Алена Масла, Артем Ковалевский, Раиса Боровикова, Владимир Липский, Татьяна Сивец, Людмила Саенкова, Петр Васюченко и многие другие. Критерии оценки текстов были разные: оригинальность, использование художественных приемов, совершенство языка и стиля; композиционная целостность, общий культурный уровень.

В. К.: Жюри, кстати, оценивает работу, ничего не зная о конкурсанте — все зашифровано. Члены жюри получают огромные стопки работ и читают, читают...

— А чем занимаются в это время участники?

М. Е.: Главная задача конкурса — не выбрать победителя, а чему-то участников конкурса научить, открыть для них двери в литературный мир, рассказать, кому можно показать свои произведения, в какую редакцию их отнести, как их напечатать. Чтобы представить профессиональную точку зрения на работы конкурсантов, мы проводили «круглые столы», творческие встречи, мастер-классы. На мастер-классах жюри подробно разбирало произведения каждого из финалистов. В прошлом году мы организовали проект «Тутбум-літ» — три встречи, посвященные трем поколениям белорусских литераторов. Так, студент нетворческого вуза, который пишет, может сделать первый шаг в литературный мир, посмотреть на него изнутри.

— «БрамаМар» позиционирует себя как конкурс, который научит писать?

В. К.: Мы не научим писать человека, если у него к этому душа не лежит. Невозможно «слепить» талант, но можно способствовать его раскрытию. Привить все тонкости литературного вкуса возможно, если в тебе есть задатки литературного гурмана. Одна из главных задач — обучить технике литературного мастерства и самокритичному отношению к себе. Это те факторы, которые способствуют творческому росту начинающего автора. Можно также поддержать морально и придать уверенности в себе. Конкурс предполагает вступление в творческий диалог с жюри, возможность проявить себя, запомниться редакторам литературного издания. И если обычно редакции материалы «не рецензируют и не возвращают», то на «БрамаМар» вы гарантированно получите подробный отзыв на то, что написали. Можно найти сто долларов, выпустить книгу,



подписать маме, папе и любимой собаке. Все скажут, что ты гениален. Но что потом? Так и останешься на уровне «гениальности» для близких. Настоящий писатель не может без читательской аудитории.

— Студенты каких вузов могут принять участие в конкурсе?

В. К.: Любых. За два года в конкурсе участвовали 260 студентов из 26 вузов: из БГУ, Академии управления при Президенте РБ, БГПУ имени М. Танка, БНТУ, ЕГУ. Интернет дает возможность присылать свои произведения студентам из Гомеля, Гродно, Могилева и Витебска. «География» конкурса широка. У нас собираются студенты, которые в жизни вряд ли бы встретились из-за разнообразия своих увлечений. Мы даем возможность поучаствовать в конкурсе людям, которые не находятся в литературной среде, даем возможность услышать объективную критику, выпускаем подборки в газетах и журналах. Любому приятно увидеть свой текст опубликованным в солидном издании! Один из наших постоянных слоганов: «Адчыні сваю мару».

— Какие награды достанутся финалистам?

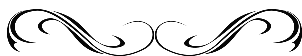
М. Е.: Прежде всего это дипломы для финалистов. В первый год удалось сделать шесть авторских статуэток для «гран-при». Если говорить о материальной стороне вопроса, то это книги. Нам активно помогают Издательский дом «Звязда» и лично его директор Алесь Карлюкевич, главный редактор «ЛіМа» Татьяна Сивец, заместитель главного редактора «Вясёлкі» Анастасия Радикевич, критик и литературовед Ирина Шевлякова. Отдельная благодарность нашему институтскому руководству, которое всегда поддерживало нас в начинаниях: С. В. Дубовику, О. М. Самусевич, А. В. Курейчик, а также университетскому отделу по работе с молодежью. Вторая награда — это ощущения от торжественной церемонии, на которой финалисты уже присутствуют исключительно в роли победителей. Ну и конечно, в числе наград — первые публикации произведений в литературно-художественных СМИ. У нас есть информационные спонсоры: газеты «Звязда», «Літаратура і мастацтва», журналы «Вясёлка» и «Маладосць», радиоканал «Культура». На днях договорились о сюжете на телеканале «Беларусь-3». Рассчитываем на публикацию русскоязычных авторов в «Нёмане». В прошлом году нас очень поддержало издательство «Галіяфы» и лично Змитер Вишнев. Материалы о ходе конкурса постоянно появлялись в нашей студенческой газете «Перья».

— Ожидаются ли в этом году нововведения?

В. К.: Формат конкурса менять не будем. Не теряем надежды, что конкурсанты будут равномерно заявлять произведения во все номинации. Потому что сейчас есть такие, где больше ста участников, а есть — где два десятка и меньше. Например, в прошлом году совсем мало заявок было в номинациях «Критика», «Драматургия». Может, из-за непопулярности такие номинации стоило бы снять, но мы их хотим оживить, ведь в них есть перспектива! Например, после «БрамаМар» наши конкурсанты стали активно сотрудничать с Центром белорусской драматургии. Студентка журфака Анастасия Таранко поучаствовала в творческой лаборатории, которую проводил Михаил Дурненков, ее отметили и пригласили к сотрудничеству. Победитель второго года в номинации «Поэзия» Дмитрий Боярович выпустил свою первую книгу в издательстве «Галіяфы». Мы надеемся подготовить сборник с произведениями финалистов за три года конкурса.

М. Е.: Номинации этого года мы еще обсуждаем. Хотелось бы привлечь к участию в конкурсе не только студентов, но и школьников старших классов, ввести для них отдельные номинации «Поэзия» и «Проза». По сути, это будет конкурс в конкурсе, с графическими различиями в названии (БраМАМАр), приглашенными «маститыми» авторами и торжественным финалом. Думаем позвать в жюри бывших участников, которые сегодня активно работают в сфере арт-журналистики и СМИ для детей, занимаются литературным творчеством (Елену Тишевскую, Дмитрия Бояровича, Ирину Корелину и других). Залог успеха конкура — в его постоянном внутреннем развитии и сохранении статуса студенческого проекта. Молодые журналисты для начинающих писателей: здесь и творческий «драйв» и ощущение новизны и ответственность. Именно благодаря их усилиям «БрамаМар» становится узнаваемым брендом на нашем литературном рынке. Надеюсь, что через десять лет мы будем говорить про «БрамаМаровский» контекст в белорусской литературе.

Елена ЛЕВШЕНЯ



БРАВО Алена (Елена Валерьевна). Родилась в Борисове. Окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор книги прозы «Каменданцкі час для ластавак», романа «Менада і яе сатыры», ряда повестей и рассказов. Лауреат премии имени Константина Симонова Международной Ассоциации писателей-баталистов и маринистов. Живет в Борисове.

ГУРИНОВИЧ Федор Федорович. Родился в 1950 г. в д. Кривичи Солигорского района Минской области. Окончил Белорусский государственный университет. Автор многих книг поэзии и прозы. Лауреат Литературной премии имени Янки Мавра. Живет в Солигорске.

АВЛАСЕНКО Геннадий Петрович. Родился в 1955 г. в д. Липовец Ушачского района Витебской области. Окончил биологический факультет Белорусского государственного университета. Автор нескольких книг для детей и взрослых. Живет в Червенском районе Минской области.

ЛАЙКОВ Янка (Иван Владимирович). Родился в 1979 г. в д. Метча Борисовского района Минской области. Учился на филологическом факультете Белорусского государственного университета, окончил Белорусский государственный университет культуры и искусств. Автор поэтических сборников «Логіка пасткі», «Вогнепаклоннік». Живет в Борисове.

БУРКИН Олег Анатольевич. Родился в 1963 году в Омске. Окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Автор поэтических сборников «Встреча», «Свой путь земной пройдя до середины», книг прозы «Созвездие картошки», «В поход на чужую страну собирался король», «Экипаж «черного тюльпана», сценариев. Ветеран войны в Афганистане. Живет в Минске.

ГИРУТЬ-РУСАКЕВИЧ Валентина Францевна. Родилась в 1953 г. в д. Михайловщина Ошмянского района Гродненской области. Окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор сборников поэзии «Я адкрываю вам душу», «Пад зоркаю лёсу», «Мовай сэрца» и др. Возглавляет литературно-художественное объединение «Рунь». Живет в Воложине.

МИКЛАШЕВИЧ Анна Ивановна.Родилась в 1973 г. в д. Яковичи Поставского района Витебской области. Окончила факультет белорусской филологии и культуры БГПУ им. Максима Танка. Автор поэтических книг «Калыханка для дваіх» и «Пялёсткі сняжынак». Живёт в Слуцке.

БЫКОВ Александр Геннадьевич. Родился в 1954 г. в Борисове. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор поэтических книг «Кветка папараць» и «Пад небам буслiным». Живёт в Мяделе.

ГЕССЕ Герман. Родился в 1877 г. в г. Кальв (Германия). Выдающийся немецкий романист, публицист, критик, поэт, художник. Изучал теологию в Маульбронне, учился в гимназии Каннштадта. Автор множества романов, сборников стихотворений, рассказов, новелл. Лауреат Нобелевской премии по литературе. Умер в 1962 году в г. Монтаньола (Швейцария).

С. Р. ХАРНОТ. Родился в 1955 г. в д. Чанаванг штата Химачал-Прадеш (Индия). Писатель, публицист, фотограф, общественный деятель. Окончил Университет штата Химчал-Прадеш. Автор сборников рассказов «Ладонь», «Лиана», «Гора на спине», повести «Хидимба», нескольких путевых дневников. Лауреат нескольких международных и национальных премий. Живет в г. Шимла (Индия).